КНЯЗЬ АНДРЕЙ ЧЕГОДАЕВ



ВОСПОМИНАНИЯ

Моя жизнь и люди, которых я знал


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Прямой потомок Чингисхана и зять М. О. Гершензона, князь Андрей Дмитриевич Чегодаев (1905–1994), доктор искусствознания, профессор, художественный критик, знаток русского и западного изобразительного искусства, старого и нового, близко знавший едва ли не всех современных ему художников, оставил книгу страстных воспоминаний, полных восторга (или негодования) по отношению к людям, о которых он пишет.

- Моя жизнь и люди, которых я знал
  - От комментатора
  - От автора
  - Часть первая. Дмитрий и Юлия
    - Юлия
    - Дмитрий
  - Часть вторая. О самом себе
    - Дореволюционное детство
    - Революционное отрочество
    - Москва 20–х годов
    - Университет
    - Музей 30–х годов
    - Свое, личное
    - Художники в музее
    - Выставка 1932 года
    - Письма из Ленинграда (без купюр)
    - Художники 30–х годов
    - Художники «другого плана»
    - Детиздат
    - Война
    - Самарканд
    - Германия—1945
    - Послесловие
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33

В вольных степях черной орды
Буйные ветры свищут.
Ждите грозы, ждите беды —
Кони татар рыщут.
Их не догнать, их не поймать,
Нету на них аркана.
Топот копыт — движется рать
Пращура Хингисхана.
Дед Джагатай, где твои псы,
Где твои злые орды —
Щелочки глаз, плетью усы.
Волчьим оскалом морды?
Кровь — ерунда, кровь как вода
В жилах потомков хилых.
Дремлет орда, тлеет орда
В древних степных могилах.
Только порой глянет в глаза
Месяц багровым ликом;
Только порой взвоет гроза
Диким звериным рыком;
Только порой возле плеча
Кровью нальется мета —
Старый рубец, след от меча
Инока Пересвета.

(Из песен Миши Чегодаева)

От комментатора

О, Чегодаев, бич Кавказа,
Посланный ветреной судьбой,
Твой путь, как черная зараза,
Напоен кровью и борьбой.

Александр Пушкин

…В 1905 году мой дед Дмитрий Чегодаев стоял на баррикадах во имя установления в России Советской власти, а его молодая жена с грудным сыном Андреем на руках сходила с ума от беспокойства за мужа.

…В 1991 году мой сын Дмитрий Чегодаев стоял на баррикадах, во имя ниспровержения в России Советской власти, а его молодая жена с грудным сыном Андреем на руках сходила с ума от беспокойства за мужа.

Все возвращается на круги своя. Родившийся в 1905 году Андрей Дмитриевич Чегодаев, мой отец, не раз повторял: «Как я рад, что в XXI веке будет жить новый Андрей Дмитриевич Чегодаев…»

Какой-то будет в начавшемся так трагически и бурно XXI веке судьба «нового» Андрея Дмитриевича Чегодаева, судьба всех правнуков Чегодаевых — Ивана, Наталии, Андрея, Дмитрия, Александра и Елены? Чегодаевский «корень» достаточно крепок — количественно. Хотелось бы, чтобы был достоин и качественно своего замечательного прадеда.

Мария Чегодаева

От автора

Начну свою автобиографию и повествование о многих замечательных людях, с которыми встречался, а часто был в долголетней дружбе — в шутливом тоне. Потом постоянно придется говорить в самом серьезном тоне, а иногда и драматическом, даже трагическом. Но в целом на судьбу мне жаловаться грех — она была в самой высокой степени насыщена разными событиями, впечатлениями и переживаниями, и чаще добрыми, а не злыми.

Однажды в Институт искусствознания, где я работал тридцать лет и был одним из научных руководителей этого ученого заведения, приехали два американских профессора. Американские дела и американские связи — это по моей части, и потому меня позвали разговаривать с гостями. Английский язык не понадобился — один из американцев помалкивал, а другой, главный, интересовавшийся институтскими делами, идеально говорил по — русски — не могло даже прийти в голову, что он иностранец. Когда я пошел провожать гостей к выходу из института, он на прощание спросил меня: «Вы производите впечатление абсолютно русского человека. Почему же у вас такая восточная фамилия?» Я рассмеялся и ответил: «Я русский, но ведь я — прямой потомок Чингисхана!» Как замечательно знал и чувствовал русский язык этот американский профессор! Он уловил то, не совсем обычное и не русское в моей фамилии, чего наверняка не заметило бы большинство высокообразованных российских интеллигентов.

Если начинать автобиографию с предков, то этот самый отдаленный в глубину веков мой предок был мне хорошо знаком. Хвастаться или гордиться им не приходилось — это был типичный средневековый разбойник без всяких принципов, хоть и сумел он создать величайшее в истории человечества государство, простиравшееся от китайских берегов Тихого океана через всю Азию до Персидского залива. Чингисхан был, видимо, монголом, но недавно возникла ученая версия, что он был китайцем. Его второй сын — Чагадай (так в веках трансформировалось произношение его имени — Джагатай — багатур) — был так любим отцом, что тот дал ему во владение жемчужину своего гигантского государства — Мавераннахр, область между реками Амударьей и Сырдарьей, где находятся Бухара и Самарканд. Но легкомысленный сын не интересовался полученным улусом и постоянно пропадал у своего воинственного старшего брата. В конце концов он тоже

отправился в военную авантюру в Мекку с совсем ненабожными целями, и там, в Мекке, арабы его прирезали.

О потомках Чагадая я всю жизнь, до недавнего времени, знал очень немногое. Мой отец своими предками нисколько не интересовался, а в исторической литературе сведения были самые скудные. Но все-таки я знал, что в первой половине шестнадцатого века потомок Чагадая по имени Хозяш явился к великому князю Василию, отцу Ивана Грозного, и тот утвердил его в княжеском достоинстве и взял на службу. У великого князя Василия были дурные отношения со старыми боярскими родами, и он охотно брал на службу иноземцев — именно тогда появились в Москве Нарышкины, Юсуповы. Только Нарышкины и Юсуповы оставили явный след в истории — Нарышкины родили Петра Великого, Юсуповы построили Архангельское и убили Распутина — а что делали Чегодаевы, было покрыто тайной.

Неожиданно это огромное белое пятно между первой половиной шестнадцатого века и последними десятилетиями века девятнадцатого прояснилось в 1982 году, когда мне было уже семьдесят семь лет. Мой старший внук (мною усыновленный) Михаил с конца 1981–го до конца 1983 года, между армией и университетом, работал в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, лаборантом в отделе графики, что в «Доме Верстовского». На его попечении было раз в неделю по четвергам принимать посетителей и приносить нужные им папки с рисунками или гравюрами. Там бывало много посетителей — иностранцев, умилявшихся на то, что московский юноша запросто разговаривает по — английски и по — французски. И вот однажды явился французский профессор, из университета в Ренне, по имени Дмитрий Шаховской — потомок первых эмигрантов, историк, каждый год приезжающий в нашу страну работать в архивах. Узнав Мишину фамилию, он сказал, что специально занимается генеалогией аристократических родов и может ему представить по меньшей мере полтораста его предков и родичей! Миша привел Шаховского к нам домой, тот принес огромную и страшно разветвленную генеалогическую таблицу рода Чегодаевых, и я узнал впервые очень много интересного. Оказалось, что от Чингисхана и его сына ко мне и моим внукам идет по мужской линии прямая наследственность, и мы чуть ли не последние чингизиды, существующие на белом свете. Оказалось, что внук Хозяша Чегодаева во времена Бориса Годунова перешел в православие и получил имя Георгия (любопытно, что одного из братьев моего отца звали Георгием). Один Чегодаев был полковником при Петре Великом и участвовал во взятии Азова. Николай Чегодаев совсем молодым

корнетом был ранен под Фридляндом, участвовал потом в Бородинском сражении и служил на Кавказе в войсках Ермолова. (Уже не от Шаховского я узнал, что именно этот Чегодаев был близок с младшим Раевским, другом Пушкина, и через Раевского попросил у Пушкина список поэмы «Кавказский пленник», и Пушкин подарил ему такую рукопись, которая ныне — в Пушкинском доме, и ее текст считается самым точным[1].) А в следующих поколениях в течение девятнадцатого века были сплошь гусары и уланы — вероятно, продувшие в карты усадьбы и состояния предков, потому что мой дед Николай Иванович в годы после освобождения крестьян был скромным и совсем не богатым землемером в Орловской губернии. Мой отец в Орле и родился.

Жизнь моего деда Николая Ивановича Чегодаева сложилась очень неудачно, а завершилась трагически. Я почти ничего не знаю о своем деде по отцу, не знаю, что делал он в Орле, будучи землемером. Но пребывание в этом городе кончилось грустно: дом, доставшийся по наследству его жене, в котором он жил со своей большой семьей (пятеро маленьких детей) и который был, по — видимому, главным «кормильцем» семьи, так как часть его сдавалась в аренду, — этот дом вместе со всем имуществом был продан с молотка за какие-то просроченные и неоплаченные долги. Из Орла пришлось уехать, и мой дед перебрался на Северный Кавказ, в станицу Пашковскую недалеко от Екатеринодара (нынешнего Краснодара). Он решил заняться сельскохозяйственными и огородными делами, чтобы сколько-нибудь поправить свое убогое материальное положение. Но у него ничего не вышло. Он не имел никакого опыта ведения незнакомых ему дел, его кругом обманывали, и он дошел до полного разорения. И тогда он покончил самоубийством.

Я подозреваю, что ему было очень нелегко и в семейной жизни — у бабушки был тяжелый характер. Когда деда не стало (в 1881 году), моему отцу было шесть лет, а старше него была лишь одиннадцатилетняя сестра Елизавета, а другая сестра и два младших брата были мал мала меньше. Как прошли годы до 1884–го — не знаю, но в 1884 году бабушка решила уехать с Кавказа в Саратов, где жила мать ее мужа, моя прабабушка, богатая старуха, — в романтической надежде, что та возьмет на свое попечение ее нищее семейство. Надежда обманула — богатая старуха не пожелала брать на свое содержание такую большую и совершенно ей чужую семью. Все же она расщедрилась на 25 рублей в месяц. Бабушке пришлось поступить на работу конторщицей в управление Рязанско — Уральской железной дороги, оставив детей на попечение старшей дочери. Эта служба прибавила к совсем скромному бюджету 40 рублей. Но бабушка

работать не умела — и не хотела. Поэтому когда в 1891 году моему отцу исполнилось шестнадцать лет и он, учась в гимназии, начал давать уроки — бабушка бросила работу, переложив на плечи отца заботу о заработке. Очень скромное существование продолжалось до 1895 года, когда по наследству от умершей бабушки отцу и его сестрам и братьям досталось целых шесть тысяч рублей, на которые они все (кроме старшей сестры) смогли получить высшее образование.

Мать моего отца была шведка — дед женился на ней где-то в Прибалтике. Звали ее Маргарита Яковлевна Йонсон. У нее было очень правильное (с академической точки зрения — красивое) лицо с римским носом, холодное и надменное — она вобрала в себя всю княжескую фанаберию, отсутствовавшую у моего деда, и полагала себя важной барыней, и потому делать ничего не умела и большую часть жизни ничего и не делала. Она была очень чопорная, очень чванная и чрезвычайно глупая (я уже в свои шесть или семь лет прекрасно понимал это). Главное, она обладала таким тяжелым, дурным характером, что никто из ее пятерых детей не был в состоянии вынести ее постоянное присутствие в доме, и жила она в Саратове в каком-то приюте для престарелых. У нас она бывала редко, и мы с моим младшим братом считали ее «не нашей бабушкой». Да она нами абсолютно и не интересовалась.

Раз она, придя к нам, захворала (или сделала вид, что захворала). С неделю она лежала в спальне моих родителей и изображала не столько слабость, сколько необыкновенную важность: позвонив в звонок, говорила вошедшей прислуге томным голосом: «Даша, подайте мне платок», а носовой платок лежал рядом на тумбочке.

Эта мнимая бабушкина болезнь в нашем доме дала мне единственный в моей жизни случай увидеть (и то издалека) одного из младших братьев отца — Николая Николаевича, известного в Саратове юриста: навестить болящую мать явился очень важный и представительный господин в длинном пальто и цилиндре, который он почему-то не снял и сам даже не присел, и с ним нарядно и богато одетая супруга. Этот отцовский брат, в полную противоположность моему отцу, был тоже обуреваем аристократическим чванством и всюду пытался разыскивать знатных родственников. Мой отец не любил брата и очень охотно пускался издеваться над ним и дразнить его — рассказывать, как в своих скитаниях по Поволжью видел в каком-нибудь Симбирске баню некоего Чегодаева, а в Костроме — кабак Чегодаева… В общем, со всеми родичами с отцовской стороны, кроме семьи его старшей сестры Елизаветы Николаевны, я за всю свою жизнь

никаких сношений не имел.

С материнской стороны было совсем иначе. Хоть я не мог видеть и знать своего другого деда, отца моей матери — он умер до моего рождения, тем не менее я всегда относился с глубоким почтением к его памяти (и отношусь до сих пор), потому что, по словам моей матери, она была очень похожа на своего отца и лицом, и характером. А он был итальянец Николо Пиньятелли, и моя мать — чистейшая итальянка. Она была очень хороша, и не только в молодости, и темперамент у нее настоящий полуденный! Чистейший итальянец и мой младший внук Дмитрий. Когда в 1973 году ему было восемь лет и в этом же году мы с Наташей, моей женой, жили неделю в Венеции — Наташа верно сказала: «Кругом одни Митьки бегают». Венецианские мальчишки, каких мы без конца встречали в своих блужданиях по чудному городу, ничем не отличались от моего внука. Он остался таким и выросши. Это «вторжение» итальянской крови в мою родословную очень меня радует[2].

Жалею, что слишком мало знаю об этом моем деде, отце моей матери. Она помнила его плохо — он умер, когда мама была еще совсем маленькой девочкой. Знаю, что он был прасол — перегонял скот с Дона на Волгу, вел оптовую торговлю пшеницей. Мама моя помнила его уже старым, сидящим на солнышке возле дома. Его мать была гречанкой, в Греции у него оставалась жена, с которой он разошелся и из Греции уехал, но официального развода не получил из-за его запрета греческими законами. Поэтому его брак с моей бабушкой был «незаконный» и был утвержден, только когда его первая жена в Греции умерла. Но все дети моей бабушки — два сына и две дочери — были его детьми, только носили другую фамилию — Матявины. Но кто такой был этот Матявин — неизвестно, да и существовал ли он на самом деле? Неясно также, какое было его, Николая Пиньятелли, отношение к знаменитому итальянскому роду, давшему нескольких римских пап и кардиналов. Вызывает уважение храброе поведение моей бабушки, которая пренебрегла общественным мнением и русскими законами ради глубокого и сильного чувства.

Она вообще была очень незаурядным человеком, необычным и замечательным. Поволжская немка по своему происхождению, она родилась в год смерти Пушкина, 1837–м, и звали ее Полина Глан. Но с ходом времени она совершенно обрусела и стала зваться Пелагея Алексеевна. Последнюю свою дочь — мою мать — она родила в 1880 году. У нее был дом в Саратове, на Константиновской улице — совсем близко от Волги, двухэтажный деревянный дом без всякого архитектурного убранства,

казавшийся мне очень большим (чего в действительности, вероятно, не было). В моей жизни он сыграл роль весьма существенную, так как именно в нем я появился на божий свет. Да и потом я бывал в нем часто.

Бабушка Пелагея Алексеевна была «наша бабушка» и занимала важное место в нашем существовании. Она бывала у нас постоянно, очень часто, а когда стала слишком стара — мы ходили к ней непрестанно. На редкость умная и тонкая, очень спокойная и сдержанная, она особенно отличалась необыкновенной добротой, органической и естественной, абсолютно свободной от какой-либо нарочитости. Когда она приходила, она неизменно приносила с собой удивительно ясную и чистую моральную атмосферу, действовавшую властно и безотказно. С нами, ребятами, она обращалась просто, без всякой назидательности, без всякой сентиментальности, разговаривала с нами на равных, и ее влияние, я думаю, было очень весомым и глубоким. Не могу сказать, сознавал ли я тогда резкий несовместимый контраст ее простой и живой доброты с безбрежным эгоизмом другой моей бабушки, но, вероятно, разница впитывалась в сознание неизбежно. Последние свои годы она жила у своей старшей дочери, Марии Николаевны Самсель, с ней вместе переехала в Москву. Умерла она в 1924 году 87 лет. Похоронена на старом Новодевичьем кладбище[3].

Когда мои родители поженились, то словно соединились в одну целостную гармонию север, восток, юг и запад: подлинный, чистейшей пробы интернационализм был органически присущ мне с мгновения моего явления на свет. Говоря так, я говорю очень серьезно: всю жизнь мне была резко чужда и непонятна любая национальная самоизоляция, бесконечно обедняющая и извращающая человеческое существование. Мне навсегда остался ненавистен шовинизм — омерзительная душевная болезнь, так глубоко поразившая за последние тридцать или сорок лет немалую часть советского общества. Равенство всех народов и языков, не теоретическое, а реально практическое, было для меня естественным и безусловным уже в самые ранние годы моей жизни. Было вполне нормальным, что в моей крови смешалась кровь монгольская, русская, немецкая, шведская, итальянская и греческая — этим можно даже гордиться!

Мое интернациональное происхождение и мышление очень весомо утверждалось окружающей саратовской средой. В этом старом русском городе, еще средневековом в своей древнейшей части, с чудным Старым собором «нарышкинского» стиля рубежа XVII и XVIII веков, а в конце XVIII века распланированном в идеально регулярном классическом духе, словно наподобие

одновременно расчерченного Ланфаном столичного города Вашингтона — наряду с великорусским населением обитало множество людей самых разных национальностей. Особенно много было немцев — они были всюду и кругом Саратова, и на другом, далеком берегу Волги. Главная улица города называлась Немецкой (это название сохранилось даже во время Первой мировой войны). Эта улица вся была занята немецкими магазинами, необыкновенно чинными и церемонными. Да и другие улицы тоже — Московская, Никольская. Каким притягательным мне и, особенно, моему брату был чудный магазин скобяных изделий, владельцем которого (чья фамилия была обозначена на вывеске) был немец Онезорге («без заботы» — какая фамилия!) — подлинный волшебный мир, где в бесчисленных аккуратных ящичках лежали всевозможные гвозди, шурупы, гайки, инструменты!

Но и французский дух выступал в Саратове повсеместно, и не только в плане города, рожденном Веком Просвещения, и не только в ряде прекрасных зданий, но прежде всего просто в том, что в Саратове с давних пор жило много французов. Я лишь позднее узнал, что в 1812–1814 годах именно в Саратов больше всего ссылали пленных французских офицеров и солдат. И многие из них не стали возвращаться на свою родину. Впрочем, ведь и в Вологде в 1821 году, по свидетельству Гоголя в «Мертвых душах», обитал участник великолепного галопада на балу у губернатора — француз Куку! И на именины Татьяны Лариной в том же 1821 году приехал местный француз — мосье Трике и читал ей приспособленный к случаю французский мадригал. Когда ко мне и брату стала приходить учительница- француженка Луиза Христофоровна Берисваль — я воспринимал как вполне естественное то, что хоть она и была родом из французской Швейцарии, но жила в Саратове давным — давно. В Саратове жило много татар (и у них была мечеть), жило много евреев (и у них была синагога) и т. д.

Когда я поступил в среднюю школу, моими ближайшими товарищами были мальчики самых разных национальностей — один литовец, другой — русский, третий — поляк, четвертый — грек…

О жизни моих отца и матери я хочу рассказать целиком, не соединяя с рассказом о своей собственной жизни. Они оба заслуживают полного и подробного рассказа больше, чем я сам. Если бы у меня был талант кинорежиссера, я поставил бы два фильма — один очень нежный, очень ласковый о своей матери, другой об отце — сложный, иногда причудливый, даже резкий и угловатый, но во всяком случае не лирический, а драматический.

Но кинорежиссером я не сделался, а к тому же упустил возможность осуществить свое желание с помощью моих добрых знакомых — Эйзенштейна, С. А.Герасимова, Юткевича, Кулиджанова, Швейцера… Сейчас уже поздно сожалеть об этом

Часть первая. Дмитрий и Юлия

Юлия

Юлия Николаевна — мать А.Ч. Ее судьба. Жизнь в Саратове. Переезд в Москву. Последние дни Юлии Николаевны в Самарканде

Начну с рассказа о матери: ее жизнь была много более короткой и не такой сложной, как у моего отца.

Мою мать звали Юлия Николаевна. Отец долго, со дня их первой встречи в 1897–м или 1898 году и по крайней мере до 1904 года, звал ее Юлика, позднее Юляша. Родилась она (как я уже упоминал) в 1880 году, 10 ноября по старому стилю, в Саратове, в том же доме на Константиновской улице, № 10, где потом родился я. Она была хороша собой, и не из-за того, что черты ее лица были как-то особо «классичны», а прежде всего из-за живой и яркой одухотворенности и пронизывающего их обаяния. Она мила и привлекательна и на тех фотографиях, когда ей десять лет или пятнадцать, восемнадцать или двадцать один год, и на более поздних, особенно на прелестных фотографиях 1912 года, когда ей 32 года, — такой я помню ее уже сам.

На одной фотографии 1895–го или 1896 года снята компания большей частью незнакомых мне людей на прогулке на Зеленом острове на Волге близ Саратова: в центре, на траве под деревьями заросшего лесом Зеленого острова, сидит моя бабушка Пелагея Алексеевна, еще не старая, рядом ее старшая дочь — Мария (моя «тетка Маня»), а у молодого дерева стоит моя мать, на вид пятнадцати или шестнадцати лет. Это уж не существующий Саратов — прекрасного Зеленого острова, мне хорошо знакомого, больше нет: он, как и все соседние острова, стал жертвой очередного преступления нашего министерства водного хозяйства — Саратов лишился главного резервуара чистого воздуха, другие леса от города далеко.

Вот одна из лучших ранних фотографий, несомненно 1899 года: нежное округлое лицо, с сияющими черными (итальянскими!) глазами под очень тонкими черными бровями, тонкий нос и очень тонкие губы, подстриженные черные волосы под модной плоской шляпкой с широкими полями; на ней белый воротничок, усеянный темными крапинками, и галстук «бабочкой», виден воротник нарядного пальто — все как подобает петербургской курсистке тех лет, на рубеже двух веков… В чертах лица и деталях костюма отчетливо выступает время, и глядя на эту маленькую фотографию, у меня не выходит из головы, что

моих родителей в их молодые годы нужно непременно представлять себе в их времени, наложившем на них свою властную печать, на фоне стремительно изменяющихся десятилетий глубокого перелома — накануне окончательного сложения и оформления нового века.

Ведь это было время Чехова, Анатоля Франса, Редьярда Киплинга, Марка Твена; время, когда Врубель писал «Сидящего Демона» и «Сирень», а Серов — молодого Юсупова с бульдогом и своих двух мальчиков — сыновей на террасе на берегу Финского залива (прелестный этюд к этой картине «Дети», что в Русском музее в Ленинграде, — серое море под надвигающейся темной тучей, плоский берег с развешенными для просушки рыбачьими сетями — висит на стене моей комнаты у меня перед глазами). Тогда Сезанн писал своих удивительных «Больших купальщиц», что в Филадельфии, Пикассо — вашингтонских «Странствующих гимнастов» и московскую «Девочку на шаре», Майоль вырубал из мрамора или отливал из бронзы свои величавые и благородные статуи, прославляющие естественного и прекрасного человека, а Люмьер снимал свои первые, еще документальные фильмы — трогательные и нелепые и в то же время остро экспрессивные, словно их ставил уже Чаплин — «Прибытие пассажирского поезда» или «Первый международный съезд фотографов»: из поезда на парижском вокзале вылезают из вагонов бесчисленные совершенно одинаковые дяди средних (отнюдь не молодых!) лет, все в клетчатых штанах, все в шляпах «канотье», все с торчащими в стороны острыми усами… Это было время несущихся, словно догоняя друг друга великих научных и технических открытий и изобретений и вторгшегося в повседневный человеческий обиход невиданно нового: аэроплан, автомобиль, трамвай, телефон, граммофон, кинематограф, электрическая лампа, пишущая машинка и пр. Это было время какой-то одичалой и аморальной нервозности, выразившейся в удивительном скоплении позорных войн: англо — бурской, американо — испанской, русско-японской. Это было время подготовки и осуществления первой русской революции — к которой мой отец был весьма близко причастен, будучи с 1898 года членом Российской социал — демократической рабочей партии — будущих большевиков. Девятнадцатый век быстро и необратимо кончался и вступал в свои права совсем на него не похожий двадцатый век. Мои родители были уже людьми этого нового века, в них не было ни капли консерватизма — ни в чем.

Но свобода от предрассудков, от страха перед новизной, от всякой опасливой осторожности не означала, конечно, отрицания и забвения всего лучшего, что было раньше. Мои родители уже в

свои молодые годы боготворили классическую русскую литературу. В отцовских письмах 1899–1901 годов к моей матери, то есть к своей будущей жене, все время возникают имена и произведения то Пушкина, то Тургенева, то Щедрина… Неслучайно именно к Тургеневу мой отец обратился за сравнением, когда в одном из писем из Саратова в Петербург он дал яркую и, судя по свидетельствам современников, знавших мою мать в юности, очень точную и совершенно справедливую характеристику своей обожаемой Юлики.

Письмо, датировано 8 февраля 1900 года: «Недавно я прочитал «Асю» Тургенева. Эта Ася мне живо напомнила тебя; такая же подвижная, такая же непостоянная, такая же любящая до забвения, добрая и капризная, желающая чего-то лучшего, верящая в это лучшее и не ударяющая серьезно палец о палец для достижения этого лучшего, говорящая о своей бесхарактерности в то время, когда обладает страшным характером, самолюбивая и гордая, и готовая отдаться любимому человеку до обезличивания самое себя, готовая трудиться и трудящаяся, но не постоянная и потому не трудящаяся — вот «Ася — Юлика». Чуткость к душевному настроению других и полнейшее незнание самое себя, желание унизить себя в глазах других — эти люди могут сделать многое для других и ничего для себя».

Я не уверен, все ли в этом сравнении с тургеневской Асей действительно точно и справедливо, не увлекся ли мой отец готовыми литературными формулами. Но все, что здесь сказано о доброте, преданности, отсутствии всякого эгоизма, великой сердечности, — было верным: в недалеком будущем я это узнал сам. Но ни тени капризности или самоуничижения в характере моей матери не было, за это я ручаюсь.

В другом письме мой отец пишет, что когда он впервые встретил мою мать, она понравилась ему своей искренностью и простотой. Еще в одном — что знает, как она вспыльчива и не переносит человеческого двоедушия. О «человеческом двоедушии» — верно, а вот вспыльчивости я не видал никогда в жизни. От себя могу прибавить, что мама моя в 17–18 лет, несомненно, была очень смелой и вольнолюбивой девушкой, раз могла так горячо и самозабвенно полюбить двадцатитрехлетнего московского студента, яркого, умного, совершенно очевидно незаурядного (и очень красивого!), но — исключенного из университета за участие в организации нелегального студенческого кружка («Я уволен из Университета по распоряжению полиции», — написал отец в одном из писем в Петербург), высланного из Москвы в Саратов, отсидевшего 76 дней в тюрьме в виде предварительного заключения «по делу о

государственном преступлении» (которое полиции, несмотря на все старания, установить и довести дело до суда не удалось) и уже скоро два года находящегося под неусыпным надзором полиции!

Эти отцовские письма, заботливо сохраненные моей матерью, — драгоценный источник сведений о жизни, настроениях, чувствах и мыслях обоих моих родителей до их женитьбы. Письма моей матери этих лет не сохранились. Но все, что делала и думала моя мать, как в зеркале отражено в отцовских письмах. Они полны величайшей нежности и заботы, всевозможных ненужных волнений из-за того, что уже пять дней нет никаких писем (раз моя мать чуть не полмесяца не писала, чтобы не мешать отцу готовиться к трудному экзамену по физике, а он сходил с ума, строил самые невероятные предположения и ни к какому экзамену готовиться не мог!); отец, старше своей горячо любимой Юлики на пять лет, с высоты своего умудренного опыта поучает ее, как важно и нужно учиться, стыдит ее за то, что вздумала увлечься модным тогда спиритизмом и т. п., и по его письмам ясно видно, что на уме у нее.

Окончив саратовскую гимназию, она осенью 1899 года уехала в Петербург и поступила на Бестужевские высшие женские курсы, созданные и руководимые профессором Петром Францевичем Лесгафтом, на естественно — исторический факультет (наверное, под влиянием моего отца, учившегося на таком же факультете в Московском университете). Мой отец покупает и посылает ей книги — учебники и не учебники, переводит ей деньги на житье — еду и квартиру, из денег, которые зарабатывает уроками (то, что получал на временной службе в управлении Рязанско — Уральской железной дороги, он, видимо, отдавал своей не работавшей матери). В одном из писем он сообщает, что послал 30 рублей, и предполагает, что этого хватит на месяц, в другом — просит прощения, что замешкался и не послал вовремя, а у нее осталось только 1 рубль и 4 копейки! (По- видимому, у бабушки Пелагеи Алексеевны хватало денег лишь на плату за учение на курсах.)

Но несмотря на все уговоры моего отца, моя мать оставалась недолго на лестгафтовских курсах: уехав в 1900 году на Пасху в Саратов, она больше в Петербург не вернулась. Не знаю, почему так получилось — или ей оказалось трудно одолеть все многочисленные и разнородные предметы, перегружавшие в те времена естественно — исторические факультеты (вплоть до высшей математики!), или, что вероятнее, не было денег платить за учение и жить отдельно от дома.

Весной 1900 года моему отцу удалось (с большим трудом)

вернуться в Московский университет. А моя мать, оставшись в Саратове, все же осенью 1900 года вновь стала учиться. Она поступила в фельдшерскую школу, очевидно, чтобы возможно скорее получить более узкую специальность и иметь собственный заработок. У меня есть фотография, снятая в этой школе: у постели больного сидят почтенные бородатые врачи, кругом стоят учащиеся, все в белых халатах, и с краю направо — моя очень молодая мама.

Но и это учение вышло не вполне складно. Ему мешали разные серьезные помехи.

Первой из них были возобновившиеся политические неприятности у моего отца. Его последнее письмо из Москвы, написанное 3 декабря 1901 года, — клочок бумаги с наспех кое-как склеенными фразами: «Почему ты, Юлика, ничего не пишешь? Скоро две недели, как я не получаю от тебя ровно ничего. Это письмо по счету будет третьим, на два же последние письма я не получил ни одного ответа. Напиши, по крайней мере, приедешь или нет в Москву. За последние 1 ‘/2 недели у меня была такая масса неприятностей, что прямо ужас. Приезжай делиться. Я думаю все же перед твоим отъездом побывать в Саратове. Целую и жду письма. Сегодня вечером напишу больше. Сейчас же до свидания до вечера. Митя». Не пришлось никому никуда ехать, не пришлось писать еще одно письмо: в тот же день вечером (это я знаю не из старых писем, а непосредственно от своего отца) он снова был арестован, выслан из Москвы, сидел вторично в саратовской тюрьме. Закончить Московский университет ему удалось лишь в 1904 году, после чего он в третий раз был выслан из Москвы. Надо думать, моей матери не просто было учиться в фельдшерской школе в такое время.

Другие помехи были еще тяжелее.

Доброй и радостной стороной второй высылки отца из Москвы в декабре 1901 года было то, что в 1902 году в Саратове состоялась, наконец, свадьба моих родителей. До того им приходилось скрывать свои отношения, свою взаимную любовь и привязанность даже от близких родных (во всяком случае, от моей бабушки Маргариты Яковлевны). Вероятно, причиной была политическая «неблагонадежность» отца. Но от этого 1902 года дошли две чудесные фотографии моих родителей — впервые вместе, где они оба очень серьезны и задумчивы, словно сдерживают свою радость. Оба они на этих фотографиях очень хороши и явно обещают не бесцветное будущее, каким оно и вышло. Но горе было близко, и оно явилось, конечно, очень большой помехой для спокойного учения в медицинской школе. В 1903 году у моей матери родился сын, названный Михаилом, но

жил он очень мало. В 1904 году он умер, когда ему было года полтора, не больше. Как и почему это случилось— не знаю. Мама моя никогда о нем не говорила, и о самом его существовании я просто не подозревал до конца тридцатых годов, когда незадолго до начала войны она отдала мне на сохранение две его фотографии — очень серьезного и очень красивого мальчика. Он, по — видимому, очень много хворал: в письмах 1904 года из Москвы отец все время спрашивает — «здоров ли Мишка» и приходил ли доктор. Могу представить себе только, каким великим горем была его смерть для моей матери, если она всю жизнь его помнила, тщательно затаив это от других. Вероятно, ей стало безразличным, кончать или не кончать медицинскую школу: в 1905 году она получила удостоверение, что за время учения сдала множество экзаменов (они все перечислены), но нескольких важных так и не сдавала. Она никогда в жизни не занималась никакой медициной.

Мое рождение, в феврале 1905 года, не внесло успокоения и утешения в душу моей мамы. Когда я явился на свет божий, она посмотрела на меня и заплакала — таким я был уродом! На фотографии этого года, где я сижу на диване рядом со своей матерью, я представляю действительно весьма неказистое зрелище: сижу какой-то аморфной и неуклюжей кучей, наподобие депутатов в «Законодательном чреве» Домье, сонный, губошлепый, очень далекий от каких-либо понятий о гармонии. Как я мог равняться с ангелоподобным Мишей?

Кроме того, я сразу же замучил мать непрестанным хворанием — в раннем детстве я очень много болел, всем, чем только было можно. Совсем недавно моя милая двоюродная сестра Нина Самсель (которая старше меня на четыре года — она родилась в 1901 году) рассказала мне никогда не слышанную раньше трагикомическую историю про меня в первый год моей жизни. Летом 1905 года, когда мне было четыре или пять месяцев, моя мать жила со мной в Аткарске, недалеко от Саратова. Там же жила летом ее сестра Мария Николаевна со своими двумя маленькими дочками: старшей, Наташе, было шесть лет, младшей, Нине, — четыре года. (Мама моя ездила за покупками в Саратов и обычно привозила шоколад, за которым неизменно являлись мои кузины. Если шоколад почему-то не привозился, они требовали: «Давай арбуз или стирать». Стирались с увлечением мои пеленки.) Вдруг я чем-то заболел. Маму мою угнетали мои болезни, и на этот раз она была очень сильно напугана и взволнована, потому что я захворал тяжело. Зачем-то ей подвернулся том стихов Майкова, и книга раскрылась на начале его поэмы или, вернее, длинного стихотворения «На

смерть князя Боголюбского». Мама прочла первую строчку — «К кончине близок князь Андрей» — и пустилась в рев. Моя тетка еле ее успокоила, уверив, что это, напротив, очень добрая примета!

Как я сказал, моя мать бросила искать какую-нибудь собственную профессию, особенно когда в 1907 году родился мой брат Дмитрий. Да в те времена в интеллигентской среде замужние женщины обычно нигде не работали — вели свой дом, и этого было достаточно. Высланный в третий раз из Москвы, мой отец получил скромную, но неплохую постоянную работу, и мама могла всецело сосредоточиться на заботах о доме и детях.

И она устроила нам удивительно ясное, светлое, спокойное детство. Для меня оно тянулось до моих тринадцати с половиной лет — до осени 1918 года. Я бесконечно благодарен за такое детство: оно позволило мне в мои десять— тринадцать лет разработать свой характер и свой душевный мир в уединенной и сосредоточенной обстановке, отрешенной от всего мелкого, случайного да и дурного. Отец постоянно отсутствовал из-за своих служебных поездок по Поволжью — от Астрахани до верховьев Шексны, — с нами всегда была мать со своей безграничной добротой, с пылкой и яркой темпераментностью, с творческой созидательной воодушевленностью. Я не могу вспомнить ни одного даже малейшего намека на то, чтобы мама когда-нибудь на меня сердилась, упрекала меня в чем-нибудь, повышала голос… В доме была полная свобода, органическая и естественная, не требующая никакой специальной назидательности, какой-то рассудочной педагогики. Я думаю, что все главное и основное, что у меня есть за душой и сохранилось до восьмидесяти шести лет от роду, — все это было найдено и выработано мною в это раннее время под чутким и незаметным надзором моей ласковой и доброй матери.

Она вела, а лучше сказать созидала дом и домашнюю атмосферу, пронизывавшую и весь распорядок жизни легко, просто, совершенно безыскусственно, — и наши умело направленные увлечения и интересы, и отношения с большим числом самых разных людей, постоянно, иногда каждодневно, бывавших в нашем доме (я помню все это с абсолютной отчетливостью примерно с 1915 года). Но очень важно, что у моей мамы были личные, собственные интересы, оказавшие на меня глубокое влияние.

Она была хорошей художницей и прекрасной музыкантшей. Рисовала и писала акварелью она постоянно, не придавая этому занятию никакого особо важного значения (поэтому почти не сохранилось у меня ее работ), рисуя, насколько я могу судить

сейчас, высокопрофессионально и хорошо, но чаще ограничивалась работами чисто декоративного, «прикладного» порядка. Она вносила в текущую повседневность ясно ощутимую художественность, и я нисколько не сомневаюсь, что главное мое увлечение и занятие в большей части моей долгой жизни — искусствознание (к которому я пришел не сразу) было незаметно заложено в глубину моей души именно матерью, когда она полностью властвовала над моим духовным ростом и сложением.

Мама моя была близка с саратовскими художниками. А это значило очень многое и весьма весомое. Ее другом был, с ранних лет, чудесный саратовский художник — Виктор Эльпидифорович Борисов — Мусатов — этого одного достаточно, чтобы понять, в какой высокой художественной атмосфере складывались художественные вкусы моей матери. Борисов — Мусатов был, по существу, главой саратовской школы живописи, давшей русскому искусству ряд первоклассных мастеров, начиная с Кузьмы Петрова — Водкина и Павла Кузнецова. Имя Борисова — Мусатова было первым именем художника, какое я узнал в своей жизни. И преклонение перед ним я сохранил навсегда.

Но много важнее было увлечение моей матери музыкой. У нее был камерный рояль фирмы Мюльбах с очень нежным и мягким звуком, и она играла на нем каждую свободную минуту. Профессиональным музыкантом она, конечно, не была, но играла прекрасно — как классическую, так и новую современную музыку. Мне запомнилось, что она очень любила и постоянно играла Грига. У меня сохранилась переложенная для фортепиано партитура оперы «Евгений Онегин», которую мама играла с особенным увлечением и старанием. Дом был полон музыки — это осталось в моей памяти прочно и отчетливо. И хотя Чайковский очень скоро был заслонен в моем сознании Бетховеном и Моцартом (когда я начал учиться с домашней учительницей, а потом в школе при Саратовской консерватории) — навсегда сохранил благодарность к великому русскому композитору за одно из самых первых сильных музыкальных впечатлений. И именно в непритязательном, вероятно, исполнении моей матери, у нас дома, а не в оперном театре, каковой имелся в Саратове и в котором я слышал глубоко меня возмутившее равнодушно — банальное представление, где очень толстый Ленский, в возрасте не меньше, чем вдвое превышающем тот, что подобает Ленскому, пел сладостным голосом на краю рампы, зажмурив глаза, принимая нелепые позы, а тщедушный маленький Онегин пытался выжать из себя что-то сиплое и хриплое! Я еще плохо и смутно знал Пушкина и все же явно воспринял это надругательство над ним (и над Чайковским)

как нечто совершенно неправильное и недопустимое.

Своими увлеченными занятиями живописью и музыкой мама по существу давала мне и брату пусть не систематическое, но постоянное и воодушевленное художественное воспитание. До своих четырнадцати лет я без конца рисовал и успешно занимался музыкой (успешно не по моему собственному суждению, а на самом деле, потому что весной 1918 года я в своей музыкальной школе при Консерватории был переведен через класс). Но в конце 1918 года все это пришлось бросить, резко, сразу и навсегда. Я не стал ни художником, ни пианистом, но в душе, вероятно, прочно отложилось это доброе влияние матери, вскоре давшее решающие для меня результаты.

И моя мать, и мой отец горячо любили нетронутую природу и старались, чтобы мы бывали среди природы как можно больше. Начиная с ранней весны и до глубокой осени мы не только жили на разных дачах недалеко от Саратова, но и много странствовали по Саратовской губернии, то в телеге, устланной душистым сеном, а то и на великолепном белоснежном пароходе компании «Самолет» по Волге. Я запомнил многие названия деревень, маленьких городков или рек: Аткарск, Ельшанка, Гусёлка, Аркадак, Вертуновка, Кумысная поляна, Базарный Карабулак, да и Зеленый остров, и Покровская слобода на другом берегу Волги против Саратова, но в зрительных воспоминаниях они перепутались и слились в одно общее ощущение прекрасной саратовской природы — я не могу уже «приурочить» впечатления от нее к точно определенным местам, где был или только проезжал. Помню, конечно, Волгу — как отец брал меня с собой в Вольск или на острова. Но во всех путешествиях в моей памяти прежде всего мама и ее восхищение красотой лесной речки или цветущей весенней степи. Мама моя не знала никаких наставительных или назидательных разговоров и лекций; она просто радовалась природе, и это действовало на нас, ребят, покоряюще неотвратимо (и необратимо!). Именно под таким непосредственным, словно вспыхивающим влиянием моей матери я на всю жизнь проникся глубочайшей нежностью к деревьям, цветам, травам и всяким живым существам на суше и в воде, и для меня так и осталось до сих пор венцом совершенства мои любимые дикие цветы — ночная фиалка, гусиный лук, всякие виды вероники, дымянка и т. д., как и скворец, и трясогузка или жаба. Мама моя любила, чтобы в доме у нас всегда были цветы, и в букетах, и в горшках; больше всего она любила гиацинты, и эта любовь перешла ко мне по наследству.

До 1915 года мы обитали в небольших и невзрачных квартирах, не раз менявшихся, которые совершенно испарились

из моей памяти. Но в 1914–м или 1915 году отец получил повышение по службе и потому, видимо, мог отыскать более просторное и комфортабельное жилище. Я и мой брат были отправлены на все лето 1915 года к отцовской старшей сестре Елизавете Николаевне Ольшевской, которая постоянно жила на своей даче на станции Загорянской, под Москвою. С матерью моей осталась только моя сестра Екатерина, родившаяся в 1913 году. О пребывании у тетки и о моей первой встрече с Москвой я расскажу в свое время. Но о большой новой квартире, с огромным удовольствием и огромным вкусом устроенной в наше отсутствие моей матерью, как и о ней самой на фоне этой квартиры, и о людях, туда приходивших, — я скажу особо и подробно: эта квартира сыграла очень большую роль в моей жизни.

В новой квартире нам пришлось жить очень недолго: с осени 1915–го до осени 1918 года. Но для меня эти три года, когда мне было десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет, стали временем окончательного сложения моего характера и душевного мира, а также временем, когда я полностью впитал — все, что смог и сумел — из душевного богатства моей матери, которое она так щедро дарила всем, кто попадал в круг ее влияния. Кроме того, ведь эти три года были последними годами моего детства, накануне преждевременной взрослости.

Отец нашел действительно прекрасную и очень большую квартиру (в ней было восемь комнат) в самом центре города, на Немецкой улице, в той ее части, что была между Консерваторией и высокой немецкой католической церковью с двумя островерхими башнями по сторонам входа. Квартира находилась на втором этаже над огромным и очень высоким магазином тканей и ковров, так что фактически на уровне обычного третьего этажа (по тем временам это казалось очень высоко). Других квартир в доме не было. С улицы в нашу квартиру вела довольно узкая и бесконечно длинная лестница в один марш, которая начиналась в соседнем доме, по другую сторону ворот, ведших во двор, и где-то далеко вверху поворачивала влево и над воротами подходила к нашей квартире. На улицу выходили три одинаковые высокие и просторные комнаты: левая (если смотреть изнутри) — отцовский кабинет и гостиная, центральная — столовая, правая — моя с братом. В глубине квартиры за нашей комнатой находилась спальня родителей с верхним светом, там обитала и наша маленькая сестра. Еще дальше, с особым входом из коридора, был небольшой и невысокий кабинет моей матери, с маленьким неоткрывавшимся окном в соседний двор, с матовым стеклом в разноцветных узорах. Один угол этого маминого кабинета был отрезан винтовой лестницей на антресоли, где в

маленькой комнате жила прислуга — сначала наша нянька, а потом горничная Даша и кухарка. Из столовой шел длинный коридор, мимо спальни родителей и кабинета мамы — в кухню и большую пустую переднюю с выходом на улицу, а дальше была очень большая длинная комната, прозванная «конторой», — это была рабочая комната пятерых помощников и сотрудников моего отца (я никогда не видел, чтобы туда приходили посторонние посетители). Слева вдоль этой «конторы» шел длинный коридор к другой, гораздо более парадной лестнице в несколько маршей, выходившей во двор нашего дома. Ею не пользовались; какой-то недолгий срок там обитала большая черная собака доберман — пинчер с целой уймой новорожденных щенят (в Саратове говорили не щенят, а кутят). Этих кутят было так много, что они не могли питаться все одновременно, и пока одни сосали, другие хором пищали. Почему-то им не отрезали, согласно эталону породы, длинные уши и очень длинные хвосты. Куда девали эту собаку с ее потомством — не помню.

Эта квартира представлялась мне неким уединенным островом, где у каждой комнаты была своя душа, иногда даже немного таинственная, как в мамином кабинете или в комнате прислуги, куда я никогда не подымался. В отцовском кабинете стояли три книжных шкафа (сохранился лишь один, стоящий в моей нынешней комнате со старыми отцовскими книгами), потом его большой письменный стол, с сохранившейся у меня двойной стеклянной чернильницей и с бронзовой статуэткой орла на скале; перед столом стояло деревянное кресло с двумя ручками в причудливом тогдашнем стиле «модерн», очень удобное, на котором я сижу, пишучи эти мемуары. В этой же комнате находился мамин рояль. Сюда обычно приглашали пришедших гостей, а мы с братом бывали там редко (не считая музыкальных занятий). Столовая была центром и средоточием общей повседневной жизни; она была нарядно обставлена новой мебелью с большим обеденным столом посередине комнаты — там все собирались трижды в день. На простенке у одного из окон по сторонам часов висели красивые полочки из светлого дерева, украшенные маминими акварелями; по другую сторону от двери в отцовский кабинет, над диваном, — большая и страшно подробная карта Европы, по которой мы каждый день следили за ходом военных действий на всех фронтах Первой мировой войны. В нашей с братом комнате имелся мой книжный шкаф и у каждого по своему столу: у меня — письменный стол с тумбочкой, наполненной множеством тетрадей, у Мити — старинный стол красного дерева с двумя ящиками, на вычурно изогнутых ножках. Из того, что висело на стенах, я запомнил

только большую карту полушарий, которую я знал наизусть.

Такова была внешняя «оправа» нашей жизни этих трех тревожных и беспокойных лет. Первая мировая война была далеко и до поры до времени не меняла сколько-нибудь заметно установившегося жизненного обихода, но на душевное и моральное состояние она, конечно, воздействовала с постоянной и ежедневной давящей, безотказной силой. На войну один за другим уходили близкие люди. Подобно множеству людей на широких просторах моей страны мы огорчались слишком частыми неудачами и провалами нашей армии (как ни старались их смягчать газеты), восхищались Брусиловым, удивлялись на странное поведение царского двора и военного министра Сухомлинова (думаю, не без того, что мы с братом нередко подслушивали не предназначавшиеся для наших ушей суждения нашего отца). Все же, конечно, для нас, ребят, эти годы прошли главным образом в погружении в личный душевный мир: для меня — в естественно — исторические книги, для Мити — в его изобретательство и технику.

Мама внимательно и для нас незаметно направляла наши увлечения и занятия много больше, чем горячо любимый, но по горло занятый делами отец. Мама покупала мне множество разных книг, я часто вместе с ней ходил в большой сытинский книжный магазин и в два или три других. Она с какой-то удивительной непринужденной, легкой простотой (которой мы не замечали) наводила должный порядок в наш жизненный строй, да и в работу наших мозгов — я могу считать себя всецело созданием или изделием ее рук — и ее безгранично доброй и самоотверженной души. Отец слишком много отсутствовал из-за постоянных разъездов по своим чересчур обширным «владениям», охватывавшим все Поволжье; кроме того, во время войны он был мобилизован как ученый — химик — в качестве главного консультанта на нескольких саратовских химических заводах, работавших на войну. Его постоянно не было дома, и мама могла сколько угодно играть на своем любимом рояле, стоявшем в отцовском кабинете. Она была центром, главой, руководителем всей нашей жизни — и нашей квартиры, потому что большинство приходивших к нам многочисленных и очень разных людей приходило именно к ней.

Многих гостей мы с братом считали и своими гостями, благожелательно и с большим любопытством встречая тех, кто приходил впервые, а к часто приходившим нередко горячо привязываясь — конечно, тем, кто к нам проявлял интерес и внимание. У меня оказался богатый опыт узнавания новых для меня людей. Вышло так, что школа играла очень малую роль в

моей жизни — я был так начитан, что школьные уроки почти не давали мне ничего нового, и у меня было очень мало товарищей (всего пятеро), с которыми я виделся ежедневно в школе, не испытывая надобности приглашать их к себе домой. То же самое было и у моего брата, даже еще в большей степени, чем у меня (я не помню ни одного Митиного товарища и не знаю, были ли они у него вообще). Мы оба не ощущали надобности в нарушении нашего уединенного существования и личных занятий, никого, кроме нас, не могших интересовать. Меня самого взрослые интересовали гораздо больше…

Прежде всего, конечно, приходили родные — далеко не все, о которых я знал (многих никогда не видя), — приходили избранные и на самом деле близкие. Я уже упоминал о частых приходах бабушки Пелагеи Алексеевны — ее приходы были всегда подлинными праздниками. Мы сразу же уводили ее к себе в комнату и увлеченно рассказывали ей обо всем, что произошло со времени ее предыдущего прихода (всего за пять или семь дней) — где мы были, какие прочтены новые книги и пр. Она с явным интересом следила за нашим ростом и очень быстрым, в эти не совсем обычные годы, расширением нашего кругозора.

Так же мы радовались приходам маминой старшей сестры Марии Николаевны Самсель, нашей «тетки Мани», как мы ее называли. Она родилась в 1875 году — была старше своей сестры на пять лет. Она была умная, веселая, очень красивая, но не в итальянском стиле, как моя мама, а, как я сейчас бы определил, древнегреческом, именно с такой же строгой и одухотворенной красотой (да у нее и вправду была примесь греческой крови от бабушки по отцовской линии), — я, впрочем, совсем не знаю, сохранили ли греки в ходе тысячелетий родовые приметы далекой древности. Мама очень любила свою сестру, и это полностью передалось нам. Но о ее личной жизни я очень мало знал тогда, мало знаю и сейчас — в памяти остались именно тогдашние встречи с ней.

Но особенно важны для меня и моего брата были приходы младшей дочери тетки Мани — Нины. Она была нашим верным другом, и не только приходила постоянно, но даже целый год, с осени 1917–го до осени 1918–го, жила у нас, то в нашей комнате под окнами, то на антресолях с нашей кухаркой, когда Даша в 1918 году от нас уехала. Нинины родители в 1917 году переселились в Москву, а ей нужно было оканчивать саратовскую гимназию. В дальнейшей жизни, когда мы в 1922 году тоже переехали в Москву, нам с Ниной приходилось видеться не часто — она с мужем (и тремя собаками) жила под Москвой, в поселке близ Голицына (к ней мы туда ездили). Но сейчас, на старости

лет, в 1991 году, я стал часто разговаривать с ней по телефону (мы оба сидим безвыходно дома) — скоро, 20 июня, ей исполнится девяносто лет — весь век прошел перед ее глазами. Но память у нее сильнее моей — я проверяю у нее эти давние воспоминания. В 1915 году мне было десять лет, Нине — четырнадцать, но во всех наших затеях она участвовала с не меньшим, чем у нас, удовольствием. Умница, человек яркий и незаурядный, она осталась такой на всю жизнь. Но муж умер, умерли одна за другой и собаки, и она осталась совсем одна и перебралась в Москву под присмотр своей племянницы, дочери своей старшей дочери Наташи (а теперь, почти слепая, вообще переселилась к племяннице). Нина, как я думаю, немало способствовала сложению моего ума и характера в эти столь важные для меня годы — 1915–1918.

Часто приходила мамина племянница Маруся Соколова, дочь маминого старшего брата Александра. Он был более чем на двадцать лет старше моей матери, и его дочери были по возрасту мамиными ровесницами, некоторые были даже старше нее. Маруся была моложе лет на пять — шесть. Она была высокая, тонкая, стройная, красивая, очень добрая и ласковая. Фамилия Соколова была у нее по ее матери, так как ее отец, словно в подражание собственному родителю, очень долго не мог оформить официально свой брак. Она очень любила мою мать и нас, ребят, и с ней было хорошо. В 1916–м или 1917 году она ушла на войну медицинской сестрой, и больше я ее никогда не видел. Вся ее дальнейшая — очень трагическая — жизнь прошла далеко от нашего дома, и я о ней всю свою жизнь ничего не знал, и только сейчас, проверяя разные полузабытые подробности той жизни, узнал от кузины Нины о Марусиной судьбе. Оказалось, что на фронте она познакомилась со своим будущим мужем, тогда студентом — математиком, по фамилии Драгомиров. В годы начавшейся гражданской войны, где-то в деревне за Волгой, ее мужа зверски убили бандиты, и она осталась одна с крохотным сыном Кириллом. Она вернулась в Саратов, потом уехала в Москву, но ни ко мне, ни к моим родителям никогда не приходила. Хоть и со слишком большим запозданием отдаю дань ее памяти.

Иногда приходили к нам племянники Маруси — сыновья ее старшей сестры (которую я никогда не видел), наши ровесники — Владимир и Святослав Кнушевицкие, оба хорошие музыканты и славные ребята. Младший, Светка, в тридцатые годы, в Москве, стал знаменитым виолончелистом.

Вместе со своими родными должен помянуть мою крестную мать, подругу моей матери, Марию Каспаровну Ягодскую (по

театру Яроцкую), актрису существовавшего тогда театра «Кривое зеркало». Этот театр, чисто сатирический, очень яркий и талантливый, не имел постоянного пристанища, кочевал по всей России, не без сложных приключений: в одном из писем к моей матери Мария Каспаровна рассказывает, как в одном из сибирских городов директор театра сбежал, бросив театр без гроша на произвол судьбы. Театр «Кривое зеркало» приезжал и в Саратов, и я видел два оперных спектакля, проходившие в здании саратовской Оперы — «Гастроли Рычалова» и прославленную «Вампуку, принцессу африканскую». Мария Каспаровна играла роль главной героини этой действительно уморительной пьесы (тоже оперы). Играла хорошо, как и ее «папаша» — африканский царь Струфокамил (Strutio camelus — ученое латинское название страуса), и ее возлюбленный принц Лодыре, и воины эфиопской армии — недостаточно многочисленные и потому в своем стремительном преследовании принца и принцессы неоднократно возвращавшиеся назад позади бурно колышущегося задника с изображением солнца над пустыней[4]. Мария Каспаровна, приезжая в Саратов, считала своим долгом что-нибудь мне дарить — обычно совсем мне не подходящие книги.

Определенную «категорию» гостей составляли врачи — в них постоянно оказывалась необходимость. Я не помню, чтобы на Немецкой улице бывал наш постоянный, чуть не со дня рождения, детский врач — Вячеслав Андреевич Нилов: в первые же дни Первой мировой войны он ушел на фронт, и последний раз я его видел еще на предыдущей нашей квартире, когда в начале 1915 года он на несколько дней приехал с фронта и привез подарки: мне — австрийскую саблю, родителям — большущий стакан от артиллерийского снаряда. Я навсегда запомнил его забавный рассказ, как он упаковал этот стакан от снаряда в маленький ящик, позвав на вокзале носильщика, и попросил взять этот ящик, сказав, что чемодан он понесет сам; носильщик с удивлением и крайним презрением подцепил ящик мизинцем, но тот с места не сдвинулся; он взял всей рукой, но ящик словно пустил корни в каменный пол перрона. Наконец ему пришлось встать на колени и обеими руками с трудом оторвать таинственный ящик от пола. Вячеслав Андреевич был среднего роста, лысый, с аккуратно подстриженной бородой, всегда веселый и приветливый. Мы с братом его не боялись и радовались его приходам, достаточно частым.

Так же часто приходил доктор Николай Яковлевич Трофимов, очень популярный в Саратове, очень ученый и уважаемый врач. После революции он сыграл огромную роль в моей жизни, о чем рассказ будет особый в свое время. Это был высокий худой

человек, очень некрасивый: с какой-то необычайно длинной вытянутой шеей, почти полным отсутствием подбородка, коротко стриженной головой, короткими усами и длинным утиным носом, страшно близорукий, никогда не расставававшийся с очками. Меня тогда поражало, что его указательный палец на правой руке был чем-то поврежден и представлял тоненькую сухую косточку, мешавшую при писании рецептов. Он был очень молчаливый и строгий, и мы питали к нему глубокое почтение. Ближе я узнал его позднее.

Говоря о медиках, думаю, что здесь же могу рассказать о часто приходившем к нам будущем медике — студенте прославленного медицинского факультета Саратовского университета, ученике столь же прославленного профессора Спасокукоцкого — веселом, умном, очень привлекательном молодом человеке, старше меня на пятнадцать лет и по возрасту приходившемуся посередине между мной и моими родителями, так что приходил он в гости и к ним, и ко мне с моим братом. Это был будущий великий хирург Александр Николаевич Бакулев, всемирно известный врач, который первым в мире и первым в истории человечества стал делать успешные операции на сердце, став в свой черед главным врачом Первой градской больницы (лучшей в Москве), потом Президентом Академии медицинских наук, действительным членом Академии наук СССР! В 1915 году мне было десять лет, ему — двадцать пять. Каким ярким, из ряда вон выходящим, высокоодаренным и необыкновенно привлекательным он был в своей юности, таким он остался на всю свою жизнь — это я знаю потому, что дружба с ним осталась на всю его жизнь. Мы с братом радовались его частым приходам, и ему, видимо, было приятно бывать у нас. Мы затаскивали его в нашу комнату, и он никогда не сопротивлялся; нам всегда было что рассказать ему интересное, и он относился к нам с явным уважением, без какого-либо снисхождения и без сентиментальности.

Бакулев переселился из Саратова в Москву позже нас, в 1926 году. В Москве он сказал мне: «Вашу семью я буду лечить, пока жив. Но чужих людей по возможности ко мне не посылайте — у меня и так уйма работы». Мне самому пришлось обратиться к Александру Николаевичу как к врачу единственный раз в жизни. В 1944 году, после моего возвращения в Москву из Самарканда, у меня вдруг сделался приступ острейшей боли в животе. Пришел наш добрый друг доктор Федор Иванович Яковлев, широко известный в Москве врач, осмотрел меня и сказал, что у меня ничего нет. Боль прошла без всяких лекарств, но через некоторое время возобновилась вторично с прежней силой, и снова Федор

Иванович сказал, что у меня ничего нет. Но в третий раз, в том же году, припадок, случившийся ночью, был такой сильный и болезненный, что я даже свалился с кровати. Наташа, моя жена, вызвала «скорую помощь» и приехавшая быстро докторша нашла, что это больше всего похоже на аппендицит и надо везти меня в больницу. Я попросил, чтобы меня отвезли к Бакулеву в Первую граде — кую больницу. Это было в ночь на воскресенье. День я пролежал спокойно, в понедельник утром пришел Бакулев, посмотрел меня долго и тщательно и сказал: «У вас ничего нет. Полежите спокойно неделю и пойдете домой своим ходом». И боль больше не возобновлялась никогда. И Яковлев, и Бакулев были превосходными диагностами, но Александр Николаевич, я думаю, был к тому же великим волшебником, и болезни его панически боялись и исчезали как можно скорее. Что это было именно так, я убедился немного позднее еще раз, где-то в пятидесятых годах. Я, как обещал, никого к Бакулеву не посылал (да и мало кто мог знать, что я с ним знаком), но ко мне обратилась именно с такой просьбой ближайшая, с юных лет, подруга моей жены Фрося Васильева. Она тяжело заболела, врачи определили у нее рак, измучили бесконечными анализами и лекарствами. Лечение не помогало, она на глазах становилась все изможденнее и измученнее. Тогда она и обратилась ко мне, и я не посмел ей отказать. Я позвонил Бакулеву, он, разумеется, только воскликнул: «Ну, конечно! Пусть приезжает сейчас же». Фрося приехала к Бакулеву и выложила на стол кучу бумажек с анализами и рецептами. Бакулев сгреб всю эту кучу в сторону, не глядя; тщательно осмотрел Фросю и сказал: «Нет у вас никакого рака. Поезжайте домой и живите себе на здоровье». И после этого визита к Бакулеву Фрося жила двадцать лет!

Бакулев был, бесспорно, одним из тех великих героев — они есть во всех областях творческой человеческой деятельности, — которыми гордится человечество и которые своими великими деяниями оправдывают существование человечества на нашей планете, когда человек уравнивается с природой в своей созидательной мощи. Правда, бывает, что далеко не все люди считают для себя почетным и обязательным преклонение перед такими героями. Я видел на новом кладбище Новодевичьего монастыря прекрасный надгробный памятник Бакулеву, когда он был цел: большая каменная плита, и над ней посередине две бронзовые руки, бережно держащие человеческое сердце, сделанное из ослепительно сияющего прозрачного золотистого сердолика. Какому-то беспредельно подлому человеку, во времена позорного вырождения большей части советского общества в «эпоху застоя», понадобилось разрушить этот

памятник. Его не удалось восстановить в первозданном виде до сих пор.

Немногочисленную, но важную и интересную категорию гостей представляли знакомые моего отца по его давней революционной и служебной деятельности. Регулярно, раз в два — три месяца, приходил Григорий Андреевич Душников, рабочий, старый большевик, немолодой, молчаливый и хмурый человек, к которому я относился с уважением, но никогда не разговаривал. Он приходил к моему отцу, и они долго беседовали вдвоем, о чем — не знаю. Однажды отец собрался поехать к Лушникову в гости и взял меня с собою. Лушников жил в Солдатской слободке, беспокойном рабочем предместье Саратова, на его южной окраине в сторону Увека, у берегов Волги. Мы приехали на широченную немощеную пыльную улицу, по сторонам которой далеко друг от друга стояли небольшие деревянные домики, все окруженные тенистыми палисадниками. Наверное, теперь от этой Солдатской слободки ничего не осталось — Саратов с тех пор вырос раз в шесть или семь, став почти миллионным городом, а расти ему ни на север, где была Соколиная гора, ни на восток, где Волга, ни на запад, где заграждала путь Лысая гора, было некуда, кроме как к югу.

Кто такой был Лушников по своему душевному складу и человеческим качествам — узнать мне так и не удалось. Поездка к нему в Солдатскую слободку ничего не дала. Он казался мне человеком из какой-то другой жизни моего отца — мне неведомой, таинственной и романтичной.

Несомненным отзвуком этой «другой» жизни отца были часто приходившие к нам трое братьев Малининых — старшие, близнецы, Александр и Борис, и младший Глеб, все — студенты Саратовского университета, высокие красивые молодцы, полные жизнерадостной энергии. Они охотно и просто входили в наши ребяческие дела и интересы. Сколько им было лет — не знаю, должно быть, около двадцати; не знаю также, в каких родственных отношениях они были с другом юности моего отца, Николаем Ивановичем Малининым, его товарищем по Московскому университету и революционной работе. Были ли они его сыновьями — не ручаюсь. Но они явно сделали немало для того, чтобы мы с братом ощущали себя естественнее и свободнее среди взрослых, чем среди сверстников. Я твердо помню как радовался тогда, что у нас дома есть свой особый мир, независимый от школы, в которой я чувствовал себя скованным и чужим.

Наконец, ряд наших гостей были сотрудники отца, работавшие в «конторе». Их было пятеро, двоих я знал мало —

молодого Борисова (забыл его имя и отчество) и вполне великовозрастного Михаила Акимовича Гурни — вероятно, они часто бывали в разъездах по служебным делам. Мало я знал, но очень им интересовался, Митрофана Саввича Сергеева. Это был человек огромного роста, необычайно грузный, редкостно безобразный и с ангельской душой. Для меня он был наглядным уроком, запрещающим судить о людях по их внешнему облику, и меня страшно поражала прихоть и несправедливость природы, заключившей такую беспредельную доброту и душевную нежность в такую неподходящую оболочку.

Из всех отцовских помощников главными и самыми близкими нам были Николай Николаевич Вяхирев и особенно Константин Леонидович Гиршфельд. Да их, собственно, нельзя зачислять в одну «категорию» с другими сотрудниками отца: те были гостями, а эти двое — добрыми друзьями, просто родными людьми.

Николай Николаевич Вяхирев был среднего роста, худой, некрасивый, с темными волосами и короткими усами, с резко выступающей вперед нижней челюстью. Он был умен, сердечен, музыкален — прекрасно играл на мандолине. Он, видимо, редко куда-нибудь уезжал и бывал в нашем доме постоянно. В конце 1916–го или в начале 1917 года он был мобилизован и уехал на фронт. Больше я его не видел и дальнейшую его судьбу не знаю. Мы очень о нем беспокоились, но все следы потерялись.

Константин Леонидович Гиршфельд, Костя, как звали его родители и как звали мы с братом, вошел в нашу семью как горячо любимый человек, занявший в нашей жизни важное и прочное место до конца (к сожалению, недалекого) своих дней. Он был из поволжских немцев, очень большой, высокий и почти тучный, круглолицый, с коротко подстриженными волосами и такими же усами. Он словно источал из себя доброжелательство и жизнерадостность. Он был главным помощником отца, никуда не уезжал и приходил каждый день. У его матери был дом «на горах», как в Саратове называли район на пологом склоне Соколиной горы, к Волге обрывавшийся отвесными скалами, за Глебучевым оврагом, отделявшим «горы» от остального города, на Вознесенской улице. Когда я его узнал, в 1915 году: ему было, я думаю, около сорока лет. В 1916 году он был мобилизован, сначала как солдат, потом, после недолгого обучения в Пензе, стал офицер.

Костя был очень уютен и в значительной степени окрасил своим присутствием эти столь важные для меня годы. Он был музыкален не меньше Вяхирева, и они многократно давали совместные концерты — Костя отлично играл на гитаре. Они исполняли и классическую музыку, и душещипательные романсы,

и просто вольные импровизации, подражавшие аккомпанементам к немым фильмам — тем, что назывались «видовыми» и давали полную свободу аккомпаниатору. Эти последние легко превращались в пародийные — я до сих пор помню мотив одного такого музыкального произведения, которое Костя и Николай Николаевич торжественно называли «Чинка карандашей в Средней России».

Конец его жизни был поистине трагический. В 1921 году он был уволен из армии (ставшей Красной) по болезни, приехал к нам во Вторую советскую здравницу недалеко от Саратова, где мама и я работали с весны (об этой здравнице я расскажу подробно в свое время), приехал как гость и остался как тяжело больной. Его посмотрел Николай Яковлевич Трофимов, главный врач здравницы, и нашел у него туберкулез в далеко зашедшей форме. Лаборатория, имевшаяся в здравнице, подтвердила этот страшный диагноз. Мы поместили Костю в одну из наших двух комнат на даче, где мы жили вместе с Николаем Яковлевичем Трофимовым и его семьей. Костя страшно исхудал и должен был все время лежать. Всякое лечение запоздало.

Когда в феврале 1922 года мы уехали в Москву (уехавший туда в 1918 году отец смог взять нас к себе не сразу), мать Кости отвезла его также в Москву, и он, болевший все тяжелее и тяжелее, лежал некоторое время в одной из комнат нашей квартиры. Но он не захотел умирать на наших глазах и попросил перевезти его к его старшей сестре, жившей в Москве. Было очень страшно смотреть, как туберкулез смог так жестоко погубить такого сильного, полного энергии и жизни человека. Там, у сестры, Костя умер в 1924 году. Похоронен на старом кладбище Новодевичьего монастыря.

Смерть Кости была очень большим горем для нашей семьи. Как-то к отцу пришел незнакомый мне человек и стал расспрашивать о Косте и высказывать свое огорчение, что он умер так рано и так тяжело, отец отвечал на вопросы и соглашался с гостем. Но мама заплакала и попросила перестать разговаривать о Косте. Как-то раз она сказала: «Я никогда никого так не любила».

Февральская революция весьма мало изменила повседневный обиход нашего дома. В 1917 году мама даже решила поступить в университет на исторический факультет. Ее приняли, и в нашем доме появилось много книг по русской и всемирной истории, и даже начали приходить в гости некоторые университетские профессора. Лишь осенью 1918 года начались резкие перемены в нашей жизни. У отца не получилось контакта с новыми саратовскими властями, и он осенью 1918 года уехал в Москву —

как получилось, навсегда, и там с головой погрузился в партийную и административную работу. До 1922 года мы оставались в Саратове без него. Пришлось первым делом распроститься с огромной квартирой на Немецкой улице, и это сложное дело легло на плечи моей матери. К счастью, ненадолго появился Костя и предложил переселиться в его дом на Вознесенской улице. Но он скоро уехал снова в свою военную часть, и переселяться нужно было без него. Брать с собой всю мебель было невозможно, мама продала всю обстановку столовой, оставив лишь свои полочки с написанными ею акварелями; продала и другую мебель, сохранив полностью лишь мебель отцовского кабинета и, конечно, свой рояль.

Много хлопот получилось с книгами, которых было много. Их упаковали в шесть или семь очень больших ящиков, из которых один был целиком занят моей библиотекой, и эти ящики были отвезены на временное хранение почему- то в имевшееся в Саратове персидское консульство: у кого- то из отцовских сотрудников (кажется, у Гунри) было знакомство с консулом, и тот любезно предложил поместить ящики с книгами в конюшне во дворе консульства, что и было, к сожалению, сделано. Книгам это любезное приглашение обошлось очень дорого: мы смогли взять их к себе только весной 1919 года, а у конюшни оказалась худая крыша, и все осенние дожди и тающий весною снег основательно промочили часть ящиков. Много книг пострадало от сырости, некоторые совсем погибли. Мой ящик пропал полностью — он оказался пустым. Отцовские книги были все налицо, кроме многотомной «Американской демократии» Байта, которой он очень дорожил (и которая мне очень пригодилась бы, но я никогда этой книги больше не находил). «Сохранности» книг сильно помогли и лошади, которые с удовольствием жевали книги, выпавшие из разбившихся при перевозке ящиков.

Я не помню точно, как мы разместились в Костиной квартире, вероятно, там было очень тесно, но мои мысли были заняты всецело другим: ведь мне пришлось бросить и среднюю школу, и музыкальную школу, мы остались совсем без денег (мебель была продана за гроши), и я отдал для продажи на черном рынке все свои игрушки — свой «зверинец», который собирал всю предыдущую жизнь. От этого очень обширного «зверинца» остались только два зверя — они хранятся у меня до сих пор. Один — большой мягкий, обшитый мехом (который уже весь исчез) бурый медведь, полученный ко дню моего рождения в 1910 году, с которым я никогда не расставался, а потом играли моя дочь и мои внуки[5].

Другой — маленький целлулоидовый носорог, уцелевший от

продажи потому, что был инвалидом, с трещиной на ноге и без одного уха. Прощание с этим «зверинцем» было прощанием с моим детством.

Мама поступила на работу в саратовский губздравотдел, что оказалось большой удачей, потому что в начале 1919 года этот губздравотдел организовал под Саратовом две или три здравницы, одной из которых стал заведовать Николай Яковлевич Трофимов. И он весной 1919 года взял на работу и мою маму, и меня — я стал в 14 лет взрослым человеком. Это было большим счастьем для нас, потому что во всем Поволжье уже начинался голод. В здравнице кормили без всякой роскоши, но вполне достаточно, и если бы мы получили возможность располагать не двумя порциями еды (которые получали мама и я), а четырьмя — все было бы совсем прекрасно. Но я сразу заметил, что мама всю свою порцию отдает младшим ребятам, и это в конце концов сказалось очень плохо на ее здоровье. Мы провели в этой Второй советской здравнице все три лета до отъезда в Москву — 1919, 1920 и 1921 годы, с весны до глубокой осени. Это спасло нас от голодной смерти, но мама фактически все эти годы голодала. И на третий год она тяжело заболела. До сих пор я с ужасом вспоминаю картину: она без сознания, а все ее тело сотрясается мощными судорогами! Я думаю, что эти годы в здравнице сильно сократили ей жизнь: хоть дальше, в Москве, она не работала, и здоровье ее все больше и больше ухудшалось.

Эти три года перед переездом в Москву были, думаю, очень тяжелы для моей мамы во многих отношениях. Не только потому, что она, по существу, все время голодала, даже и в здравнице, не говоря уж о совсем голодных зимах, этому сопутствовало крайнее нервное напряжение, вернее — перенапряжение. Для него причин было предостаточно.

Было постоянное беспокойство об отце: его работа в Москве в первые годы после революции была далека от всякого спокойствия.

Было постоянное беспокойство о Косте, который воевал где-то на неведомых фронтах Гражданской войны, а потом так тяжко разболелся.

Было достаточно беспокойства о детях. Я, например, ухитрился добавить немалое количество волнений тем, что чуть было не разболелся очень опасно. Всю зиму 1919-1919 года я проработал в саратовской туберкулезной поликлинике — записывал больных, вел их истории болезни. И в результате каждодневного общения с тяжелыми туберкулезными больными у меня самого начался туберкулезный процесс. Его обнаружил Николай Яковлевич Трофимов, когда весной 1920 года мы

приехали во Вторую здравницу вторично. Николай Яковлевич очень умело и энергично пресек этот процесс, а дальше и вовсе его ликвидировал, но я так напугал маму, что следующие две зимы она не позволила мне нигде работать. А это означало меньшее количество денег, что при страшной дороговизне вносило большие трудности в наше материальное существование. Отец не мог посылать нам сколько-нибудь много денег: он получал «партмаксимум», а это была очень скромная сумма — не в пример позднейшим временам недурно обеспеченной командно — административной системы. Зимой маме приходилось все время носить на черный рынок все, что было можно — не только моих любезных зверей, но и свою одежду, и некоторые книги, например, изданные Вольфом роскошно, но очень безвкусно оформленные однотомники Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Жуковского, Белинского, или книги в каких-нибудь нарядных, завлекательных переплетах (детских книг, как я говорил, не осталось совсем).

Но был еще один постоянный источник для нервного напряжения. Маме было очень трудно и тяжело жить в доме Костиной матери. Для Кости мы были близкими и дорогими людьми, а для его матери — чужими и совершенно ей ненужными. Нас, детей, она никак не трогала, а маме постоянно напоминала, что пора убираться восвояси из ее дома. Это была малосимпатичная, молчаливая и холодная старуха, да мы и вправду ей, вероятно, очень мешали своим присутствием. В зиму 1920–1921 года мама начала усердно искать для нас другое пристанище, что из-за отсутствия денег было делом весьма затруднительным. Наконец, в самую студеную пору, какой-то посредник нашел свободный и никому не принадлежащий маленький дом с одной квартирой на Провиантской улице, в нижней части города, у Волги. Он предложил перевезти туда хотя бы немного мебели и начать там ночевать, и однажды вечером мы погрузили на большие дровни мамин рояль и кровати и поехали на Провиантскую улицу, через весь город. Но когда мы добрались до найденного дома, оказалось, что он уже кем-то занят. Обманул ли маму этот посредник или и для него это было неожиданным, но пришлось, не снимая ничего с дровен, отправиться на них же назад на Вознесенскую улицу, и мы явились туда к ночи, к совершенно откровенному неудовольствию Костиной матери. Но мама обещала ей, что за лето обязательно найдет новое жилище — и обещание сдержала. В 1921 году одним из ординаторов здравницы была доктор Ляховецкая (о которой я знаю только, что она была женой известного дипломата Майского), и она предложила поселиться у нее в большой свободной комнате на

втором этаже двухэтажного дома на Большой Кострижной улице, в центре города. Я не знаю, как условилась с нею мама в смысле платы, но осенью этого года, после здравницы, мы действительно переехали на новое место.

Я бывал на этой Большой Кострижной улице летом, когда зачем-нибудь приезжал в город из здравницы, и всякий раз дивился ее красоте. Не домов по ее сторонам, они ничем примечательным не отличались, да их просто и не было видно с середины улицы за необыкновенно пышно разросшимися тенистыми кленами и липами. Улица выглядела как прекрасная и торжественная аллея в какой- нибудь богатой усадьбе или загородном парке, тем более что по ней редко когда проезжала пролетка или телега. В Саратове вообще было очень много зелени на всех улицах, но эта особенно выделялась красотой деревьев, которыми с обеих сторон была обсажена.

В большой хорошей комнате было хотя и холодно, но уютно и спокойно — для мамы исчез хотя бы один постоянный источник нервозности. Ляховецкая ничем нам не мешала. Я не помню никаких особенных событий во время нашей жизни в эту зиму 1921–1922 года, кроме одного очень для меня волнительного и горестного. Дело в том, что в то лето в здравнице я вздумал завести кур. Они жили под дачей, там же несли яйца, которые были важным добавлением к постоянно недостаточной еде. У меня были три курицы старшего возраста — черная, белая и пестрая, и две или три родившиеся и выросшие в это лето. Был петух, который в конце концов позорно сбежал на недалеко расположенную в том же фруктовом саду дачу, где были больше ему понравившиеся куры — орпингтоны — высокие, длинношеие, ярко — желтые, без хвостов и без гребешков. Правда, это бегство дало мне возможность познакомиться с жившим на этой даче доктором Александром Александровичем Богомольцем, очень приятным и высокоинтеллигентным человеком, впоследствии он стал президентом Украинской Академии Наук. Но когда пришлось осенью, после здравницы, возвращаться в город — куры доставили мне не только много хлопот, но и очень много горя. Я смог поместить их только в неотапливаемой деревянной пристройке к дому, я выпускал их на двор, а потом с трудом загонял обратно. А когда начались морозы — куры все, одна за другой, погибли от холода. Каждое утро я входил в свой курятник со страхом — какую курицу я найду сегодня мертвой? А моя любимая прелестная маленькая молодая белая курочка, на редкость изящная, на моих глазах ушла со двора на улицу и пропала — я не смог ни найти ее, ни догнать.

Так кончили свой земной срок эти безобидные существа, так

щедро кормившие нас все лето. Я уезжал в Москву с тяжелым чувством, даже с неприязнью к родному городу, так дурно обернувшемуся к нам за последние четыре зимы и лета. Хоть он вовсе виноват не был.

Наконец настал день отъезда. Отец стал получать больше и в феврале 1922 года приехал за нами с вагоном — теплушкой, в которой легко поместился мамин рояль и другая мебель (прежде всего три книжных шкафа), и книги. Посреди теплушки поставили круглую железную печку. Под вагоном в ящике ехала большая замороженная свиная туша.

Мы попрощались только с Костей, лежавшим у себя дома в очень плохом состоянии. Попрощались «до скорого свидания», потому что его мать должна была в самом скором времени перевезти его в Москву.

В Москве мы приехали сначала к Самселям в Долгий переулок у Зубовской площади. Но пробыли там недолго: отец уже приготовил нам квартиру — в Малом Знаменском переулке, позади Музея изобразительных искусств. Квартира помещалась на антресолях старинного двухэтажного дома — эти два этажа были очень высокие, а антресоли (где, видимо, некогда помещались слуги), очень низкие и достаточно неудобные. От входа сквозь всю квартиру шел коридор, по одну сторону которого были три очень большие комнаты, все проходные, а по другую — три маленькие; в конце коридора влево находились ванная, уборная и кухня. В одной из маленьких комнат лежал некоторое время Костя, когда мать привезла его в Москву.

Жили мы в этой квартире очень недолго, только до 1924 года. Запомнилась мне она только одним курьезным происшествием. Как-то днем я зажег свет в уборной и неожиданно обнаружил в ней гигантского ослепительно — черного кота! Я не поверил своим глазам — что за мистика?

Кот небрежно взглянул на меня, зевнул, разинув пламенеюще — красную пасть, и стал преспокойно «вписываться» в углубление в полу, где, оказалось, было незамеченное мною отверстие в нижнюю квартиру. Но как он мог там влезть на потолок? Эпизод остался покрытым тайной. Внизу под нами жил Гржебин, племянник известного издателя тех времен, женатый на сестре Михаила Акимовича Гурни — он, вероятно, и помог отцу найти эту квартиру.

Следующая квартира — в Милютинском переулке на Мясницкой, против французской церкви, на пятом этаже невзрачного дома, была очень неуютная. У мамы уже не было сил (да и желания) заниматься улучшением нашей обстановки, и эту квартиру я вспоминаю с нелюбовью, хотя туда впервые ко мне

стала приходить Наташа, моя будущая жена, очень понравившаяся моим родителям. Однажды, я был дома один, раздался звонок; я открыл дверь — «Дома Дмитрий Николаевич?» — спросил меня худой человек с небольшой бородкой, чем-то похожий на моего отца. Когда я сказал, что его нет дома, незнакомец улыбнулся и ушел и больше не приходил. А оказалось, что это был брат отца Георгий Николаевич, лесник из Свердловска! Жаль, что он не счел нужным представиться. Больше я его никогда не видел.

Мне кажется, что для мамы ничего доброго и радостного в переезде в Москву не было. Она никогда не говорила об этом, но она так намучилась за последние годы жизни в Саратове и так безнадежно испортила свое здоровье, что не могла ни работать, ни вести сколько-нибудь деятельную жизнь. На нее тяжкое влияние оказали болезнь и смерть в 1924 году Кости Гиршфельда. Вслед за этим, в 1926–1929 годах, ей пришлось совсем не легко пережить грустные и сложные события в жизни моего отца (о чем я расскажу в свое время) — никакого душевного равновесия и покоя она обрести не могла, я думаю, уже никогда. Из дома постепенно, но почти в одно время ушли все дети: я женился в 1929 году, брат в 1931 году уехал учиться в Ленинград и остался там на всю жизнь, сестра очень рано вышла замуж и ушла к мужу, военному… И хотя я и моя сестра ездили к родителям туда, где они до войны жили — в Антипьевский переулок, потом на Новосущевскую — это происходило далеко не каждый день. Отец с 1930 года с головой ушел в свою химию, и мама постоянно оставалась одна. Ей, несомненно, было и тоскливо, и одиноко, но она никогда, ни малейшим намеком об этом не говорила. Радовалась моему приезду в тот небольшой одноэтажный деревянный дом посреди широченного полудвора — полусада, где отец и мать мои жили перед войной, расспрашивала о моих многообразных делах и про мою дочку, которую очень любила. Я ясно чувствовал, что в духовном (или душевном) плане гораздо больше сблизился с мамой, чем когда-нибудь раньше. Я думаю, что, выросши, впервые как следует понял и оценил ее душевную тонкость, ее душевное богатство и то, с какой самоотверженностью и щедростью она делала из меня человека.

Когда началась война, мама уехала вместе с моей сестрой и ее тремя маленькими детьми на Урал. Ее письма оттуда моему отцу в 1942 году страшно читать — они с сестрой там отчаянно голодали, все, что могли достать, отдавали, конечно, маленьким ребятам, и мама пишет без конца о еде, которой ей почти не достается. Я, вернувшись в октябре 1941 года из ополчения, уехал

в Самарканд, так как был доцентом эвакуированного туда Московского художественного института. Я стал писать на Урал и звать маму в Самарканд, где хоть было тоже голодно, но все же лучше, чем там, на Урале. И в письмах к отцу она пишет, как мечтает уехать ко мне в Самарканд и надеется, что там хоть что-нибудь будет подешевле. И наконец осенью 1942 года они с сестрой приехали в Самарканд. Сестра с детьми сразу поселилась отдельно, мама некоторое время жила у нас в небольшом глинобитном доме на окраине Нового города, где мы обитали. Приехала она совершенно больная и прожила лишь месяц. Когда я нашел хорошего врача и он посмотрел маму, то нашел у нее одновременно целых четыре болезни, и все безнадежные. Когда он сказал это, мама только улыбнулась.

Она умерла спокойно. Директор Художественного института И. Э. Грабарь написал бухгалтеру распоряжение: «выдайте профессору Чегодаеву деньги на похороны». Старый мастер — узбек вручил мне очень тщательно сделанный гроб, сопроводив это цитатой из Корана; двое студентов отнесли гроб за семь километров, отделявших Старый город от моего жилища. С Регистана (где помещался институт) пришел один Владимир Андреевич Фаворский, он помог мне уложить маму в гроб. Я нашел легкового извозчика, гроб поставили поперек пролетки, на ее сиденье посадили мою дочку Машу, извозчик поехал шагом, и за ним шли мы вчетвером: Владимир Андреевич, моя жена Наташа, моя сестра Катерина и я — до городского кладбища, находившегося в ложбине, отделявшей Старый город от Нового. Когда могила была зарыта, Владимир Андреевич ушел домой в Старый город, взяв с собой Машу. У меня до сих пор отчетливо стоит в глазах его высокая стройная фигура и прижавшаяся к его боку худенькая одиннадцатилетняя девочка. Мы трое вернулись в свой Новый город. Я сделал зарисовку — план кладбища, указав все возможные заметные приметы, чтобы легче разыскать могилу. Вскоре я отыскал большую каменную плиту, студент — скульптор Гиппенрейтер выбил на ней надпись, и студенты отнесли эту плиту на кладбище.

В Самарканд я попал почти через двадцать лет, в 1960 году. В Ташкенте была устроена выставка художников — графиков среднеазиатских республик, и меня пригласили приехать, посмотреть выставку и на другой день сделать о ней доклад на обсуждении. Я так и сделал, прочитал свой доклад и, когда на третий день всех участников выставки и обсуждения повезли на экскурсию в горы, не поехал туда, а отправился в Самарканд вдвоем с художником С. В. Редькиным, бывшим моим учеником по художественному институту. За день, проведенный в

Самарканде, я успел бегло осмотреть любимые мною архитектурные памятники — Регистан, мечеть Биби — Ханым, вереницу мавзолеев Шахи- Зинда на Афросиабе. Но моя главная цель была пойти на могилу моей матери.

Я пришел туда — и не нашел могилы! Плита, лежавшая на ней, исчезла, исчезли и все зарисованные мною приметы. У меня был с собой перочинный нож, я попробовал им рыть землю на том месте, где, как я предположил, может быть занесенная песком плита, но сразу бросил это занятие, поняв, что такого произойти не могло. Тогда я пошел к директору кладбища. Из служебного домика вылез человек в драном костюме, в кепке, страшно худой, страшно небритый и с одной щекой! Я попросил, чтобы он показал мне записи погребенных в начале сороковых годов, он принес мне пачку тетрадок, когда-то насквозь промокших и почти рассыпавшихся в прах, со сделанными чернилами записями, расплывшимися в бесформенные пятна. Но тетрадки за 1942 год не оказалось вообще. Я спросил, где прежний директор, Бальмели. Небритый и однощекий человек буркнул: «Сидит». «За что?» «Продавал памятники». Что ж, объяснилось исчезновение плиты, но не больше. Этот тощий дядя показался мне карикатурным олицетворением все стирающего Времени, дурацкой пародией на Сатурна. Я вернулся на кладбище и вдруг нашел место могилы: около нее и другой, соседней, стояла высокая и легкая большая прямоугольная железная ограда без всяких памятников, без всяких надписей, чуть не доверху заполненная очень высокой густой ярко — зеленой и свежей травой, которая вся была пронизана цветущими бледнолиловыми ирисами! Это было так красиво и так величественно, что я вполне успокоился и вернулся в Ташкент в восхищении от найденного мною молчаливого, но необыкновенно внушительного и поистине поэтического увековечивания памяти моей мамы.

Когда в 1967 году на 92–м году жизни умер мой отец, я на вертикально стоящей черной плите на Востряковском кладбище велел выбить надпись: «Памяти Дмитрия Николаевича Чегодаева, ученого — химика, 1875–1967, похороненного здесь, и его жены Юлии Николаевны Чегодаевой, 1880–1942, умершей и похороненной в Самарканде».

Я пропустил один эпизод 20–х годов, о котором нужно рассказать. Чтобы хоть немного успокоить маму после смерти в 1924 году Кости Гиршфельда, мы увезли ее в Крым, в Алупку (впервые и в ее, и в моей жизни), а в следующем 1925 году — в Евпаторию, а после нее снова в Алупку. Как ни была она грустна, благодатная крымская природа не могла не подействовать успокаивающе на ее больное сердце.

На прекрасной фотографии, снятой в Евпатории в 1925 году, мама и мой брат Митя (которому тогда было семнадцать лет) сидят на бесконечно широком пустынном пляже, состоящем из тончайшего нежнейшего песка, перемешанного с великим множеством разноцветных ракушек. Митя улыбается, а у мамы лицо грустное и встревоженное — душевное спокойствие у нее исчезло надолго, почти навсегда, но она все же радовалась чудесной природе.

После этой фотографии она очень долго не снималась, и существует лишь одна (и последняя) фотография, снятая в самом конце тридцатых годов, около 1940 года, на Новосущевской улице. Эта очень похожая фотография — лицо мамы (ей здесь почти шестьдесят лет) нисколько не постаревшее, спокойное, чуть — чуть улыбающееся, проникнуто глубокой нежностью и добротою. Такой она осталась до конца (до которого было совсем недолго), такой приехала осенью 1942 года в Самарканд, только сильно похудевшая после уральского голода. Она никогда ни на что не жаловалась, никогда не говорила о своих болезнях, и в Самарканде, прекрасно зная, что идут ее последние дни, только радовалась, что она с нами, что видит нас.

Я хорошо помню приезд бабушки и тети Кати с детьми в Самарканд. Помню, как поздней ночью их как-то размещали в нашей небольшой комнате, укладывали на полу. Помню странное, мертвенное лицо бабушки в свете «коптилки» (в нашем кишлаке не было электричества). Мама потом признавалась, что это лицо поразило и ее — так явно лежала на нем печать смерти. Утром это впечатление прошло, и какой-то срок, очень небольшой, бабушка была относительно здорова и радостна. Она была счастлива встрече с сыном — они подолгу разговаривали, держась за руки, и она повторяла: «Я уже не увижу ни Митю (сына), ни Митю (мужа), так хоть Андрея увидела!» И — уверенно о сыновьях: «Митя хорошенький, а Андрей красивый!» Помню похороны — как меня посадили в извозчичью пролетку рядом с гробом. Двинулись медленно: взрослые шли за пролеткой, а посередине пыльной улицы сидел, глядя нам вслед, скрестив ноги по — турецки, брат Сашка, старший сын тети Кати — ему было лет пять, наверное…

Дмитрий

Дмитрий Николаевич Чегодаев — отец А.Ч. Его судьба

В написанной части этих воспоминаний я уже многое сказал о моем отце, сказал разрозненно и бегло, и сейчас нужно связать воедино эти разрозненные упоминания и многим дополнить.

Я уже сказал где-то в самом начале, что жизнь моего отца сложилась очень непросто, со многими переменами, часто большими и тяжелыми сложностями, но жизнь яркая и очень значительная, достойная самого глубокого уважения. Я бесконечно многим ему обязан, не меньше, чем маме, к своей великой радости унаследовав многие важнейшие черты и особенности характеров их обоих.

Отец родился 25 октября 1875 года. Детство и отрочество его, как я уже рассказывал, прошли в трудной и стесненной обстановке. Отец его (мой дед) умер, когда моему отцу было шесть лет; его мать, судя по всему, относилась к своим детям как к обузе, понимала свое княжеское достоинство как дарованное самим Господом Богом право ничего не делать, вести чисто паразитический образ жизни. Она преспокойно бросила работу и взвалила на плечи шестнадцатилетнего сына все заботы о заработке, материальном обеспечении и ее самой, и двух его братьев и двух сестер. Правда, благодаря такому ее отношению мой отец очень рано получил полную самостоятельность в своих суждениях о жизни, о встречных людях. Это было самое суровое и самое демократическое воспитание, без всяких барских стремлений.

Было бы, конечно, лучше, чтобы в ранних письмах моего отца не попадались такие грустные слова: «Ведь у меня теперь ничего нет, пойми, ничего светлого и хорошего. Дома пилит мама за то, что я отравляю своим поведением ее жизнь; товарищи принуждены были сознаться во всем, и хоть и выпущены, но не весело чувствуют себя: за мной вечно следует сыщик и т. д. и т. д.» (12 октября 1899 года).

В такой мрачности он был не всегда: в другом письме своей Юлике в Петербург он пишет: «Я как-то ушел в самого себя, мне трудно раскрыть душу даже перед товарищами, я сделался угрюмым и нелюдимым. А прежде, бывало, среди моих товарищей я был самым веселым и беззаботным» (9 сентября 1899 года).

Но он не прав, говоря, что у него нет ничего светлого и хорошего — есть горячо любимая и отвечающая тем же Юлика,

которой он той же осенью 1899 года пишет и совсем другие письма:

«Милая Юлика!.. Разве я могу сердиться на тебя? И разве я писал тебе, что сержусь? Нет, нет и нет. Мне было больно, а теперь нет, потому что тебе тоже было больно (я эгоист) и потому что ты своей любовью можешь всякую боль уничтожить. Я теперь счастлив и доволен, потому что последняя соломинка, за которую я было ухватился, оказалась совсем не соломинка, а целый корабль, с теплом, светом, радушием, отзывчивостью и любовью. Я, Юлика, вполне искренне и серьезно говорю, что ты теперь для меня *всё.* Так скверно было бы без тебя ну, так скверно, что я даже и думать об этом боюсь… Ты, Юлика, напрасно работаешь много при ламповом свете, можно было бы купить и абажур. Но если ты испортишь глаза, сидя за письмами ко мне, то уж лучше поменьше пиши! Хотя… право, я твои письма жду с большим нетерпением: знаю, что ты напишешь и о чем, и все-таки рад письму и прочитываю по несколько раз.

Н. Ив. [Малинина] выпустили (теперь никого больше нет на Московской), он рассказал мне много интересного: вообрази, меня в чем-то подозревают, хотят найти каких- то 5 человек, которые, по словам жандармов, ускользнули от них. Они обещаются во что бы то ни стало найти. Черт знает что такое! Эта вечная слежка, аресты на неделю, свидетельства по совершенно незнакомому делу мне ужасно надоели. А главное, университет откладывается все дальше и дальше. За сим желаю тебе всего хорошего. Что сказать тебе еще? Впрочем, ты так хорошо меня знаешь, что все знаешь, что я хочу тебе сказать. Мой поклон всем. Я счастлив! Целую, целую крепко мое «счастье». Мои письма как-то всегда кончаются словами «Милая Юлика». М. 19/X 99».

Так почти ко всем многочисленным любовным письмам в Петербург, где на лестгафтовских курсах учится моя будущая мать, непременно примешивается самая злободневная политика, непосредственно и лично касающаяся моего отца.

Частные уроки, какие отец начал давать в шестнадцать лет, и работа конторщиком в управлении Рязано — Уральской железной дороги все же дали ему возможность окончить Саратовскую гимназию, а небольшое наследство, о котором я уже говорил, позволило в двадцать один год, в 1896 году, поступить в Московский университет на естественно — исторический факультет (официально он назывался физико — математическим), где преподавались все науки о природе, не только физика или химия, но и зоология, и ботаника, и даже этнография и археология. Уже, видимо, на первом курсе мой отец больше всего увлекся химией, которая, хоть и не сразу, стала

главным делом его жизни.

В 1897 году отец перешел на второй курс и с этого времени потерял всякую власть над ходом и содержанием своей собственной жизни. Потерял надолго — до 1930 года (с небольшим перерывом с 1912–го до 1917 года). Он стал одним из активных организаторов одного из первых социалистических кружков в России — в Московском университете, на втором его курсе. В этом кружке участвовали студенты разных факультетов — так, например, ближайший друг моего отца, как и он, саратовец, Николай Иванович Малинин, поступивший в университет одновременно с моим отцом, был студентом юридического факультета.

Эти молодые бескорыстные и самоотверженные мятежники конца XIX века были по существу такими же романтиками и идеалистами, как и их предки, будь то Огюст Бланки, или руководители Парижской коммуны Делеклюз, Флуранс, Клюзере, или русские бунтари Петрашевский или Желябов. Они так же стремились улучшить, если не радикально изменить, дурное устройство человеческого общества. Разница была в том, что приверженцы распространившихся в девяностых годах по всей Европе и Америке социалистических идей полагали их строго научными, основанными на неопровержимо выверенных знаниях о законах общественного развития. Это было одним из выражений всеобщей глубокой веры в торжество научно — технического прогресса, утвердившегося во всех науках о жизни. Правда, как и раньше, главным было острое чувство социальной справедливости, нарушений которой в России времен Александра III и Николая II было более чем достаточно.

Кружки, подобные тому, что возник в Московском университете, стали началом Российской социал — демократической рабочей партии; вскоре, после раскола, отец стал большевиком и, как мне кажется, не изменил своим юношеским взглядам после произошедшей во второй половине двадцатых годов сталинской контрреволюции, истребившей старых большевиков. Отец уцелел совершенно случайно — на его великое счастье, он в 1926 году был исключен из партии, и про него забыли. Об этом будет речь в свое время.

Во всяком случае, вышло так, что первая половина взрослой жизни моего отца оказалась тесно связана с ходом русской истории, реалии которой слишком часто давяще воздействовали на ход личной его жизни.

Возникновение социал — демократического кружка в Московском университете сразу обеспокоило царскую полицию, и она решила пресечь ее незамедлительно. Первое столкновение с

полицией было очень болезненным, несмотря на его глубокую прозаичность.

11 марта 1898 года отец был арестован вместе со всеми участниками кружка и выслан из Москвы в Саратов и посажен в тюрьму на Московской улице, близ вокзала. Похоже, что в саратовскую тюрьму были высланы все участники кружка, не только саратовцы по своему происхождению. Там он просидел 76 дней, подвергаясь непрестанным допросам. После этого был выпущен из тюрьмы и до весны 1900 года находился под неусыпным надзором полиции. Я думаю, что ведший следствие начальник саратовской тюрьмы, жандармский полковник Иванов, особенно пристально присматривался к моему отцу, никак не умея разрешить странную и непонятную загадку, как мог молодой князь оказаться среди этих заговорщиков.

Я не смог установить дату первой встречи отца с моей матерью — возможно, это случилось еще в 1897 году во время приездов отца на каникулы домой. Два года, с весны 1898–го до весны 1900 года, прошедшие в неволе, получились очень важным периодом его жизни. В письмах в Петербург он много раз описывает маме разные эпизоды своих сношений с жандармами.

«…Неделю тому назад из тюрьмы выпустили одного заключенного — Меркулова. Мне передавали его рассказ на допросе. На этом допросе его усиленно спрашивали о твоем Митьке, приводили какие-то наблюдения сыщиков, в высшей степени странные и даже абсолютно вымышленные, спрашивали, не участвовал ли я в каком-то кружке и еще что-то в этом роде. С Меркуловым был два раза обморок на допросе, так что он давал показания в ненормальном состоянии. Выпустили его, как говорят, потому, что он очень скверно себя чувствовал в тюрьме, так что ему предстоит серьезное лечение, и еще потому, что его показания были чистосердечны. Говорят еще, что он сознался в своем участии в нелегальном кружке, но потом вышел из него и дал честное слово не называть своих бывших соучастников по кружку, нарушать которое он не может. Вот все, что я слышал из разговоров, циркулирующих по Саратову. В высшей степени странно. Почему Иванов — жандармский полковник — выпустил меня на свободу, если у него есть какие-то данные против меня? Очевидно, данных у него нет, в противном случае он меня задержал бы. Да и откуда у него могут быть данные? Что Иванов имеет что-то против меня, это очевидно: он окружил меня целым сонмом сыщиков, которые так нахальны, что следят открыто. На моих послеобеденных прогулках наблюдательный прохожий мог бы видеть курьезную картину. Иду я, за мной сыщик; мне надоедает мой хвост. Я делаюсь тогда хвостом сыщика. Я

останавливаюсь и жду, когда он пройдет мимо, и тогда не отстаю от него ни на шаг; он идет — и я за ним, он остановится — и я останавливаюсь возле него. Это продолжается до тех пор, пока я не загоню его в какой-либо дом или гостиницу низшего разряда, где он пропадет, как в воду канет. Так кануло уже несколько, и теперь я не вижу ни одного. Или умнее они стали, или вовсе их нет. Я стал куцым…» (8 октября 1899 года).

Радость, что сыщиков больше нет, была преждевременной — они продолжали ходить за моим отцом до весны 1900 года. «Дело» отца ушло в Петербург на решение департамента полиции, и отец нервничает, потому что если приговор будет неблагоприятный, ему грозит военная служба и потеря высшего образования. Встречи (на Рождество, на Пасху) со своей возлюбленной, непрестанная с ней переписка — были единственным мощным противовесом его унылому и убогому существованию, волнению и беспокойству. Работа по выходе из тюрьмы, в Управлении Рязанско — Уральской железной дороги, не могла ничем ему помочь, и неудивительно, что он постоянно впадал в тоску и мрачность.

Он пытается отвлечься от своих мрачных мыслей — часто ходит в театр, в оперу, играет по вечерам в карты; пытается шутить над самим собой: в письме от 19 февраля 1900 года он пишет: «В пятницу играл в карты на деньги и выиграл 69 коп. Я говорил тебе, что теперь всегда буду выигрывать! Ну и компания же у меня была, с которой я играл! Поп, секретарь преосвященного и ректор епархиального училища. Вот, я думаю, не ожидала? Ну что может быть легальнее этого?! Как не пустить после этого в университет?»

Иногда, чтобы уйти от угнетенного состояния, он обращается к природе. Вот одно из таких писем:

«В воскресенье вечером я, как и писал, отправился на охоту. Взвалил ружье на плечо и айда на вокзал. Там нашел товарища, и с ним уселись в поезд. Болтая о том и о сем, доехали до Курдюма, расположились на полу спать, постлав одно пальто, а другое подложив под голову, и хоть неудобно было страшно, но я был доволен такой простотой. На заре, самой ранней заре, было еще темно, мы вскочили и отправились пешком, верст за десять, охотиться. Грязь страшная, темно и дождик — но радостно и весело на душе. Туман был до того силен, что казалось, будто сверху тебя накрыли каким-то узким и длинным колпаком, из-под которого, как ни старайся, ни за что не выйдешь. Через час мы дошли до горы, на верху которой еще издали виднелись поросли кустарника. По скользкой грязи долго взбирались на гору и устали до того, что едва взобрались в гору, как тут же уселись на

землю под кустиком, не разбирая, где сухо, где сыро. Закурили папиросы и принялись восхищаться. Внизу, белыми клубами, из лощины в поле, двигался как живой туман, словно огромные хлопья снега; вдали речушка ныряла по кустам и тростникам; вверху серое — серое небо, из которого моросит дождик; рядом совершенно голые кусты деревьев, усеянные вместо листьев огромными каплями росы, которые я с наслаждением собирал языком в рот; тишина мертвая, ни одного дуновения ветра, сырой свежий воздух и сладость отдыха — все это привело меня в самое лучшее настроение. Отдохнув минут 15, мы двинулись дальше, сквозь кустарники: один — в одном направлении, другой — в другом. Не знаю, как мой товарищ, но я совсем не искал дичи: я шел нарочно в самую чащу кустарника, задевал за сучья, с которых на меня осыпались тысячи капелек росы, и всем своим существом наслаждался: тихо, беззаботно, непринужденно было на душе… Так, пробираясь кустами и время от времени стреляя, мы добрались до деревни. Чай, молоко, усталость, деревенский хлеб… Хорошо! Затем снова лес и выстрелы, затем Кузьма Демьянки (деревенский праздник), ужин из ворованных куриц и петухов, песни, пляс, семечки, конфеты, которыми зубы изломаешь, споры с деревенским учителем, учительницей, фельдшером; хождение по колена в грязи по деревенским улицам, проводы рекрутов… Все это до известной степени интересно, а главное, непринужденно весело!..»

В другой раз отец рассказывает, как плавал на лодке между островами на Волге. Но такие письма очень редки — видно, чаше ему было не до природы.

Наконец, в феврале 1900 года из Петербурга (но не от Юлики) пришло неофициальное известие, что приговор состоялся и что он хороший, позволяющий вернуться в университет. Отец сначала принял это известие за «утку» и поостерегся ехать сразу, не имея на руках приговора и не имея паспорта ехать в Москву, тем более что и в Москве этот приговор еще не был получен. В каком он пребывал волнении и смятении, ожидая решения своей судьбы, хорошо показывает одно из последних писем, посланных моей матери в Петербург (19 февраля 1900 года):

«Милая Юлика! Мне далеко не так уж скверно, как ты рисуешь себе. Я только сообщил тебе, что в данное время мне как-то пусто живется. Живется так потому, что я не вижу тебя и не могу жить так, как жил с тобой на Рождество, а отвыкнуть не могу, а еще потому, что жду, что меня вот — вот обрадуют или опечалят приговором. Ведь как- никак, а я подсудимый, а каждый подсудимый, будь он трижды уверен в своей правоте, поневоле будет волноваться и ждать приговора. Я же жду его с особым

нетерпением и волнением; ведь от него зависит, буду ли я человеком образованным и счастливым от твоего присутствия, или же мне придется быть солдатом. Затем, Юлика, скоро два года, как я ничего не делаю, и эти два года прошли далеко не так бесплодно. Я чувствую, что изменился, и изменился не в хорошую сторону. Все это вместе должно же испортить наконец мое самочувствие. Теперь я один в Саратове, никого нет, и это тоже не может доставить мне большого удовольствия. Я, Юлика, хожу в гости, в театр, играю в карты, работаю, читаю, одним словом, время у меня занято, но не могу я сказать, что и мысль у меня занята. Я делаю одно, а думаю о другом, и эти думы невеселы… Ведь только в момент особенно скверного настроения я сказал, что мне все равно, буду я или не буду в университете, а на самом деле я рвусь туда всей душой, да и не может быть иначе…»

Только 12 марта 1900 года закончилось, наконец, первое соприкосновение моего отца с полицией: в этот день он написал в Петербург радостное письмо:

«Милая Юлика! Я получил приговор. «Дознание по обвинению Чегодаева в государственном преступлении дальнейшим производством прекращено». Я теперь свободен как ветер! С завтрашнего же дня буду хлопотать о паспорте и отпуске или увольнении из Управления [Рязанско — Уральской железной дороги] и, как только получу то и другое, выеду в Москву для хлопот об Университете. Может быть, для этих хлопот мне придется быть в Питере, и мы встретимся раньше. Ехать в Саратов тебе нет смысла. Я ***наверное*** буду в Питере! О дне выезда в Москву уведомлю телеграммой. Скоро напишу еще. Целую сто раз. Митя».

С университетом вышло все не совсем ладно: университетское начальство вздумало было оставить вернувшихся студентов на второй год на втором курсе; студенты, конечно, воспротивились этому — ведь, кроме потери времени, мало у кого из них хватило бы средств оплачивать вторично целый год учения! Отец сдал экзамены за второй курс, стал ходить на лекции третьего курса, так и не зная, как решится дело, но в конце концов здравый смысл победил, и у отца хватило денег на нормальное окончание университета. Моя мать, как я уже рассказывал, оставила лестгафтовские курсы весной 1900 года и вернулась в Саратов, так что теперь отцовские письма шли из Москвы в Саратов. Они, в целом, очень радостные и воодушевленные, часто очень интересные, но нередко и невеселые, так как политическая обстановка в университете стала нелегкой…

«Милая Юлика! Когда обещаешь скоро написать, никогда не

напишешь. Последние дни я провел очень не дурно. Повеселей дело пошло, и события стали отраднее. Как жаль, что приходится писать только общие фразы! В университет я не хожу — уж больно мерзко себя чувствуешь в нем. Недавно раз был в химической лаборатории, увидел там колбы и реторты, и так меня потянуло к занятиям, так захотелось поработать, что я готов был сейчас же приняться за работу. Когда же не бываешь в университете, то ничего этого не чувствуешь, и наоборот, чувствуешь какую-то злобу на эти казармы, переполненные сыщиками и прочей мразью, и ходить в эти предательские стены, именуемые «aima mater», нет никакой нравственной возможности. Еще до сих пор не выяснился вопрос, будут ли на 3–м курсе у нас экзамены, и если, чего я страшно жду, их не будет, то я очень скоро уеду к себе в Саратов… Я, право, не понимаю, почему тебе так трудно дается химия, и очень жалею, что не могу помочь тебе. У тебя есть такой хороший учебник, почитай его — он много поможет. Напиши, как ты живешь и что делаешь: тебе это можно, а я хочу знать… Признаться сказать, мне надоела Москва: уж слишком много болезненного разочарования она дала за все время — я мечтаю о разливе Волги, о весне, о тебе, сидящей со мною в лодке и т. д., и т. д. Надеюсь, что мечты мои сбудутся, а потому я чувствую, мечтая, очень хорошо». (18 февраля 1901.)

Не всегда настроения и письма отца столь тревожны. Вот два письма о поездке из Москвы с Н. И. Малининым в Рязанскую губернию, в имение матери Николая Ивановича.

28 сентября 1900 года: «Я сейчас сижу в постоялом дворе на ст. Сергиево, проехав до нее 20 верст на лошадях в темноте. Провожаю с Николаем Малининым Андрея в Москву. Я с ним был у Николая в Волыни. Сейчас сидим и пьем чай. Я остаюсь у Николая еще до воскресенья и в воскресенье буду в Москве. Андрею же необходимо ехать в Москву. Все время — два дня уже — мы проводили время в том, что охотились на вальдшнепов и играли на бильярде, — да, на бильярде. У них в имении старинный дом — барский, и в нем есть такие редкости для деревни, как бильярд и диванная комната. Время бежит в деревне страшно быстро и весело. Я хотел уехать сегодня же, но Николай так просил меня остаться, что я остался. Хотя страшно хотелось бы сейчас в Москву, чтобы прочесть твои письма, которые, наверное, есть.

Я в последнем письме пообещал тебе рассказать про геологическую экскурсию и про поездку Андрея за границу, но теперь я этого сделать не могу, потому что времени осталось для этого слишком мало и я снова откладываю до следующего. Не сердись, Юлика. Не сердись и на то, что я сейчас без тебя

пользуюсь удовольствием в деревне и заехал так далеко от тебя, что не могу даже с удобством переписываться. Сейчас поедем назад со станции. На дворе ночь, а мы не особенно хорошо знаем дорогу, но уверены, конечно, в себе, а больше в лошадей, которые и без нас доехали бы. Вся эта поездка была прямо-таки необходима, потому что я не знаю, когда увижу снова Николая, может быть, и лет пять не увижу. Может быть, это даже будет последнее свидание; вот поэтому-то я и бросил Университет и Москву и наслаждаюсь лицезрением товарища и природы. Ну, целую крепко. Митя».

9 октября 1900 года: «Милая Юлика! Вчера вечером я, наконец, вернулся восвояси. С одной стороны, мне хотелось ехать домой, чтобы прочесть твои письма и написать тебе; и заниматься, и узнать, на каком я курсе, тоже хотелось, а с другой — я не мог не остаться, когда мне говорят, что, может быть, уже долго еще не увидимся. Я остался. Но так как мне хотелось ехать в Москву хоть на одну минутку, чтобы забрать все то, что меня интересует, то я и не особенно хорошо себя чувствовал. Я завидовал Андрюшке, когда он уезжал, завидовал и когда писал тебе письмо со станции, а потому оно и вышло таким, как будто я в нем извиняюсь перед тобой. Да я и в самом деле чувствовал себя виноватым.

Мне все-таки было приятно пожить на свежем воздухе, в деревне со всеми ее прелестями и особенностями. А так как я жил без тебя в то время, когда ты живешь в душной обстановке, а мыслью живешь со мной в Москве, где меня в это время не было, то понятно, что я чувствовал, что я уехал от тебя еще дальше и ты не знаешь, куда. Написать письмо перед отъездом я не успел — собрались мы экспромтом, — а когда приехали в Рязань, то не сообразил написать хоть открытку. Когда же я написал письмо, то уверяю тебя, мне легче стало. В деревне я охотился — ничего путевого не убил, играл на бильярде и увлекся до того, что меня и в Москве тянет поиграть, ездил на лошадях по окрестностям, на водяную мельницу, на конный завод, на молотилку хлеба, в леса, где было мало дичи. Видел деревню во всей ее теперешней прелести, т. е. в всевозможных фазах разложения, начиная от 11–летнего мальчишки, пьющего стаканами водку, до провалившихся от сифилиса носов у взрослых мужчин и баб; начиная от потери почти всего хозяйства одним мужиком до каменных хором другого — и все это венчается полуразрушенным хозяйством помещика с управляющим, бывшим учителем, не смыслящим в хозяйстве, с подчиненными ему служащими — людьми, сидевшими по нескольку лет в остроге. Вот картина, которая стоит другой картины и составляет ее фон.

А эта другая картина, которую так мастерски описывал Пушкин, жива до сих пор. Та же осень, те же желтые листья на деревьях и под ними, тот же свежий и звучный как сталь воздух, тот же крик журавлей и гусей, улетающих от нас, все то же и то же — от этой картины век не оторвался бы. Идешь по лесу. Все желто и красно, желто и только кое- где зелень; под ногами шумят засохшие и упавшие сплошным ковром листья; дышишь полной грудью и не надышишься. Вдруг Николаева собака делает стойку, из-под его ног вылетает вальдшнеп и с треском и фырканьем летит на меня, лавируя в страшной быстротой между сучьями. Я стреляю, конечно, мимо, и только эхо выстрела гулко разносится по лесу. Промазал! Идем дальше. Находишься незаметно до того, что еле до дому доберешься. Дома чай покажется таким вкусным, что не можешь оторваться от него. После чаю на бильярде с Николаем, Андреем и Ольгой Александровной режешься — опять время бежит незаметно и так целую неделю.

Проводили мы Андрея и поехали назад. Ехать пришлось верст 20. Темь страшная, грязь, вода, лошади скользят, того и гляди вылетишь из тарантаса. Особенно скверно было ехать версты две по лесу. Дорога или ямы, полные грязи и воды, или огромные корни деревьев. Едешь как будто по волнам. Николай прозяб страшно, я же был в теплом пальто, и мне было хорошо. Ехали мы тихо и любовались огромным заревом пожара. Теперь все мое пребывание в деревне кажется мне каким-то сном. Приехал я в Москву. Пошел в университет. Там, оказывается, освободился стол в химической лаборатории и начались практические работы по сравнительной анатомии, и за то, и за другое я принялся с большим удовольствием и очень рад, что начинается настоящая работа. Вот и сейчас я в лаборатории и пишу письмо. Ответ от министра еще не пришел. Все ожидают утешительного ответа. Хотя тот факт, что министр уволил из университета в Киеве 84 человека медиков за то, что у них благодаря беспорядкам не было нужных зачетов, немного говорит что-то совсем другое. Ну, да черт с ними, на втором, так на втором, больше времени будет. Да, приехал я в Москву и спрашиваю Николая «своего» [т. е. младшего брата моего отца, который жил тогда вместе с ним в Москве]: есть письма? «Одно, да и то провалилось». Что? Упало со стола и провалилось в щель под пол. Черт знает что такое. Так ждал его, а оно провалилось! Я хочу взломать пол, чтобы достать его. Будем добывать золото из недр полов».

Вот еще одно очень занятное и очень длинное письмо, 20 октября 1901 года, которое целиком даже не может и вместиться в эти воспоминания:

«Милая Юлика! Итак, мы переезжаем 23–го числа на новую квартиру. Адрес: Большая Молчановка, д. княгини Гагариной, кв. Рукиной (кажется, № 4 — сообщу). Эта новая квартира вдвое больше прежней, во втором этаже, светлая, высокая, два окна с занавесками, шкаф, комод, зеркало, закрытая этажерка для книг, две кровати: одна с пружинным матрацем, другая с мочалочным, поверх их положены еще по тюфяку волосяному, два стола, один большой устойчивый, другой ломберный, 4 стула и два кресла. Прочие удобства в другом месте. В комнату выходит печь. Пол паркетный. Цена 22 руб. Весьма недорого, потому что мы смотрели подобные же комнаты в других местах и везде с нас просили даже за более меньшие 30–40 р. Хозяйка говорит, что еще ни разу не топила. Если это так, то при морозе 7–8 градусов ночью, 0 градусов днем на дворе — в квартире сейчас тепло. Сама хозяйка довольно дородная женщина, красива, но глуховата на оба уха, так что если придется объясняться с ней в любви, то положение будет не из завидных…

В четверг было чествование Тимирязева, который остался профессором Московского университета. Торжество происходило в физической аудитории, которая рассчитана на 1000 мест. Студентов набралось далеко более 1500, студенты стояли и на скамейках, и на окнах, и в коридоре. Началось с того, что Тимирязев, войдя, заявил: «Я пришел читать лекцию 3–му курсу по физиологии растений, но… (пауза) я вижу, что здесь придется говорить о более важном предмете». Началось чтение адресов от студентов разных курсов — естеств., медиков, математиков, юристов. Многие адреса были с выражением радости, что уважаемый и ценимый профессор остается, но многие говорили о произволе, о бесправии, о насилии, о свободе и т. д. и т. д. Тимирязев не раз принимался благодарить со слезами на глазах, но ему не давали громы аплодисментов. Закончилось все это тем, что Тимирязев сказал коротенькую речь: «Я всю жизнь руководствовался тремя принципами: любовь, вера и надежда. Я люблю науку и вас. Я верю в прогресс в этой области. И я надеюсь, что мы достигнем много и поймем друг друга». После этого он ушел окончательно растроганный и неспособный читать какую бы то ни было лекцию. Студенты, некоторые, хотели воспользоваться таким многолюдным собранием и обратились было к собранию с предложением обсудить вопрос о товарищах, которые до сих пор еще не возвращены в Университет, но их ошикали. Затем ассистент Тимирязева поблагодарил еще раз от его имени студентов и просил их от его же имени разойтись. Студенты разошлись.

В этот же день я блистательно вел диспут с Анучиным (он дал

мне тему для сочинения) по вопросу о плане, размере и содержании моего сочинения. Анучин остался очень доволен — и похвалил меня. Затем он произвел мне форменный экзамен по моей навязанной мне специальности, т. е. географии физической, антропологии, этнографии и археологии. И тут я вышел с успехом из боя, получив зачет…»

Я не смог выяснить, почему моему отцу не разрешили окончить университет по химии, столь любезной его сердцу, а «навязали», как он выражается, совсем другую специальность, которой он никогда в своей жизни не занимался. Он действительно написал в свое время дипломную работу Анучину — о свайных постройках в Швейцарии, и у меня хранятся все подготовительные и черновые материалы этой работы. Но защищать эту работу ему пришлось не скоро — до этого произошли некоторые события, не связанные с наукой, отдалившие окончание университета довольно надолго.

В письмах 1900–1901 годов об этом нет ни звука, но по некоторым косвенным признакам можно судить, что занимало мысли моего отца за пределами лекций замечательных ученых, которых ему довелось слушать, — Тимирязева, Мензбира, Анучина, Столетова, Умова и других и за пределами лабораторий по анатомии или химии, которыми он так увлекался.

В одном письме этого времени (13 сентября 1900 г.) он говорит о своей собаке — огромном доге. «Погода, как бы в насмешку, стоит прямо-таки летняя, жарко и пыльно, и я, как досадно, Юлика, был в Петровском — Разумовском. Черт знает что такое! Досадно за тебя. Сегодня еще был и в Петровском парке, но уже не для гуляния — я отвез в лечебницу своего Нерона — у него в ногах ревматизм, и бедная собака совсем стала плоха. Теперь он, должно быть, сидит в клетке и воет. Завтра пойду его навещать — будет ужасно рад». Но этот Нерон вовсе не был смирным и безобидным существом — он играл довольно внушительную роль в жизни моего отца. Уже много позже рассказал он, как однажды в квартиру, где он снимал комнату со своим братом, нагрянула полиция. Он сумел на несколько минут задержать жандармов в прихожей с помощью своей визитной карточки, в которой было сказано, что он — князь, и за эти минуты его брат быстро собрал все подозрительное, что могло бы заинтересовать полицию — бумаги, нелегальные газеты, книги — и положил все это на пол посреди комнаты, а сверху положил Нерона. Жандармы тщательно обыскали комнату — и ничего не нашли. Они старались держаться как можно дальше от середины комнаты, так как при каждом недостаточно осторожном шаге слышали глухое, весьма выразительное рычание. Предпочли с

этим громадным псом ближе не знакомиться.

Отец, как и многие его товарищи, продолжал заниматься революционной деятельностью, и она в конце концов привела к тому взволнованному и беспорядочному декабрьскому письму 1901 года, которое я уже приводил на этих страницах. Отец был вторично арестован и вторично исключен из университета, и снова очутился в Саратове — сначала в качестве обитателя тюрьмы на Московской улице, потом на свободе, но вне университета. Ему пришлось снова хлопотать о восстановлении в Московском университете, и он смог его окончить только в 1904 году. Я уже рассказал, что в 1902 году он женился на своей Юлике, у него родился сын Михаил — прелестный и недолговечный. За вынужденный перерыв он, видимо, очень основательно подготовился ко всем необходимым экзаменам, и когда было получено разрешение вернуться в университет, чтобы его закончить, то пребывание в 1904 году в Москве оказалось недолгим: писем этого года из Москвы в Саратов очень немного. В этих девяти письмах, написанных в апреле и мае, отец рассказывает о своей подготовке к экзаменам и об их сдаче, волнуется, что у него нет некоторых официальных документов, без которых ему не дадут университетского диплома (особенно «свидетельства о благонадежности»!), утешает свою молодую жену, которую «допекает» свекровь — моя бабушка Маргарита Яковлевна и внушает своей Юлике, что главное — это ее Мишка!

Вот, к примеру, фрагмент из письма, написанного 28 апреля 1904 года: «Милая Юлика! Итак, один экзамен с плеч долой. Я вполне был уверен, что будет экзамен только по одной органической химии, а оказалось, что и по неорганической. Правда, по неорганической было всего несколько (16–20) билетов, в которых было взято все главное, но экзамен по неорганической химии был для меня совсем неожиданным, и я, признаться, узнав уже на экзамене, что придется тянуть два билета, струхнул. Но потом, пока дошла до меня очередь, я успел бегло прочитать все законы и периодическую систему элементов. По неорганической химии мне, конечно, достался такой билет, который я хуже всего знал. Т. е., вернее, я его вовсе не знал, потому что об этом у Реформатского нет ничего или очень мало — одни формулы. Эти формулы я написал, а говорил уже о другом. Случайно я попал на один из «интересных» (не для меня, конечно) вопросов, который я знал, и благодаря этому билет был забыт и пошли общие вопросы. По органической (достались голлоиды) я ответил с треском, а то, что я когда-то сдавал еще и необязательный количественный анализ, повело в конце концов к двум пятеркам. Теперь по химии за все 4 года у меня круглое «весьма». Сдавши

экзамен, я тут же написал тебе открытку и от радости я наставил, кажется, несколько восклицательных знаков. Но, Юляша, мне так было приятно поделиться с тобой и Мишкой своей радостью. Это радостное настроение у меня было и во весь остальной день, и я отдыхал, ровно ничего не делая. Лег спать в час ночи и не мог заснуть до утра. Уже когда совсем рассвело и пастух проиграл на свирели свою песнь (ту, что есть в «Евгении Онегине»), я заснул счастливый и довольный.

Я тебе не говорил еще, что с весной по нашей улице (она почти у храма Христа) каждый день утром ходит пастух и своей свирелью созывает стадо. Он всегда будит меня, и я не сержусь на него. Несмотря на то, что это случается каждый день, мне всегда бывает так приятно услышать снова и снова эту песнь весны, лугов и полей, что я жалею, если как-нибудь просплю своего пастуха.

Сейчас сижу за ботаникой. Нужно в 5 дней подготовки выучить совсем для меня вновь 80 стр. систематики, повторить еще раз физиологию растений и подучиться определять растения. Все же я надеюсь сделать хоть как-нибудь и что-нибудь. Экзамен будет 3 мая…»

Пастух со свирелью рано утром на Остоженке — как это хорошо!

Все письма 1904 года полны Мишкой. Отец посылает ему поцелуи и даже наставления (Мишке только год!), справляется о его здоровье, восхищается им, вздыхает, что скучает о нем. Нужно помнить, что через какие-то три или четыре месяца (я точно не знаю) Мишка заболел дизентерией и спасти его не удалось.

Отец получил роскошный диплом, набранный и отпечатанный в университетской типографии. Я воспроизведу его целиком:

«Диплом. Предъявитель сего, князь Дмитрий Николаевич Чегодаев, вероисповедания православного, сын титулярного советника по *удовлетворительном* выдержании в Московском Университете, в 1897 и 1900 годах, полу курсового испытания и по зачете определенного Уставом числа полугодий на Физико — математическом факультете означенного Университета, по отделению естественных наук, подвергался испытанию в Физико — математической Испытательной Комиссии при Императорском Московском Университете, в Апреле и в Мае месяцах 1904 года, при чем оказал следующие успехи: 1) по сочинению *весьма удовлетворительно*; 2) по письменному ответу: по географии *весьма удовлетворительно,* 3) по устным ответам: по химии *весьма удовлетворительно*, по химии органической *весьма удовлетворительно,* по зоологии с сравнительной анатомией

весьма удовлетворительно, по физиологии *весьма удовлетворительно,* по морфологии и систематике растений *удовлетворительно,* по гистологии и физиологии растений *весьма удовлетворительно* по минералогии *удовлетворительно,* по геологии с палеонтологиею *удовлетворительно,* по физической географии и метеорологии *весьма удовлетворительно,* по географии *весьма удовлетворительнок.*

По сему и на основании ст. 81 Общего Устава Императорских Российских Университетов 12 Августа 1884 года, князь Чегодаев, в заседании Физико — математической Испытательной Комиссии, 28 Мая 1904 года, удостоен диплома ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ, со всеми правами и преимуществами, поименованными в ст. 92 Устава и в V п. высочайше утвержденного в 23 день Августа 1884 г. Мнения Государственного Совета. В удостоверение сего и дан сей диплом князю Чегодаеву, за надлежащею подписью и с приложением печати Управления Московского Учебного округа. Город Москва. Декабря 22 дня 1904 года.

Попечитель Московского Учебного Округа П. Некрасов. Председатель Физико — математической Испытательной Комиссии А. Сабанеев. Правитель канцелярии Е. Михайлов».

В Московском университете явно обратили внимание на выдающиеся способности моего отца и даже предприняли некоторые шаги к тому, чтобы направить дальнейший ход его жизни по пути научной карьеры. По окончании Университета он был включен в состав большой и важной научной экспедиции на наш Дальний Восток. Эта экспедиция должна была исследовать северную часть нашего тихоокеанского побережья, включая Камчатку. Вероятней всего, это устроил Д. Н. Анучин.

Но участие моего отца в этой экспедиции не состоялось по неизвестной мне причине. Полиция в данном случае была ни при чем. Да полиция была бы скорее заинтересована, чтобы мой отец уехал бы куда-нибудь подальше и надолго. Вполне вероятно, что помешали горестные домашние события — смерть сына Миши. Кроме того, моя мама ждала другого сына, родившегося в феврале 1905 года. Но я думаю, что решающую роль в отказе отца (и очень надолго) от научной работы сыграла отцовская партия. После неудачной русско — японской войны и в преддверии русской революции 1905 года политическая обстановка стала очень напряженной, революционная борьба против царского режима резко обострилась, Российская социал — демократическая рабочая партия раскололась, и отец стал участником более радикальной ее части — большевиков. И так как он стал, видимо, играть заметную роль в своей партии, то она нисколько не была склонна одобрить его отъезд в какую-то

научную экспедицию. Действительно, в 1905 году отец был уже членом Саратовского комитета большевиков и ему были поручены важные дела.

Отец, вероятно, это предвидел задолго: еще до своих весенних экзаменов 1904 года он стал хлопотать о получении постоянной службы в Саратовском земстве — в скромной роли страхового агента. И он стал им в 1904 году. Для отцовской партии эта его работа была чрезвычайно удобной и полезной: ведь большую часть работы страхового агента составляли постоянные скитания по всему Поволжью — от устья Волги до притоков Камы — отец забирался в далекую глушь и мог широко вести политическую работу среди крестьян. В 1907 году, например, он был избран делегатом состоявшегося в этом году Крестьянского съезда, был арестован со всем составом этого съезда и в третий раз сидел в тюрьме.

Отец понимал свою партийную работу не как слова, а как ***дела.*** Он рассказывал не раз о ярком эпизоде подобного рода. Вскоре после революции 1905 года стало известно, что саратовские черносотенцы готовят еврейский погром. Саратовские революционеры собрались, чтобы решить, что делать. Но вместо решения получился только скандал: представители разных партий и фракций сцепились друг с другом и разошлись, ничего не решив. А отец, никого не спрашивая, вывел на улицу вооруженный отряд рабочих и студентов; черносотенцы бежали, и еврейский погром не состоялся.

Отцу была препоручена подпольная типография и вся работа по пропаганде — печатание листовок, прокламаций, нелегальной газеты. Он рассказывал, как однажды вез из Москвы в Саратов шрифт для своей типографии. Какой-то шпик сумел разузнать, что в поезде кто-то везет типографский шрифт, и жандармы стали обходить вагоны. Когда они подошли к отцу, он дал им свою визитную карточку и негодующе спросил, как они смеют к нему обращаться. Жандармы прочли визитную карточку, отдали честь и пошли дальше.

Такая же история повторилась, когда саратовская полиция все-таки напала на след подпольной типографии. Но отец задержал их у входа в его квартиру с помощью той же визитной карточки, а пока он с ними изъяснялся, его товарищи успели выгрузить типографию, целиком, через черный ход. Княжеский титул действовал на полицию ошеломляющим образом. В партии это знали — партийная кличка отца была «Князь».

О событиях и делах своих ранних революционных лет отец нам, ребятам, конечно, не рассказывал — все его рассказы относятся к послеоктябрьскому времени. Но о своих странствиях

и приключениях в роли страхового агента он рассказывал много и с увлечением. Так, он рассказал, как шел без дороги по глухому лесу где-то в Пошехонце и в просвет между деревьями увидел отдаленный холм, на котором происходил танец журавлей. Образовав кружок, они подпрыгивали, приседали, церемонно кланялись, махали крыльями. Он рассказывал об этом удивительном зрелище подробно — я жалею, что эти подробности ушли из моей памяти.

В 1912 году отец отошел на несколько лет от политической работы, вплоть до Февральской революции 1917 года. Как и почему так получилось — не знаю. Все эти годы он был занят страховым делом в самом большом страховом обществе «Россия», а потом, уже на моей памяти, в качестве окружного инспектора Российского транспортного и страхового общества (не знаю, почему оно так странно называлось). В его ведении оставалось все то же Поволжье, ему пришлось обзавестись целой группой помощников и сотрудников (о чем я уже рассказывал). Он сам постоянно ездил по делам по всем своим «владениям», и мы видели его не слишком много.

Когда произошла Февральская революция, в Саратове, как и везде, сложилось двоевластие — уполномоченные Временного правительства и Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Этот Совет назначил моего отца Has' чальником милиции — так тогда назвали народное ополчение, созванное для поддержания общественного порядка. Представители Временного правительства, видимо, хотели установить какой-то контакт с моим отцом: к нему явилась целая делегация во главе с главным руководителем местной власти Временного правительства, толстым важным человеком с большой бородой, по фамилии Топуридзе (я это видел собственными глазами), но контакта не получилось, как сказал отец, когда они ушли.

Летом 1918 года отец поехал в свою последнюю командировку по страховым делам, в Царицын и Астрахань, и взял меня с собой (мне было 13 лет). Мы отправились на белоснежном пароходе компании «Самолет», и я насладился в полную меру, любуясь Волгой, особенно в ее самом нижнем течении. В Царицыне мы прожили целый месяц, потом отплыли в Астрахань, но там нам сойти с парохода не удалось: в городе была паника, к нему приближались какие-то белогвардейские части, и мы тут же уплыли прочь вверх по Волге в Саратов. Осенью отец был арестован местными советскими властями за то, что был начальником милиции при Временном правительстве, он месяц просидел на барже, стоявшей на якоре посреди Волги, пока не разобрались, что он был назначен на этот пост Советом

депутатов. Тогда его выпустили, и он тотчас уехал в Москву, опасаясь дальнейших неприятностей и не ожидая доброго согласия с новыми властями.

В Москве он прожил один без нас, у Самселей, до февраля 1922 года. Он сразу же восстановил свое членство в партии большевиков, называвшейся теперь Российской коммунистической партией (большевиков), и стал работать в Высшем совете народного хозяйства в качестве члена коллегии пожарно — страхового отдела. В этой роли ему пришлось заниматься ликвидацией дореволюционных страховых обществ, в том числе и того, в котором сам работал, потом возглавлять всероссийский съезд пожарно — страховых работников (у меня сохранилась фотография всего состава этого съезда, где мой отец в своей каракулевой круглой татарской шапочке сидит в самом центре посреди бравых пожарных с торчащими в стороны острыми усами и пожилых бритых страховых деятелей в очках и фетровых шляпах). Через какое-то время отец перешел в том же ВСНХ в Главное управление по топливу и в роли начальника статистического отдела каждое утро должен был докладывать Ленину о состоянии запасов угля и нефти. По этим докладам часто передвигались фронты гражданской войны, чтобы занять какой-нибудь район, богатый углем или нефтью. От этого времени в бумагах отца сохранились деловые письма, подписанные Рыковым, Ломовым, Красиным; я знаю, что он работал в это время также с Берзиным, Смилгой, Ксандровым. Он стал популярным пропагандистом Бауманского райкома — сохранилось множество направленных ему путевок на разные заводы или институты, с предложением такого-то числа прочесть там-то доклад на какую-нибудь актуальную тему (например, о докладе Троцкого на очередном съезде партии).

Когда Ленин объявил новую экономическую политику, отец был назначен председателем правления вновь организованного огромного банка. Этот банк был организован по распоряжению Ленина как главный финансовый нерв объявленной им новой экономической политики. И моего отца, которого Ленин знал лично, он предложил Рыкову и Сокольникову назначить председателем этого нового банка, считая, что хоть он и не финансист, а ученый — химик, но у него «голова на месте». С А. И. Рыковым, умным и прелестным человеком, отец был дружен с давних саратовских времен первых лет нашего века, так что он, конечно, поддержал такое, казалось бы странное назначение. И, действительно, уже через год отец «ворочал» сотнями миллионов рублей. Во главе Московского учетного общества взаимного кредита он пробыл до середины 1926 года, но не сохранил ни

единой бумаги, относящейся к делам этого банка. Он был по всем своим желаниям ученый — химик (и стал им с 1930 года на всю остальную жизнь), никогда финансовыми делами не занимался, но тогда с этим не больно считались. Во всяком случае, как он сам рассказывал, уже через год он «ворочал» девятизначными числами рублей и с удовольствием рассказывал, как он делал годичный доклад перед обширной аудиторией и в зале вдруг начался какой-то глухой шум. Человек, ведший собрание, прервал отца на минуту, подошел и заглянул в кафедру и крикнул в зал: «У него нет никаких записей!» Отец помнил огромные суммы наизусть! У него была действительно необыкновенная память.

Но Ленин умер, Рыков был убран с поста председателя Совнаркома, и однажды осенью 1926 года отец, взяв утром в руки «Правду», с удивлением обнаружил официальное сообщение, предлагающее не считать действительными членские билеты механически выбывших из партии нижепоименованных лиц — среди которых оказалось и его имя. Отец пошел в райком выяснить, в чем дело, и, вернувшись, рассказал мне, что так как он был чуть ли не единственным членом партии в своем огромном банке и потому никакой собственной парторганизации в банке не было, он должен был платить членские взносы в райкоме, а на этот раз просрочил это сделать за два месяца, вот его в райкоме механически и исключили, а назад не берут.

Только теперь, после установления правды о нашей истории послеоктябрьских времен, стало ясно, что дело было много глубже просрочки уплаты членского взноса — исключение из партии председателя одного из главных опорных пунктов новой экономической политики знаменовало начало ликвидации этой новой экономической политики, во всем противоположной социализму, — начало контрреволюции Сталина.

Отец был очень удивлен, когда я сказал ему, что это исключение было не бедой, как он всегда считал, а его великим счастьем, потому что когда он ушел из банка, про него забыли, и его обошли сталинские репрессии. Он согласился с моими словами. В партийных кругах о нем совсем забыли, и то, что в 1926 году он воспринял как великое несчастье и глубокое оскорбление (он ведь был членом РСДРП, а потом большевиком с 1898 года!), обернулось великим благодеянием: ведь все, с кем он работал в двадцатые годы — Рыков, Томский, Красин, Ломов, Смилга, Берзин, Ксандров и другие, — все исчезли в 1937 или 1938 годах!

Отец из банка ушел и три года мыкался по случайным и чуждым ему работам (его ведь никуда не брали!), почти ничего не зарабатывая. Эти три с половиной года прошли в очень

унизительной обстановке, которая могла лишь еще более углубить его отвращение к складывающейся все определеннее и все стремительнее бюрократически — номенклатурной системе, не имевшей ничего общего с идеалами его молодости. В 1929 году его даже привлекли к суду (задним числом) за то, что его бывший заместитель уехал за границу, прихватив какую-то большую сумму денег, и хотя отец был решительно ни при чем, его присудили к году «принудительных работ» с конфискацией имущества. Судьи, видимо, вообразили, что у бывшего председателя правления банка должно быть обильное и роскошное имущество! Судебные исполнители были очень разочарованы, найдя более чем скромную обстановку, где единственным ценным предметом был мамин рояль. Когда за описанным добром приехали и рояль спустили по лестнице с пятого этажа, его внизу обо что-то ударили или уронили. Рояль издал громкий и глубокий стон, дошедший и до пятого этажа, — мама заплакала.

В 1930 году, освободившись от принудительных работ, отец целиком ушел в свою химию. Этот уход перенес отца в совершенно другую среду, подобно обвалу оборвав все прежние связи, дав возможность начать совсем новую жизнь — собственно, ту, к которой он стремился всей душой, будучи в университете.

Пока отец работал в ВСНХ и в банке, я мог видеться с ним совсем немного, обретая нужную близость разве лишь в поездках на юг. В 1924 году летом мы все отправились в Алупку, в 1925–м — в Евпаторию и снова в Алупку. Но у меня стало складываться впечатление, что у отца нет удовлетворенности своей огромной работой — служебной и партийной. Он никогда об этом не говорил, но был очень замкнут и невесел. А главное — стал часто пить, и именно в поездках это стало особенно заметно. Раз он меня просто перепугал: в Алупке, поздно вечером, он выпил вина больше, чем следовало, и заявил, что пойдет купаться в море. Отговоры ни к чему не привели, и, войдя в воду, он уплыл довольно далеко. Я, не умея плавать, беспомощно стоял на берегу в полном ужасе, пока не выручила мудрая природа: от холодной воды отец сразу протрезвел и благополучно выбрался на берег. Это вдруг раскрывшееся тяготение к хмелю говорило о явном стремлении забыться от изнурительной и видимо ничего не дающей уму и сердцу работы. В последующие десятилетия я таким отца никогда не видел.

Он нашел, наконец, подлинно творческую увлекательную работу. Он занялся созданием отсутствовавшей у нас отрасли химии — теоретической и практической химии искусственных органических соединений. Здесь был широчайший диапазон

свершений и небывалых открытий. Мои познания в химии были слишком скудны, чтобы я мог понимать и оценивать по достоинству все более усложнявшуюся и углублявшуюся новизну отцовских исследований, открытий и изобретений. Он пробовал показывать и объяснять мне все более замысловатые формулы органической химии. О важных результатах и значении работы моего отца я мог судить по орденам, которыми он награждался за свои научные достижения, кончая полученным им в конце пятидесятых годов орденом Ленина. Насколько я мог уразуметь, в последние годы своей ученой деятельности он работал над созданием веществ, из которых делаются оправы для атомных реакторов, — веществ, на которые не действует даже атомная энергия.

Во время войны он ненадолго уехал со своим институтом в Свердловск, где я совершенно неожиданно встретил его на улице, когда добрался до этого города в своем одиноком путешествии в Самарканд в конце 1941 года. Я прожил у него две недели до выяснения, куда мне следует ехать дальше. Но уже зимой 1941–1942 года он вернулся в Москву, о чем можно судить по его письмам к моей маме на Урал, писавшимся в 1942 году. Он жил один в холодном доме на Новосущевской улице, с великим трудом поддерживая его отопление и плохо питаясь. Ему было тогда уже 67 лет.

После войны он перебрался к своей дочери, моей младшей сестре, и жил у нее до конца своих дней. До своих восьмидесяти четырех лет он каждый день на двух автобусах ездил в свой институт, продолжая усиленно работать. Но когда ему в конце 1959 года, осенью исполнилось восемьдесят четыре года, однажды, выйдя из дому, чтобы ехать в институт, он около дома свалился в сугроб. Дворник вытащил его из сугроба, и отец отправился дальше.

Возвращаясь после работы, он снова упал около своего дома. Моя сестра вызвала врачей, и они наложили вето на его дальнейшие поездки. Некоторое время он продолжал быть связанным со своим институтом в качестве консультанта, но химия не такая наука, которой можно заниматься, безвыходно сидя дома. Ему пришлось прекратить свою работу, и он очень тосковал, ее лишившись.

Он умер в январе 1967 года, на девяносто втором году жизни, в полном владении своим умом и памятью. В ноябре 1966 года я привез к нему двух своих внуков (Мише было три года, Мите — год), и у меня сохранилась фотография отца с обоими мальчиками, другая со мной — его последние фотографии.

Я не знал никого из сотрудников отца по его институту и не

мог никого из них пригласить на похороны. В крематорий в Донском монастыре пришли только мои тогдашние друзья — Александр Абрамович Аникст и Лев Зиновьевич Копелев. Урна с его прахом захоронена на Востряковском кладбище.

Моя глубокая благодарность останется последним завершающим фактом в столь долгой биографии моего отца. Пишучи эти слова, я сижу на его кресле; в одном из шкафов в моей комнате — его книги по естествознанию, в другом — две папки с его фотографиями от студенческих лет до последних, 1966 года

Часть вторая. О самом себе

Дореволюционное детство

Детство в Саратове. Впечатления от природы. Круг чтения. Путешествие в Москву в 1915 году. Школа

Переходя к рассказу о самом себе, я хочу начать прежде всего с истории сложения моего душевного мира. Его с самого начала определили реальная природа и чтение книг — главным образом о той же природе. С прекрасной саратовской природой я встретился очень рано — и на дачах под Саратовом, где мы жили почти каждое лето, и в поездках по окрестностям Саратова, которые часто устраивались моими родителями, а читать я выучился в четыре года, и до своих четырнадцати лет, когда окончилось мое детство, я прочел несметное множество книг, перечитав почти всю отцовскую библиотеку и создав, с помощью моей мамы, большую собственную. Благодаря уединенному и сосредоточенному образу жизни я в эти годы почти не соприкасался с окружающей человеческой жизнью, школа почти никакой роли в моей жизни не сыграла (я ничем ей не обязан), — вероятно, потому мой душевный мир сложился рано и прочно — навсегда.

Природу я воспринимал и в ее целом, обобщенном облике, и во всех ее деталях — через много лет я прочитал удивительно верное определение природы, данное Пастернаком: «жизнь как тишина осенняя подробна». Я досконально изучил определитель растений (кажется, если не ошибаюсь, Маевского) и научился действительно определять цветы и травы, к которым относился с благоговением. Я научился любить всех животных, как тех, кого видел в зоологическом саду, так и тех, кого встречал на воле, в лесу или в поле. Моим любимым существом очень рано стала жаба — я уже умел находить под некрасивой внешностью драгоценные черты чудесного характера. И не случайно, когда летом 1941 года, будучи в ополчении, мне пришлось спасти попавшую в беду большую жабу, я твердо уверовал в то, что эта жаба меня спасет, что бы со мной ни случилось. И она в самом деле меня спасла от верной гибели! И еще позднее, в 60–х годах, когда И. Г. Эренбург в год юбилея великого скульптора Аристида Майоля предложил мне сделать о нем доклад на заседании общества «СССР — Франция» и я сделал такой доклад, превращенный потом в одну из самых любимых моих статей, мне было очень дорого, что мудрый скульптор, живя в Руссильоне на

самом дальнем юге Франции, каждый день ходил слушать вечернее пение жаб. Так же сквозь всю жизнь прошла любовь к певчим птицам, которых я очень рано научился узнавать не только по внешности, но и по их пению. Особенно любил соловьев, синиц и скворцов. Множество птиц жило у нас дома в последующей моей жизни.

Очень важным стал эпизод, когда как-то глубокой осенью в саду Музея изобразительных искусств имени Пушкина почему-то не улетела на зиму стая скворцов, и обеспокоенный опасностью ее гибели от мороза Володя Леонович, ученый секретарь музея и выдающийся орнитолог, сумел спасти всю стаю, заманив каждого скворца в ловушку на окне мансарды «Дома Верстовского», принадлежащего музею. Скворцы были розданы всем причастным к музею людям (чудесный музейный реставратор Степан Чураков взял нескольких), и один скворец достался мне. Он прожил у нас всю зиму, и весной моя дочь отвезла его в автомобиле за Внуково, в начавший зеленеть лиственный лес. Все такие эпизоды тесно связывают меня с моим детством, когда жизнь природы была глубоко понята мною и стала одной из основ моего душевного мира.

Впечатления от саратовской прекрасной природы слились в моей памяти нераздельно. Из тех случаев, которые я точно связал с определенным местом, могу помянуть такой. Мы поехали на Гусёлку (не знаю, было ли это название деревни или реки) на устланной свежим сеном телеге через густой и тенистый лиственный лес. Солнце лишь местами пробивалось сквозь листву. Я до сих пор отчетливо ощущаю блаженное чувство покоя и приволья, какое я испытывал, лежа на душистом сене. Этот эпизод запомнился и тем, что ехавшая с нами вместе с другой посудой и провизией красивая стеклянная сахарница в зеленых разводах, с металлической ручкой, на каком-то корне, вылезшем поперек лесной дороги, от внезапного толчка подпрыгнула и разбилась, у нее отвалилось дно и сахар просыпался в корзину. Таких приключений было много во время устраивавшихся моими родителями «вылазок» в первозданную природу. Смею думать, что так рано сложившаяся любовь к простой, обыкновенной и столь близкой сердцу реальной природе стала благодатной почвой для так ярко вспыхнувшей в тридцатые годы глубокой любви к великому английскому художнику Джону Констеблю, открывшему в начале XIX века красоту и значительность такой реальной, не идеализированной, не стилизованной природы. Когда я смог в 1959–1963 годах тщательно изучить его творчество в музеях Лондона, Эдинбурга, Вашингтона и Чикаго — смогла возникнуть вышедшая в свет в 1968 году моя книга о нем — одна

из двух главных моих книг (вторая — об Эдуарде Мане, 1985 года).

Особо надо вспомнить очень ранние впечатления от Волги, иные по своему размаху и величию. Ведь как-никак именно на ее берегу я явился на свет 25 февраля 1905 года! Я мог ощущать ее величественный простор, глядя на видный в бесконечной дали противоположный берег с Покровской слободой (превратившейся потом в столицу Республики немцев Поволжья город Энгельс). Но я и плавал по Волге с отцом и научился глубоко переживать красоту этой великой реки, что подготовило способность верно оценивать позднейшие, еще более величественные явления природы, как Атлантический океан или Скалистые горы в Соединенных Штатах Америки.

Любовь к природе подкреплялась основательным ее знанием. К своим шести годам я уже прочел трехтомную «Жизнь животных» Брема и «Жизнь растений» (двухтомную) Кернера фон Марилацна, бывшие в библиотеке моего отца, и заполнял целые тетради длинными списками латинских названий животных и растений — многие помню до сих пор! К моим десяти годам вышли в свет и появились у нас дома два тома прекрасной, переведенной Мензбиром «Жизни животных в фотографиях с натуры» Корниша и подаренный мне отцом ко дню рождения замечательный «Зоогеографический атлас» Мензбира, выполненный художником Ватагиным (с которым в двадцатые годы я познакомился) — эти книги стали моими любимыми, если не считать великолепной «Красоты форм в природе» Эрнста Геккеля, сотни раз мною перелистанной и перерисованной. Не могу не помянуть мое глубокое уважение к Фабру, автору удивительной книги «Жизнь насекомых». В читавшейся мною в самые ранние годы художественной литературе моим горячо любимым автором стал также писавший о природе чудесный канадский писатель Эрнест Томпсон Сетон (Рокуэлл Кент впоследствии меня поправил: надо говорить Ситон, а не Сетон!). Книги Сетона «Маленькие дикари», «Приключения Рольфа», многочисленные рассказы о животных, начиная с великолепной «Трущобной кошки», как я считаю, окончательно сформировали мой душевный мир, мое мировоззрение своей поэзией, своей безжалостной, доходящей до трагизма жизненной правдой, высокой моральной чистотой. Если не считать Пушкина, никакому писателю я не обязан такой воспитательной силой, и его могущественное влияние сохранилось сквозь всю мою долгую жизнь (последний раз я перечитал «Маленьких дикарей» и «Рольфа» в восемьдесят семь лет).

От книг по зоологии и ботанике я перешел к книгам по

географии — начиная с Ратцеля, выучил наизусть прелестный географический атлас, изданный в небольшом формате издательством «Просвещение» и к великому сожалению пропавший с подавляющим большинством моих книг в 1918 году. Из книг об отдельных странах меня особенно тронула книга Гюнтера «Цейлон», которую я не положил в свой ящик, пропавший в 1918 году, так же как и другие свои самые любимые книги Э. Т. Сетона, Мензбира и некоторые другие.

Но я до своих четырнадцати лет читал не только книги о природе и по географии. Я сумел прочесть, например, шесть больших томов книги знаменитого французского географа Элизе Реклю «Человек и земля» — первой книги об истории человечества, мною прочитанной и заложившей основу моих исторических познаний. В этой книге много поэтического произвола и пылкой фантазии, но нужно помнить, что Реклю был участником Парижской коммуны и одним из главных теоретиков анархизма — значит, я воспринял историю человечества с весьма вольномысленной, чуждой всякому консерватизму точки зрения. Потом, когда мне стало двенадцать лет, были прочтены книги Ключевского, Петрушевского («Восстание Уота Тайлера») и другие.

Художественную литературу я начал читать позже, чем книги о природе, вероятно, лет с восьми. Я тогда впервые пошел в школу, и она сразу исказила мое чтение. Русская классическая литература преподавалась там так нудно, примитивно и неинтересно, что это не возбуждало никакого желания знакомиться с нею поближе. И хотя в библиотеке отца были и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и Толстой, и Чехов — я их не раскрывал и впервые как следует прочел уже после революции, когда мне стало шестнадцать или даже девятнадцать лет. Видимо, в 1916–м или 1917 году отец подарил мне стихи Некрасова в двух томах, и для меня чтение этих стихов было большой неожиданностью, хотя близким этот поэт мне не стал. Больше всего поразила меня поэма «Кому на Руси жить хорошо» и стихотворения вроде «У бурмистра Власа бабушка Ненила» или «Вянет, пропадает красота моя». В общем, знание русской литературы пришло ко мне много позднее моих четырнадцати лет. А до тех пор я читал почти исключительно литературу Запада. В моей личной библиотеке были все сочинения Жюля Верна, собрание сочинений Джека Лондона, все переведенные к тому времени книги Герберта Уэллса (только его фантастика) — но все эти авторы были мне чужды, в круг ценимых или тем более любимых они не вошли — разве что лучший из фантастических романов Уэллса «Чудесное посещение». Зато подлинно

любимыми (и притом навсегда) стали Киплинг и Марк Твен. Киплинг пока еще только прозаик — его «Вот так сказки» и «Книга джунглей», Марк Твен — «Приключения Гекльберри Финна». Это была действительно великая литература, и я считаю, что для меня было честью, что еще в десять лет распознал это. Лишь много позже появился лучший перевод «Гекльберри Финна», сделанный Броудо, но даже и в менее совершенном переводе эта книга воздействовала с несокрушимой силой — я полностью согласен с Хемингуэем, сказавшим, что из этой книги Марка Твена вышла вся лучшая американская литература двадцатого века.

Важным событием моего детства стало путешествие в Москву в 1915 году, когда мне было десять лет.

Я уже рассказал, что в 1915 году отец нашел новую хорошую и просторную квартиру на Немецкой улице и мама занялась ее устройством. Чтобы мы с братом не мешали переезду в новую квартиру, нас отправили в Москву к старшей сестре отца Елизавете Николаевной Ольшевской. Она с мужем и детьми постоянно жила на даче на платформе Загорянской, следующей за Мытищами по Щелковской железнодорожной ветке. Теперь Загорянская стала окраиной Москвы, тогда она была от нее довольно далеко и представляла собой высокий сосновый лес, прорезанный продольными и поперечными просеками на равные квадраты с рассеянными по ним еще очень редкими дачами. На той просеке, где находилась дача Ольшевских, других дач не было. Просеки представляли собой две усыпанные песком дороги, примыкающие к лесу, а пространство между ними, посередине просеки, было занято густыми зарослями высокого цветущего кипрея (или «капорского чая»). При ветре казалось, что просеки залиты колеблющимся розовым морем.

Детей у Ольшевских было трое. Старший Стася (Станислав) был много старше нас, я думаю, ему было тогда лет шестнадцать или семнадцать. Впоследствии, в годы гражданской войны, он погиб на Северном Кавказе. Второй, тоже старше нас, была Руся (Мария) — милая славная девочка, относившаяся к нам дружески ласково. У меня есть ее фотография взрослой с маленьким сыном, но дальнейшую ее судьбу я не знаю. Младшим был Винька (Викентий), по возрасту приходившийся между мной и моим братом. Он был славный, веселый товарищ, был нашей постоянной компанией. Он очень скоро, еще мальчиком, умер от какой-то тяжелой болезни.

Но, конечно, главным в нашем пребывании у тети Лизы были частые поездки в Москву, запомнившиеся мне крепко на всю жизнь.

Первая поездка в Москву оказалась очень грустной и неприятной. Накануне в Москве произошел безобразный немецкий погром. Шла война с Германией, и местные власти, по — видимому, побоялись не допустить такое дикое хулиганство, посчитав его выражением благородного народного патриотизма. От Ярославского вокзала путь в город лежал по Мясницкой улице, на которой было много немецких магазинов, и она в день нашего первого приезда в Москву представляла страшное зрелище. Среди других магазинов я увидел разгромленный кондитерский магазин фирмы Эйнем, чей чудесный шоколад мама постоянно покупала нам в Саратове. Такая же печальная судьба постигла магазины Иммера и Мейера, двух фирм, торговавших цветочными и огородными семенами — я знал их по толстым щедро иллюстрированным каталогам, которые внимательно читал в Саратове. Страшно было смотреть на разбитые огромные стекла витрин, на выброшенные на улицу ящики и рассыпавшиеся по тротуару и мостовой семена. Сколько прекрасных цветов погибло не расцветши!

Но во вторую нашу поездку следы погрома были уже убраны. Не помню, в какой последовательности мы смотрели Москву. Вероятно, начали с Кремля — были в соборах, любовались на колокольню Ивана Великого, на Царь-пушку и Царь — колокол, ходили по колоннаде вокруг памятника Александру Второму. Были в храме Христа Спасителя. Были в зоопарке, похоже, не один раз. Были в этнографическом отделе Румянцевского музея, где меня поразила длинная вереница больших витрин, где были выставлены восковые фигуры представителей всех народов России в национальных одеждах и в окружении разных предметов труда и жизненного обихода. Когда в 1924 году Румянцевский музей был ликвидирован, эта замечательная коллекция была передана в ленинградский Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. Картинную галерею Румянцевского музея (как и Третьяковскую галерею) тетя Лиза нам не показала, видимо, побоялась стать плохим для нас гидом по мало знакомой ей мировой и русской живописи.

Зато мы были в Музее изящных искусств имени Александра III, который произвел на меня очень сильное впечатление. Музею тогда было только три года (он был открыт в 1912 году, к нему еще не привыкли, и в нем было очень мало посетителей). Меня глубоко поразили торжественные пустынные залы с редко расставленными слепками античных, средневековых и ренессансных скульптур — все они были увидены мною впервые в жизни, книг с их репродукциями у нас дома не было. В углах зала сидели и дремали старички — смотрители — они ровно так же

сидели и дремали через десяток лет, когда я часто бывал, а потом начал работать в этом музее (но тогда я знал этих стариков уже лично — Козлова, Арженухина и других). Я запомнил и первое впечатление от подлинников древнеегипетского искусства из коллекции Голенищева. Конечно, на первые впечатления от увиденных тогда произведений искусства наслоилось немало за пятьдесят лет моей близкой связи с музеем изобразительных искусств имени А. С.Пушкина, и я сейчас уже не могу определить, что поразило и понравилось мне в мои десять лет и к тому же впервые в жизни — мне, наверное, только кажется, что это были греческие классические скульптуры пятого и четвертого веков, творения Микеланджело, «Нимфы» Гужона, мелкая египетская пластика. А может быть, я инстинктивно уже отобрал тогда то, что будет великим сокровищем для меня взрослого.

Русское искусство я тогда в Москве не увидел, но о нем имел некоторое понятие по большому альбому репродукций с картин Третьяковской галереи, где мне особенно запомнились «Сидящий Демон» Врубеля и пасмурный речной пейзаж с лодками Левитана.

Я не мог в свои десять лет предвидеть то, что мировое изобразительное искусство станет в будущей моей жизни главным и основным предметом постоянного изучения и переживания. Но почва для окончательного формирования моей особы и моей профессии была основательно вспахана в те далекие времена, когда я впервые был в Музее изящных искусств имени Александра Третьего.

В школу я пошел в сентябре 1913 года, когда мне было восемь лет. Я поступил в «средний приготовительный класс» (второй по нынешнему исчислению) Коммерческого училища. Это было совсем новое учебное заведение, в специально построенном для него трехэтажном здании, сугубо буржуазное в самом новомодном духе, явно противопоставленное глубоко консервативным гимназии и реальному училищу, имевшимся в старом Саратове. Но так как в нем были еще только самые младшие классы, то ничего собственно коммерческого в нем не было. Учителя были очень разного уровня, а состав учеников самый интернациональный. Директор Соловьев был толстым и добродушным человеком, но он вскоре умер, и вместо него появился бородатый очень важный дядя в парадном мундире и с весьма полицейскими наклонностями. Инспектором был Грозевский (отец прекрасного московского художника) — высокий человек с бородкой и взбитой прической, строгий, но не такой злобный, как новый директор. Так как я попал во второй по счету класс и для остальных мальчишек был «новенький», то меня полагалось дразнить и обижать, что сразу сделало меня

замкнутым и нелюдимым.

Я проучился в этом училище пять лет, окончил третий (по нынешнему шестой) класс, и только к концу пребывания в училище у меня сложились товарищеские отношения с пятью мальчиками — это были Котя Грингоф (литовец), Сережа Андреев (русский), Павлик Мыстковский (поляк), Боря Селвари (грек) и Володя Леонтьев (русский). Но эта дружба была все же поверхностная, особенной душевной близости не было, к себе домой я своих товарищей не звал. Что касается учителей, то мне запомнились только трое из них. Первый — Александр Яковлевич Денисов, учитель алгебры, который умел так увлекательно преподавать свой достаточно сухой предмет, что стал всеобщим любимцем. Он был среднего роста, широкоплечий, с круглым бритым лицом, в очках, веселый и дружелюбный. Второй — учитель рисования Кузьмин (имени и отчества не помню) — профессиональный художник, не пользующийся никакими гипсовыми слепками, а заставляющий работать только с натуры, высокий смуглый человек с кудрявыми волосами, резкий и угловатый в обращении. Я как- то нарисовал пейзаж фруктового сада на хановских дачах на Трофимовском разъезде — круто подымающийся вверх склон горы, поросший деревьями. Я показал рисунок Кузьмину, Тот резко спросил: «Откуда срисовал?» Я ответил: «С натуры, я жил там летом». Он молча забрал рисунок себе — он собирал лучшие ребячьи рисунки. В другой раз я нарисовал акварелью поставленный им помятый медный кувшин — Кузьмин поставил мне за эту акварель две пятерки и тоже забрал себе. Так что свидетельств художественных способностей в мои двенадцать или тринадцать лет у меня не осталось.

Третий из учителей, о которых я сохранил благодарную память, был батюшка отец Исупов, толстый бородатый благодушный священник. Он преподавал Закон Божий, а ко мне относился с особенной благожелательностью, потому что я отвечал ему не по редкостно бездарному учебнику, а прямо по Библии, которую успел прочесть. Начиная с первого класса, во втором или третьем в моих квартальных табелях были только пятерки — ни одной четверки, и в третьем классе, когда классным наставником стал батюшка Исупов, произошел такой любопытный эпизод. В первой четверти меня спросил только что начавший свое преподавание учитель ботаники, а я почему-то не знал, что будет его урок, и не приготовился к какому-либо ответу, он поставил мне тройку и в этой четверти больше не спросил. Батюшка Исупов не поверил, что у меня может быть в четверти тройка, и оставил в табели пустое место. В остальных трех четвертях у меня, конечно, были сплошные пятерки по ботанике.

Я учился легко, без малейших затруднений — был так начитан, что далеко обогнал свою школу, и она в общем ничего для меня нового не дала.

Осенью 1918 года я бросил школу. Я пришел не на первый урок — кажется, был недолго болен, но когда пришел, то сразу убедился, что мне в школе делать нечего. О своих товарищах я смог узнать немногое: Котя Грингоф уехал с родителями в Литву, где его отец стал министром литовского правительства, Павлик Мыстковский уехал в Польшу. Боря Селаври будто бы умер (этот слух оказался ложным). Я ушел домой, и на этом мое учение в Коммерческом училище кончилось.

Так получилось, что среднего образования у меня нет. Есть два высших, да еще аспирантура в Академии Наук, а среднего образования нет. Это приводило в крайнее недоумение канцелярию Московского университета, где я потом учился на двух совершенно разных факультетах, но я ничем утешить их не мог.

А о некоторых из своих товарищей я кое-что узнал в последующей своей жизни. Так, в тридцатые годы ко мне явился Володя Леонтьев, который в школе резко выделялся несомненным художественным талантом — в третьем классе Кузьмин сразу поставил ему «5–5» вперед, за весь будущий год. А в тридцатые он оказался работающим в Большом театре в роли художника — исполнителя, увеличивающего до нужного размера эскизы, сделанные для театра именитыми мастерами — Федоровским, Вильямсом и другими. Но придя ко мне два или три раза, он исчез. Видимо, ему было неприятно показывать себя таким неудачником, ведь ему Вильямс казался божеством, парящим в неких вышних сферах, а для меня Вильямс был приятелем, подобно другим членам бывшей художественной группировки ОСТ, с которой я был связан близкой дружбой, — со Шгеренбергом, Купреяновым, Пименовым, Тышлером, Гончаровым. Другой эпизод оказался интереснее: в 1969 году я неожиданно получил письмо из Свердловска от Бориса Селаври, которого считал умершим. В этом письме он написал, что был в Саратове и на углу Немецкой и Никольской улиц неожиданно встретил Сережу (теперь, конечно, Сергея) Андреева, и когда они вместе ехали по Московской улице на трамвае, то против них сидел какой-то старичок, очень внимательно на них смотревший. Они смутились, а он вдруг сказал: «А я ведь вас знаю — это Борька Селаври, а это Сережка Андреев». Оказалось, что это батюшка Исупов, который узнал их через огромный срок, прошедший с тех пор, как он учил их Закону Божьему. Я был рад, что Исупов жив и остался невредимым в смутные времена

сталинских репрессий и войны. Меня поразила его необыкновенная память. Ведь со дня моего ухода из школы прошло больше пятидесяти лет.

В завершение повествования о моем детстве я хочу коротко сказать о двух вещах, имевших отношение не ко мне, а к старому Саратову, — о саратовских мальчишках и саратовских частушках.

Пристани на Волге и ее берега были густо «заселены» мальчишками. Из кого они вербовались — из лодырей, пропускавших уроки, или прямых беспризорников — не знаю. Я иногда наблюдал их по воскресеньям, не участвуя в их затеях и делах. Эти ребята жили рекой. Они приветствовали криками проходившие пароходы и добрыми напутствиями — отплывавшие. Они досконально знали ремесло речников; я думаю, что из них выходило немало хороших матросов, а может быть, и капитанов тех пароходов, что бороздили воды великой реки на всем ее долгом протяжении.

Они могли по звуку определять, какой пароход подходит: самого парохода еще не было видно, а они по его сигналам различали с полной точностью, идет ли белоснежный пароход компании «Самолет» или красный с черным пароход компании «Кавказ и Меркурий». Откуда, кстати, взялось такое нелепое название пароходной компании? Надо думать, две компании слились и пожелали все же сохранить их прежние самостоятельные названия. Пароходы компании «Самолет» считались, безусловно, лучшими, и мальчишки эту разницу отчетливо отмечали.

Хочу добавить еще одну деталь о саратовских пристанях. С этими пристанями на Волге связано не только воспоминание о реке, о пароходах, их разнородных гудках, но и еще с двумя занятными деталями, которые только тогда и могли быть — с камышинскими арбузами и саратовскими частушками.

Камышинские арбузы были гигантских размеров, ослепительно белые, с очень тонкой коркой, поэтому их бросать как обычные арбузы было нельзя. Их можно было только нести почтительно и перекладывать с величайшей осторожностью. Но под этой самой белоснежной корой была ослепительно красная мякоть, состоявшая из чистейшего сахара. Я никогда больше нигде таких арбузов не видел и даже не знаю, существует ли теперь нечто подобное.

Что касается саратовских частушек, я слышал их очень много, и дореволюционных, и послеоктябрьских. Такое фольклорное творчество хорошо отражает время. Но все- таки между двумя историческими этапами оказывалась в данном случае большая разница. Дореволюционные частушки были, в общем, довольно

бессмысленными, часто шутовскими и развлекательными. Вот, например, такая:

У попа-то, рукава-то —
Батюшки!
Ширина-то, долина-то —
Матушки!
Или еще более экстравагантная:
Шла машина из Тамбова —
Се — ре — жа.
Под горой котенок спит —
Ну так что жа?

Правда, в эту последнюю частушку, при всей ее нелепости, проник все же маленький клочок реально бывшей истории: ведь железная дорога к Саратову первоначально была начата не с Рязани, а с Тамбова, и это важное для всей этой части России событие успело увековечиться в частушке.

После революции характер частушек радикально изменился — они стали реально связаны со своим временем, хоть и не слишком для этого времени лестно. Вот, например, так:

Ленин Троцкому сказал:
Пойдем, Троцкий, на базар,
Купим лошадь карюю,
Накормим пролетарию!
Или еще хлеще:
Матрос молодой,
В спину раненный,
На базаре спекульнул
Рыбой жареной.

Я смягчил не совсем изящное звучание текста этой частушки. Но эти творения подлинно народного наблюдения и размышления не стеснялись в выражении результатов своих наблюдений действительности и размышлений по ее поводу.

Революционное отрочество

Жизнь в Саратове в первые годы революции (1918–1922). Работа А.Ч. в туберкулезном санатории

Февральскую революцию я, можно сказать, увидел воочию из окна своей комнаты. Услышав крики на улице, я подошел к окну и увидел, что по противоположной стороне Немецкой во всю прыть удирает городовой, придерживая руками свою шашку и полы шинели, а за ним несется кричащая и улюлюкающая толпа, его ловящая. Это зрелище стало как бы символическим обобщением смысла Февральской революции. Но, как я уже говорил, ни она, ни Октябрьская революция долго не вносили существенных перемен в повседневный обиход провинции, далекой от Москвы и Петрограда. Летом 1917–го и 1918 года мы жили на дачах на разъезде в семи верстах от Саратова; зиму 1917–1918 года я ходил в третий класс своего училища; летом 1918 года поехал с отцом в Царицын, и только когда мы доплыли до Астрахани и должны были из-за военных действий тотчас же вернуться в Саратов, я ощутил достаточно отчетливо, что произошли великие перемены во всей нашей жизни. Я удивил маму, вернувшись из Царицына с бровями — до тех пор они были почти незаметны, а тут вдруг сильно потемнели.

Но серьезные изменения в нашей жизни начались во второй половине 1918 года, о них я уже рассказал. Отец уехал в Москву, не найдя никакого контакта с новыми советскими властями Саратова; из квартиры на Немецкой улице пришлось уехать, из школы я ушел. Зиму 1918–1919 года я никуда не выходил из Костиного дома на Вознесенской улице и без конца читал все новые и новые книги. У Кости было тридцатитомное собрание сочинений Диккенса в издании «Просвещения», и я прочел почти все диккенсовские романы, начиная с превосходно (хоть и вольно) переведенных Иеринархом Введенским «Записок Пиквикского клуба». Этот роман — лучший роман Диккенса, с ним может соперничать только предпоследний его роман «Наш общий друг», но я оценил его по достоинству много позднее. Костя, вернувшись из армии, подарил мне это собрание сочинений Диккенса — оно навсегда осталось доброй памятью о нем. Что я читал еще в эту зиму, не могу вспомнить.

Резкое изменение всей моей жизни, положившее конец детству и сделавшее меня без всякого юношеского перехода взрослым и самостоятельным человеком, произошло первого мая

1918 года. В этот день меня взял на службу доктор Николай Яковлевич Трофимов, давний близкий друг нашей семьи, только что назначенный главным врачом Второй советской здравницы (туберкулезной), организованной Саратовским губздравотделом на Трофимовском разъезде, в семи километрах от города, на дачах, принадлежавших ранее богатому купцу Ханову, и на многих соседних. Я был зачислен сначала рассыльным, но через неделю переведен в конторщики. Мне была поручена медицинская канцелярия: я принимал и записывал прибывающих больных, спрашивал нужные сведения — о возрасте, профессии, месте работы, есть ли медицинский диагноз или еще нет, распределял по дачам, а в дальнейшем вписывал в книгу результаты медицинского анализа и другие сведения, по указаниям Николая Яковлевича. Я был очень горд, что пригодилось мое знание латинского языка, когда вписывал в книгу «каторрум апицис пульмонум» — конечно, латинскими буквами. Кроме того, в мои обязанности входило каждый день обходить несколько дач, чтобы спрашивать больных о их нуждах и просьбах. А дач было больше сорока и больных — человек пятьсот, так что работы у меня было много. Мне надо было отмечать перемещения больных и их отъезды из здравницы.

Я уже говорил, что той зимой мама работала конторщицей в губздравотделе — Николай Яковлевич взял ее оттуда к себе. Мы поселились на даче с Николаем Яковлевичем, его женой и детьми.

Здравница находилась верстах в двух от железной дороги, но совсем близко от нее проходила ветка трамвайной линии, проложенной верст на двадцать до Кумысной поляны. Большую часть территории здравницы занимал огромный фруктовый сад со старыми яблонями и грушами и множеством вишневых деревьев. По краю этого сада, до дальнего леса и на опушке этого леса, были расположены лучшие, хановские дачи, другие были дальше, на безлесном холме. Фруктовый сад находился в ложбине под довольно высокой горой, в самом низком месте сада был искусственный, залитый цементом пруд с купальней.

В здравнице был порядочный персонал — врачи (около десяти человек), бактериолог, медицинские сестры, няньки (их звали «хожатками»), санитары, завхоз и его помощники, кладовщики, судомойки, конюхи, кучера, сторожа. В канцелярии, кроме мамы и меня, были два человека — делопроизводитель и счетовод (так именовали бухгалтера). В первое лето делопроизводителем был Александр Александрович Гедгарт, полный красивый человек лет сорока, немец, владевший до революции огромными мукомольными заводами в Саратове. С

местом счетовода в первое лето получилось нечто вроде плохой комедии восемнадцатого века: сначала счетоводом был маленький худенький человек, еврей, работник безукоризненной честности, но по фамилии Плут; вскоре его с повышением взяли в Губздравотдел, а на его место явился толстый огромный поп в рясе, с явно жуликоватой физиономией и по фамилии, конечно, Добросовестный.

Многолюдное население здравницы, образовавшее замкнутое, живущее своими законами сообщество, было крайне разнообразным по национальному составу. Тут были русские, украинцы, в их числе беженцы от войны с Западной Украины, белорусы, поляки, чехи, евреи, в большом числе поволжские немцы, французы, армяне, грузины, татары, китайцы! Ночной сторож сада был китаец, очень пугавший загулявшие допоздна в саду влюбленные парочки. Завхозом в первое лето был высокий полный молодой немец Генрих Генрихович Финк, в то же лето женившийся на медсестре, высокой русской красавице в кустодиевском стиле.

Чистейшим французом был наш новый близкий друг, оставшийся таким и на всю дальнейшую жизнь в Москве, старший ординатор Федор Маркович Фалькович, воспитывавшийся и учившийся во Франции. Красивый человек лет тридцати пяти, с длиной бородой и кудрявыми волосами, необычайно жизнерадостный, веселый и открытый. Он был в здравнице все три лета, как и его милая ласковая жена Любовь Ивановна, бывшая бактериологом и занимавшаяся этим делом и в здравнице — я часто бегал к ней в ее лабораторию и видел в микроскоп окрашенные красным цветом смертоносные туберкулезные палочки.

Федор Маркович был необычайно изящен в своих речах и движениях, его корректность была проникнута какой-то необыкновенной элегантностью. Он, конечно, идеально говорил по — французски, и я был рад, что не забыл уроков Луизы Христофоровны Берисвиль и мог довольно свободно разговаривать с ним по — французски.

При моих каждодневных хождениях по дачам я встречался и говорил со множеством людей, и на меня впервые в жизни обрушился даже не бурный поток, а форменная лавина человеческого многообразия — и по возрасту, и по профессии, и по характеру. Но я, как правило, воздерживался от чего-либо большего, чем простой деловой, по существу официальный разговор. Кроме возникшей у меня в первое лето настоящей дружбы с двумя наборщиками — одним молодым высоким и красивым, с белокурыми волосами, по фамилии Иванов, другим

лет под сорок пять, молчаливым, строгим, по фамилии Обухов. Эти наборщики, как и полагается, были начитанными, образованными людьми, и им, видимо, было занятно беседовать с таким начитанным мальчишкой. Я старался почаще заходить на дачу, на которой они жили.

В это лето, в свои четырнадцать лет, я впервые начал обращать внимание на женскую красоту. Я думаю, что просто было невозможным, чтобы этого не случилось: в то лето в здравнице были три редкостно красивые девушки. Первой была шестнадцатилетняя черногорка Милица Вучиевич, поразившая меня и красотой лица, и грациозностью движений. Похоже, она была профессиональная танцовщица или училась в какой-нибудь балетной школе. Но это оказалось причиной моего крайнего разочарования в этой красавице. Как-то больные устроили самодеятельный концерт (то, что стало потом называться капустником), и в нем выступила Милица Вучиевич, и вместо чего- то красивого и грациозного она исполнила, полуголая, какой-то удивительно вычурный, манерный и совсем не красивый танец. Мое доброе отношение к ней совсем испарилось, когда я однажды зашел на ту дачу, где она обитала, и увидел у нее в комнате (правда, в присутствии пожилой женщины) одного из здравницких врачей, противного, сального, пошлого сорокалетнего дядю, который очень весело и очень примитивно за Милицей ухаживал, а она весело смеялась и была явно удовлетворена ухаживаниями этого субъекта.

Другой была тоже шестнадцатилетняя Мария Востокова, скромная, застенчивая школьница, державшаяся со свободной простотой, без всякой нарочитости и принуждения. Я видел ее совсем не часто, но навсегда запомнил ее милый образ. Третьей была семнадцатилетняя Мария Вольшлегер, одна из немецких «хожаток», каких в здравнице было много. Она просто сияла лучезарной красотой, целомудренным изяществом, какой-то особенно чистой одухотворенностью. Пожалуй, красивее ее я не встречал женщин в своей жизни. И я очень беспокоился о ее дальнейшей судьбе, все ли у нее будет благополучно и счастливо. И успокоился, когда однажды пришел за хлебом в сарайчик, где его резал и раздавал необычайно славный двадцатилетний парень — украинец, Фома Савлук, и увидел, что сбоку у стола, на котором Фома резал хлеб, сидит Мария Вольшлегер и хохочет в ответ на веселые и остроумные шутки, которые произносит по ее адресу Фома. Она уже получила порцию хлеба для больных своей дачи, но не уходила, и я подумал, что если у нее установились близкие отношения с таким славным малым, то беспокоиться о ней нечего. Не знаю, как сложилась ее судьба, — на следующее

лето почти весь персонал здравницы обновился, и ни ее, ни Фомы Савлука там не было.

В то лето произошел один любопытный, хоть и очень неприятный эпизод, взволновавший всю здравницу. Одна развязная и уже не слишком молодая девица приехала с очередной партией больных вторично под чужой фамилией. Записывая ее, я подумал, что где-то уже видел ее, но решил, бывают же в жизни очень похожие люди. Размышлять больше мне было некогда — ждало своей очереди много народу. Но в тот же день ко мне пришла медсестра за историей болезни уже уехавшей из здравницы больной. Я спросил, зачем ей нужна эта история болезни, медсестра простодушно ответила: «А она уже была у нас, зачем же начинать новую историю болезни?» Я сообщил об этом бесцеремонном жульничестве Николаю Яковлевичу, он страшно возмутился и приказал немедленно проверить документы у всех находящихся в здравнице больных. До того проверять документы мне не полагалось, достаточно было путевки, надписанной в губздравотделе. Мне выпала довольно большая работа, но она прошла легко, потому что весть о таком экстраординарном событии мгновенно распространилась по здравнице и мне не приходилось объяснять каждому, зачем вдруг понадобилась такая проверка. Машу Востокову, у которой по причине ее возраста еще не было никакого удостоверения, привели две пожилые дамы, живущие на той же даче, что и она, чтобы засвидетельствовать ее подлинность, но я только извинился перед ней за причиненное волнение. Один больной выразил негодование по поводу такого недоверия к людям, заявив, что у него с собой никаких документов нет. Я этому сердитому дяде в канотье вежливо посоветовал съездить в город за документом и показать его мне, чтобы ему не пришлось покинуть здравницу. А преступную девицу, конечно, тотчас изгнали из здравницы.

Осенью первого года в здравнице один из врачей предложил мне работу зимой у него в туберкулезной поликлинике, и я согласился. Я делал там то же самое, что в здравнице, только при гораздо худшем начальстве: этот доктор Хачиков (вернее, Хачикян) был очень ленивым и неаккуратным, постоянно опаздывал к приему посетителей, вызывая недовольство у бесконечно ожидавших его больных. За всю зиму 1919–1920 года в поликлинике было только одно очень меня огорчившее событие. Я утром ушел в Губ- здравотдел, а когда вернулся и вышел из комнаты в коридор, то увидел уходящего Иванова — того молодого высокого белокурого наборщика, с которым подружился летом в здравнице. Он пришел без меня, и его записала медсестра. Я с радостью бросился к нему, но он

улыбнулся мне и остановил рукой, сказав: «Не подходи ко мне, у меня тиф», — и ушел, закрыв за собой дверь. У него был туберкулез в далеко зашедшей степени, и он вряд ли мог вынести сразу две тяжких болезни.

Я ходил в поликлинику с Вознесенской улицы на Армянскую, бывшую у самой Волги, через весь город. Зимой это было сравнительно нетрудно, но весной 1920 года обернулось бедой. Я щеголял в валенках, у которых совсем оторвались подошвы, и эти подошвы были крепко привязаны накрест толстыми красными шнурами с первомайских знамен. В этой не слишком надежной обуви зимой по снегу ходить было все же спокойно. Но в городе всю зиму снег не убирали, и ранней весной он в один прекрасный день весь растаял сразу. В городе, расположенном на гористом берегу Волги, началось бурное наводнение. Мне в тот день пришлось идти на службу по сплошной воле, и мои гордо независимые подошвы пропустили в мои валенки ледяную воду со всего Саратова. Я жестоко простудился, и так как заменить негодные валенки было нечем, пришлось уйти с работы в поликлинике.

Я уже упоминал, что в наследство от этой поликлиники мне достался начавшийся туберкулезный процесс, быстро и энергично ликвидированный Николаем Яковлевичем Трофимовым и страшно напугавший мою маму.

Второе лето в здравнице, в 1920 году, не оставило в моей памяти каких-либо существенных воспоминаний, кроме все более углублявшейся дружбы с Федором Марковичем Фальковичем.

В зиму 1920–1921 года мама не пустила меня работать, и я всю зиму просидел дома, разумно решив серьезно заняться своим образованием — и так два года были пропущены впустую. Я принялся за чтение тех книг из отцовской библиотеки (перевезенной из персидского консульства еще ранней весной 1919 года), которых не читал раньше, а также маминых книг, появившихся в нашем доме, когда мама поступила в Саратовский университет. Я принялся за брокгаузовский энциклопедический словарь и прочел все статьи по истории, философии и религии. Меня поразила блистательная статья Владимира Соловьева о Гегеле, и, вероятно, благодаря этой статье я пришел к заключению, что мои взгляды на мироздание всего ближе к Гегелю и Спинозе. Не скажу, чтобы я сумел сразу разобраться в прихотливом калейдоскопе человеческих размышлений и духовных исканий, но шаг в моем образовании был сделан немалый. Я все же основательно пополнил свои знания в естественно — исторических науках знаниями в науках гуманитарных.

Третье лето в здравнице, в 1921 году, получилось очень грустное из-за тяжелой маминой болезни и болезни Кости Гришфельда, а закончилось очень для меня печальным экспериментом с курами, о чем я уже рассказал. Зиму 1921–1922 года я снова занимался своим образованием, прочел впервые очень много книг. На этот раз я добрался до религиозно — философских сочинений Льва Толстого, которые произвели на меня большое впечатление своей страстностью и несокрушимой убежденностью, при всей явной неоригинальное и даже примитивности. Я прочел тогда впервые и художественные произведения Толстого, почти все. Я отдал дань великому роману «Война и мир» — за исключением трех эпизодов, глубоко меня возмутивших и бесспорно выпадающих из общего строя романа: это были, во — первых, нелепые рассуждения Толстого об истории, во- вторых, абсолютно фальшивый образ Платона Каратаева и, в — третьих, непонятное настойчивое стремление разными способами дискредитировать прекрасный образ Наташи Ростовой — в совершенно неправдоподобном эпизоде с Анатолем Курагиным и в старательном снижении образа Наташи в эпилоге романа.

«Анна Каренина» и «Воскресение» мне решительно не понравились, и перечитывать их мне никогда не захотелось (подобно академику Лихачеву). Чтение же религиозных произведений Толстого имело существенное продолжение в Москве, о чем расскажу в свое время.

Из маминых книг по истории я особо выделил замечательные книги Роберта Юльевича Виппера, не зная, конечно, как близко придется мне встретиться с его сыном и его внуком.

Когда наступил день отъезда в Москву, я сделал непоправимую глупость — сжег свои многочисленные тетради, накопившиеся за всю предыдущую жизнь, — сохранил лишь одну с рисунками, изображающими морскую глубь и ее обитателей, и две тетради по французскому языку с отметками Луизы Христофоровны Берисвиль. Зачем я решил избавиться от себя самого детских лет, не понимаю.

Москва 20–х годов

Москва. Поступление на математический факультет Московского университета. Работа в Толстовском музее. Шохор-Троцкий. Встреча с А.Голубкиной. М.О.Гершензон. Впечатления от искусства Москвы 1920-х годов

В Москву мы ехали целую неделю, и во время этого путешествия мне исполнилось семнадцать лет. Я совсем не мог представить себе, как сложится этот совсем новый этап моей жизни, и ждал невиданных чудес и событий. В чем не ошибся — моя жизнь в Москве сразу же сложилась необычайно богато и многогранно, как я и не ожидал.

Говоря о первых четырех — пяти годах моей московской жизни, я могу перечислить длинный ряд составных элементов целостной симфонии моего душевного и умственного (и морального) опыта этих лет. Это были 1) университет, 2) Толстовский музей, 3) мои хождения с отцом по Москве, 4) мои хождения по музеям, 5) хождения в театры, в кино и на концерты, чтение совсем новых книг — и каждое из этих занятий требует особого рассказа. Начну по порядку.

В университет я поступил семнадцати лет от роду и не имея, так сказать, никаких подтверждений уровня моего образования. Отец, по своей работе в Главтопе, был членом центрального комитета союза горнорабочих, потому он сказал, что может получить для меня путевку на физико — математический факультет Московского университета. Я согласился и выбрал математическое отделение этого факультета, простодушно решив, что математика, как основа точных наук, поможет мне решить все сложные загадки мироздания. Но для поступления на математическое отделение нужно было как следует подготовиться, и я это выполнил. Некий математик (фамилии его не помню) открыл в пустовавшем доме Тургеневых на Остоженке математическую школу специально для подготовки к экзаменам в университет, и я все лето усердно посещал ее. На этом математическом отделении я проучился три года, почти до конца третьего курса, после чего бросил математическое отделение и в конце лета 1925 года поступил на отделение истории и теории искусств в том же университете.

Не скажу, что пребывание на математическом отделении было для меня совсем бесполезным, но я очень скоро убедился, что математика мне совершенно не нужна и никаких моих

душевных смятений разрешить не может. Я с удовольствием слушал блестящие лекции совсем молодого академика Николая Николаевича Лузина по высшей алгебре. Он умел поразить воображение слушателей. Помню, как однажды он написал на доске формулу «2 х 2» и задумался. Некоторые студенты наивно стали ему подсказывать: «Четыре!» А он обернулся к ним и спросил: «А почему, собственно, четыре? Докажите!» Я узнал из его лекций, что математика, считающаяся самой точной из наук, на самом деле покоится на нескольких вполне условных допущениях, и если изменить эти допущения, получится совсем иная математика. Он рассказал нам в свое время о теориях Лобачевского и Римана и о других тайнах математической науки. Других профессоров — математиков я даже не могу вспомнить. Зато я с наслаждением слушал лекции по астрономии, увлеченно читавшиеся профессором Блажко — маленьким бородатым человеком, которого помню отчетливо. Математику я забыл и сейчас не смогу решить даже самой простой задачи по дифференциальному и интегральному исчислению. А астрономические сведения, узнанные тогда в университете, не только помню, но и основательно расширил и дополнил их, всю жизнь покупая литературу по астрономии — вплоть до недавних сенсационных открытий американского космического аппарата, пролетевшего совсем близко от Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна и сфотографировавшего их и их спутников.

На третьем курсе я стал ясно понимать, что мне нужно совсем иное высшее образование. Но окончательным толчком к уходу с математического отделения послужило событие вовсе не научного порядка. Весной 1925 года новым ректором Московского университета был назначен Вышинский, никакого отношения к науке не имевший. Это вызвало протест всего университета. Я присутствовал на общем собрании студентов, на котором произошло решительное столкновение с новым ректором. Гигантская физическая аудитория была набита битком, все проходы были заполнены сплошной массой людей — вероятно, было тысячи полторы присутствовавших. Речь Вышинского была встречена шумом и криками. Я видел, как один из студенческих вожаков спустился к кафедре с микрофоном с самого верха аудитории, быстро переступая по пюпитрам скамей. Результат столкновения был вполне естественный: Вышинский объявил чистку университета от всех нежелательных элементов. Я на эту чистку не пошел — было слишком противно. Но когда она кончилась, я решил все-таки пойти и узнать собственную судьбу. Мне сказали, что я могу обратиться к председателю комиссии по чистке студенту Триусу (или Трейвасу? — точно не знаю). Я

пошел туда, где жил этот Триус, в студенческое общежитие в подвале большого дома в Староконюшенном переулке. Я вошел в очень большую комнату со столбами посередине, поддерживающими потолок, где стояло по крайней мере пятнадцать кроватей. Но обитателей комнаты никого не было, кроме этого самого Триуса: он оказался толстым, круглым, очень розовым и курчавым, он возлежал на одной из кроватей в обществе смазливой девицы, и ему явно некогда было со мной изъясняться. Я сказал, что пропустил чистку и не знаю, что нужно делать. Он весьма благосклонно сказал, что я могу идти домой и ни о чем не беспокоиться — даже не спросив моей фамилии. Я ушел и больше в университет ходить не стал. О поступлении на другое отделение университета я расскажу дальше.

Вышинского я видел еще раз в своей жизни. Как-то в конце тридцатых годов, живя летом на даче Александра Борисовича Гольденвейзера, дяди моей жены, на Николиной горе, я возвращался с Москвы — реки домой по Черному оврагу и встретил спускающегося сверху Вышинского, который шел купаться в сопровождении с двух сторон здоровенных телохранителей, обвешанных всякими дрекольями. Я сошел с тропинки и пропустил мимо себя эту компанию. Вышинский отлично знал, что политические процессы, которые он тогда вел, насквозь лживы, и трусил возмездия. Он напрасно беспокоился: в благодарность за свою грязную работу он был выбран в Академию Наук и чуть было не стал ее президентом.

Вышинский прибрал к рукам дачу на Николиной горе расстрелянного по его приговору Сокольникова. Тогда на Николиной горе чуть ли не треть дач оказались «вымороченными». Помню, как в 1937 году была «выпотрошена» дача Веньямина Михайловича Свердлова, брата Якова Свердлова, — как валялись в пыли на дороге изящный столик, какие-то фотографии, пасьянсные карты… Вечером в день, когда был объявлен смертный приговор Бухарину и его сподвижникам, из санатория Совнаркома «Сосны» доносились развеселые звуки фокстротов — «победители» праздновали победу. Помню бледные, застывшие лица родителей… На склоне горы чуть ниже дачи Вышинского по весне расцветали совершенно небывалые цветы — интенсивно розовые ландыши, без запаха. Шептали, что это выступает из земли кровь казненных…

Одним из результатов (довольно случайных) моих долгих, смутных, трудных и разноречивых религиозных исканий было то, что летом 1922 года я отправился в библиотеку Толстовского мемориального музея, чтобы прочесть те религиозно — философские сочинения Толстого, которые не были пропущены

русской цензурой и были изданы за границей. Это была толстая книга «Царство Божие внутри нас» и какие-то статьи. Совершенно не помню, каким образом после того, как я несколько раз просидел в библиотеке музея и был знаком лишь с очень немногими сотрудниками его, мне было *предложено* стать *секретарем музея. Я* согласился, но был им самое короткое время — я же не мог, ходя на лекции в университет, сидеть при этом каждый день в музее и заниматься чисто канцелярскими делами. Поэтому я очень быстро отказался от звучавшей очень торжественно роли секретаря музея и перешел на положение сверхштатного научного сотрудника. Но для такого решения уже была подготовлена почва. В музее были сотрудниками не только люди, связанные какими-то отношениями лично с Толстым или правоверные «толстовцы», считавшие себя преданными последователями Толстого, но и «обычные» ученые — литературоведы — прежде всего замечательный человек, ставший моим добрым другом и наставником — Константин Семенович Шохор — Троцкий. Вот знакомство с ним и стало причиной, что я на несколько лет остался связанным с Толстовским музеем в качестве сверхштатного научного сотрудника.

Шохор — Троцкий был одним из редакторов затеянного огромного 90–томного собрания сочинений Льва Толстого, включавшего впервые все его письма, дневники и записные книжки. Именно эти последние — дневники и записные книжки — были на попечении Шохора — Троцкого, и я оказался неожиданно очень полезным для него помощником. Я мог свободно разбирать чудовищно неразборчивый почерк Толстого. Записные книжки Толстого представляли собой маленького размера книжечки, сплошь, без всяких полей и просветов, заполненные текстом, который был изображен почти не различимыми строчками тесно поставленных наклонных прямых палочек вместо букв, потом мелко вписанные между этими строчками, повернутыми вверх ногами рядами точно таких же наклонных прямых палочек, затем вся страница была со всех сторон окружена надписью из таких же неразборчивых наклонных палочек. И при этом все слова были сокращенными! Какой интуицией я оказался обладающим, чтобы с точностью расшифровывать такую абракадабру! Меня эта работа увлекла, а потом прибавилась новая, еще более завлекательная.

Дело в том, что когда я впервые попал в этот музей, я был крайне удивлен его на редкость бездарной организацией. Музей, называющийся «мемориальным», представлял собой скопление разного вздорного хлама: портреты Толстого, сделанные из тряпок или сосновых шишек, галстуки и чайники с портретами

Толстого, десятка три заржавевших и пыльных венков с могилы Толстого с грязными лентами и прочая ерунда такого же уровня. Директором музея был Валентин Федорович Булгаков, последний секретарь писателя, бывший в те времена совсем молодым студентом. Он абсолютно ничего не смыслил в музейном деле, хотя был весьма самоуверенным человеком. После смерти Толстого он выпустил книгу под названием «Лев Толстой в последний год его жизни», которую даже его близкие друзья называли «Валентин Булгаков в последний год жизни Льва Толстого». В самом конце 1922 года Булгаков был выслан из Советского Союза, как я думаю, по чистейшему недоразумению — его явно спутали со знаменитым философом Сергеем Булгаковым. Высылка Валентина Булгакова — ни за что ни про что — взволновала московскую интеллигенцию, и ему был дан торжественный прощальный банкет, на который пришли разные именитые люди вроде Немировича — Данченко. Адрес украсил своей акварелью Нестеров, изобразивший Толстого на берегу лесного озера, а текст поручили написать мне (знали, что у меня хороший почерк).

После Валентина Булгакова директором музея стала старшая дочь Толстого Татьяна Львовна, не очень умная, добродушная барыня. И тогда Шохор — Троцкий решил осуществить дерзкую затею: радикально изменить экспозицию и весь характер музея, превратив его в строго научный и строго художественный историко — литературный музей. Татьяна Львовна вполне одобрила его план. И тут я снова оказался очень подходящим и очень деятельным помощником Константина Семеновича Шохор — Троцкого. Он стал очень усердно собирать портреты предков и родных Толстого, его друзей, изображения мест, где он жил или бывал, иллюстрации к его произведениям, книги, по которым он работал, памятные вещи его детства, его военной службы, его благотворительной деятельности и т. д. Тряпочные портреты, галстуки и чайники были убраны прочь. Толстовцы, работавшие в музее или окружавшие музей, очень неодобрительно, а то и прямо враждебно отнеслись к новациям Шохор — Троцкого, однако ныне существующий музей полностью хранит принципы Шохор — Троцкого, как ни старался, ставший после отъезда Татьяны Львовны в 1924 году в Италию, директором Гусев, бывший некоторое время секретарем Толстого, предать забвению имя Шохор — Троцкого. **4».**

В 1924 году мы с Шохором провели месяц в Петербурге (только что переименованном в Ленинград) с целью собрать книги XVIII и XIX века, по которым Толстой работал в своих художественных произведениях. В бывшее министерство двора на

Фонтанке были свезены сотни тысяч книг из разных дворцов, учреждений, богатых особняков, длинная вереница зал была завалена от стены до стены горами книг, роясь в которых мы нашли и знаменитую французскую Энциклопедию Дидро и Даламбера, и много книг о Наполеоне и т. п.

Я обязан Шохору двумя очень важными эпизодами моей тогдашней жизни — моими встречами с двумя великими людьми своего (да и не только своего) времени: с Михаилом Осиповичем Гершензоном и с Анной Семеновной Голубкиной. Шохору пришло в голову заказать для музея какому-нибудь видному мастеру скульптурный портрет друга Толстого Владимира Григорьевича Черткова, и я помог осуществить эту идею — я предложил ему сделать заказ Голубкиной. Он согласился и отправил меня к Анне Семеновне спросить, хочет ли она сделать такой портрет. Она не была избалована заказами, явно в них нуждалась и охотно согласилась. Я стал возить к ней Черткова. Первый сделанный ею портрет вышел неудачным: Чертков был очень стар и позировал плохо, он дремал, клевал носом и получился всего лишь дряхлый сонный старик, незначительный и неинтересный. Голубкина забраковала этот портрет и уничтожила его, принявшись за работу снова. Не без моей помощи она узнала подлинный характер Черткова — тот, что сохранился у него с молодых лет, когда он был кавалергардом и который он никак не мог заслонить усердной христианской набожностью. Она стала во время работы разговаривать с Чертковым, спать ему не давала, умело вызывала на воодушевленные и яркие высказывания, и портрет получился превосходный. Голубкина высекла его из дерева, и он стал одной из вершин ее позднего творчества. Шохор пришел в восхищение, он был у Голубкиной, и она — по памяти — его нарисовала: как-то, когда я пришел к ней (уже без Черткова), она швырнула на пол огромный лист бумаги и спросила меня: «Похож?» Шохор получился действительно очень похожим — с огромными черными глазами, обросший черной бородой, болезненно бледный — этот замечательный рисунок сейчас в Третьяковской галерее. А Шохор уже сам сделал Голубкиной новый заказ — на портрет Толстого. И она выполнила прекрасный портрет Толстого — полуфигуру сидящего, откинувшись назад, с подпирающей голову рукою. Этот Толстой стал ее предпоследней работой, после него она сделала только чудную «Березку» — изображение стоящей во весь рост молодой девушки в развевающемся от ветра легком платье, поразительное по своей поэтической наполненности.

Фигуру Толстого она успела отлить в гипсе, уже после ее смерти она была переведена в бронзу. Во время работы над

Толстым я постоянно подолгу сидел у нее и смотрел, как она работает, слушал ее увлекательные рассказы о художниках, о ее моделях. Кто-то сказал про нее, что она будто бы очень нелюдима, не любит, когда к ней приходят, особенно когда она работает. Это неверно. Я быстро понял, что она очень одинока, что она радуется посетителям, особенно когда слышит искреннее восхищение ее великим искусством.

Анна Семеновна была в ту пору старухой, высокой, худой, с резкими угловатыми движениями, с совершенно лишенным малейшего интереса к какой-нибудь практической обыденности, экзальтированным взором. Художником, живущим в состоянии непрестанного высочайшего творчества, далеким от всех сколько-нибудь корыстных и меркантильных интересов. Это было самое сильное мое впечатление именно от художника — творца, художника большого масштаба, мыслящего какими-то очень большими гуманистическими категориями.

Хождения к Голубкиной были для меня драгоценным уроком — я мог видеть, как рождается творение искусства, как меняется и уточняется композиция, как материализуются выбранные средства художественного выражения, как выясняется и обостряется задуманный художественный образ. Это было одним из первых глубоких впечатлений от реального живого художника. И я бесконечно ей благодарен за то, что я уже тогда смог изучать искусство по живым людям, а не только по их произведениям, что для меня искусство обязательно состояло из творений и творцов, что я не мог воспринять никакой картины, никакой скульптуры, не зная, кто ее сделал, что это был за человек. Мне повезло, что я таких людей знал множество в собственной биографии. В недалеком будущем, в тридцатые годы, мне посчастливилось повторить этот глубокий урок, очень часто наблюдая, как работает над своей гравюрой, фреской или театральным оформлением великий мастер — Владимир Андреевич Фаворский.

Близким другом Константина Семеновича Шохор — Троцкого был писатель Михаил Васильевич Муратов, впоследствии ставший, насколько я помню, известным детским писателем. Это был прелестный человек — мягкий, добрый, с окладистой подстриженной черной бородой, с черными глазами, очень приятный, очень тонкий. И когда Шохор тащил меня в какой-нибудь день обедать в вегетарианскую столовую, то среди этого уныния, какого-то удивительно антиэстетического обихода столовой, вероятно не без влияния толстовского опрощенчества, необычайно было приятно вдруг увидеть Муратова и с ним разговаривать. Это был важный и очень хороший противовес тому

кругу людей, которые толклись вокруг толстовского музея. Муратов был настоящим живым человеком.

Таким был и сам Шохор — Троцкий. Это был очень болезненный, худой тощий человек невысокого роста, очень худой, с косматой черной бородой, громадными черными глазами, с каким-то воспаленным, возбужденным лицом, с неизменно внешним спокойствием и внутренним горением, совершенно явно чахоточный. (Я к тому времени, к великому сожалению, знал, как выглядят люди, больные туберкулезом.) Ко второй половине двадцатых годов он был в последней стадии туберкулеза, этой злосчастной болезни, с которой мне пришлось иметь столько дела в мои молодые годы. От туберкулеза он и умер в самом начале тридцатых годов.

Своим человеческим образом и своей деятельностью Шохор дал мне благородный образец увлеченной, непреклонно целеустремленной созидательной воли. Он был человеком больших свершений, одним из которых было создание, фактически на пустом месте, настоящего, строго научного историко — литературного музея, достойного великого писателя. Он был человеком редкой доброты и всепрощения — я никогда не слышал, чтобы он хотя бы намеком пожаловался на дурное отношение к себе со стороны толстовцев. А оно все возрастало, когда по мере создания нового музея Шохор — Троцким главный акцент все более ясно переносился с религиозных исканий Толстого на его художественное творчество.

В 1924 году Татьяна Львовна, как я уже писал, уехала в Италию, и директором стал Н. Н.Гусев, человек редкостно злой, черствый, совершенно скованный тупыми схоластическими догмами и с нескрываемой враждебностью относившийся к глубоким переменам, внесенным в музей Шохор — Троцким. Свою неприязнь к нему он тут же перенес и на меня, только в менее вежливой форме. Шохор- Троцкому всячески мешали «образцовые» толстовцы (при этом ловкие дельцы) вроде П. И. Бирюкова, биографа Толстого, или И. И. Горбунова — Посадова, руководителя основанного Толстым и еще существовавшего издательства «Посредник», и других. Тогдашнее толстовское общество было крайне засорено людьми, не имевшими никакого права на какую-либо причастность к имени великого писателя. Толстовцы с полным спокойствием относились к присутствию в их рядах откровенных проходимцев, подобных мерзкому типу, трогательно именовавшему себя «Сережей» Поповым: он ходил босой, в грязной, когда-то белой рубахе длиной ниже колен и подпоясанной «вервием», с сальными патлами на голове и растрепанной мочалкой вместо

бороды; все жизненные устремления этого персонажа сводились к постоянным поискам, как бы сесть чистейшим паразитом на чью-нибудь чужую шею. О таких людях, как Гусев или Бирюков, можно было сказать такие же жестокие слова, какие в 1912 году сказал Суриков Нестерову после осмотра выставки этого последнего: «Очи к небесам вздымаешь, а руками по земле шаришь?»

Я расстался с Толстовским музеем в 1926 году, перестав выносить совершенно нестерпимое поведение толстовцев, резко враждебное ко мне со стороны Гусева, отвратительное лицемерие и ханжество людей, претендующих на какие-то особые права на Толстого.

Но одного человека, связанного с Толстовским музеем, одну его сотрудницу мне хочется вспомнить. Она выполняла обязанности то ли секретаря, то ли делопроизводителя (какие-то очень скромные обязанности), но это была высоко аристократическая старая дама, близкая приятельница Толстых в последнее десятилетие их жизни, Софья Александровна Стахович. Ее муж или брат был чуть ли не министром, одним словом, каким-то очень высокопоставленным человеком в дореволюционные времена. И она по своей связи с домом Толстых оказалась работающей в музее. Это была уже старуха лет за 60, очень красивая, очень выдержанная, с совершенно аристократическим обликом, какой бы годился для времен Пушкина, а не для 1923–1925 года, очень воспитанная, строгая и величественная. Ко мне она относилась очень благожелательно. Но я хочу ее вспомнить по одному совершенно неожиданному обстоятельству. Дело в том, что у Репина есть прелестный рисунок конца прошлого века «Молодая девушка в профиль», который находится то ли в Русском музее, то ли в Третьяковке, и называется просто «Портрет девушки». Но это совершенно очевидно она, очень красивая, очень изящная, тонкая — ей там лет 20, то есть как раз тот возраст, в котором она должна была находиться в это время, в конце 80–х или в начале 90–х годов. Если я буду заниматься иллюстрированием своих мемуаров, то этот рисунок помещу, как абсолютно достоверное мое определение.

Не могу сказать, что именно оказалось каплей, переполнившей чашу моего терпения, но в один прекрасный день я ясно понял, что не могу больше переносить окружавшее меня так долго лицемерие, ханжество и отвратительную фальшь непрошеных «последователей Толстого», и резко порвал с Толстовским музеем — навсегда. Лишь через десяток лет я с большим трудом (и главным образом под влиянием дяди моей

жены, известного пианиста Александра Борисовича Гольденвейзера, который был другом Толстого, но толстовцем не был) смог «вернуться» к Толстому — к его не религиозным, а художественным произведениям, да и то не ко всем. А тогда…

Тогда для меня это означало полный крах моих религиозных исканий. Я на собственном опыте узнал, что получается, когда возвышенные идеи попадают в низменные души, во что они там превращаются. К великому сожалению, мой уход из Толстовского музея волей — неволей привел к моему отдалению от близкого и доброго друга — К. С.Шохор — Троцкого, а он, тяжело больной в последней стадии чахотки, вскоре умер, и мы перед этим так и не увиделись — по моей вине.

Все это было пережито мною так тяжело, что я бросился было в другую крайность: стал всерьез думать о вступлении в коммунистическую партию, но трагическая история, случившаяся так неожиданно с моим отцом, подействовала как ведро ледяной воды на голову, вдруг раскрыв другую сторону медали.

Мне был тогда двадцать один год от роду.

Физико — математический факультет Московского университета и Толстовский музей стали преходящими этапами моего жизненного пути, заключавшими в себе как добрый и ценный, так и резко негативный жизненный опыт. Остальные мои занятия в первые годы жизни в Москве — хождения с отцом по Москве, мои хождения в музеи, в театры, в кино, на концерты, чтение новых (и очень важных) книг — это был драгоценный интеллектуальный, эстетический и моральный опыт, никого не касавшийся и не от кого не зависевший, бывший всецело моим личным достоянием и огромным обогащением моего душевного мира.

Я предавался этим занятиям с великим увлечением, открывая все новые и новые для меня области высочайшей духовной и художественной культуры. Ведь именно в это время я как следует впервые прочел (и многократно перечел) Пушкина, Тютчева, Блока, понял красоту и гармонию старой русской архитектуры — московской, а потом и петербургской, открыл грандиозные просторы и высоты мировой живописи, в том числе и русской — от живописцев Петровской эпохи до Малевича и Татлина, раскрыл волшебный мир театра в его самом новаторском выражении, глубоко оценил шедевры созданного новым веком небывалого искусства кино, слышал многих наших и зарубежных выдающихся музыкантов. Все это я переживал очень горячо и воодушевленно, непрестанно отбирая самое главное, самое основное.

Приехав в Москву в феврале 1922 года, я сразу же купил две

маленькие книжки, изданные «Алконостом», — «Двенадцать» Блока и «Переписку из двух углов» Вячеслава Иванова и М. О. Гершензона. Поэма Блока произвела, как и должно было быть, сильнейшее и неизгладимое впечатление. Так восприняли тогда во всем мире Октябрьскую революцию, ее подлинная природа раскрылась далеко не сразу. Мне было известно имя Блока по «Чтецу — декламатору» — стихов, изданной в Киеве перед Первой мировой войной, но о такой его мощи и страсти я, конечно, не имел представления.

«Переписку из двух углов» я прочел с восхищением и при своей философской начитанности мог верно оценить важность и значительность этой небольшой книжки, составившейся из двенадцати писем, где каждый из авторов написал половину. Я целиком стал на сторону Михаила Осиповича Гершензона. Вячеслав Иванов писал очень вычурно и замысловато, он словно парил в каких-то возвышенных эмпиреях, совершенно отрешенный от обыденной повседневной жизни, аргументировал абстрактными «вечными» категориями; Гершензон писал просто и ясно, он находился не на небесах, а на реальной земле и писал о реальном человеке, его мечтах и стремлениях.

Эта замечательная книжка, замолчанная у нас на 70 лет, как и вообще все суждения философов русского «Серебряного века» (Владимира Соловьева, Сергея Булгакова, Бердяева, Флоренского, Шестова, Франка и других), за пределами нашей страны прославилась, была переведена на многие языки. Знаменитый испанский философ Ортега — и Гассет в своем предисловии к «Переписке из двух углов», переведенной на испанский язык, сказал о ней: «Это самое значительное, что было сказано о культуре со времен Ницше». С этой книжкой у меня связано яркое воспоминание, относящееся к бесконечно более поздним временам, «на другом конце долгой жизни». В 1973 году мы с Наташей, моей женой, вторично провели месяц в Италии. В Риме, где мы пробыли три четверти времени, мы каждый день встречались с нашими ближайшими друзьями — сыном Вячеслава Иванова Дмитрием Вячеславовичем, известным французским журналистом, которого генерал де Голль наградил орденом Почетного Легиона, ближайшим спутником папы Павла VI в его кругосветном полете, и с Ольгой Александровной Шор (Дешарт), душеприказчицей Вячеслава Иванова, редактором посмертного собрания его сочинений, искусствоведом и археологом. Однажды я вместе с Дмитрием Вячеславовичем (для меня — Димой) пошел в гости к Ренато Гуттузо, с которым я встречался, когда был первый раз в Риме и каждый раз, когда он приезжал в Москву. Теперь он жил в новом жилище — прелестной вилле XVII века в

центре Рима. Гуттузо говорил по- итальянски, я — по — русски, Дима переводил мои речи на итальянский язык, а что говорил Гуттузо, я понимал, хотя сам говорить по — итальянски не мог. Во время беседы пришел известный итальянский литератор Гвидо Пьовене, друг Гуттузо, по прозвищу «il conde rosso» («красный граф»), так как он был графом и коммунистом. Он сказал, что только что напечатал большую статью о «Переписке из двух углов», и выразил удовольствие, что неожиданно встретил сразу сына Вячеслава Иванова и зятя Гершензона. А мне было приятно услышать, что он в своей статье целиком стал на сторону Гершензона.

В 1924 году я в первый (и единственный) раз видел и слышал Михаила Осиповича, понятия не имея, какую роль он будет играть, правда, уже посмертно, в моей собственной жизни. В 1924 году, за год до смерти Гершензона, то ли в Доме ученых, то ли в Академии художественных наук, которая тогда находилась напротив Морозовского особняка, был устроен вечер под названием «Толстой и русские писатели», и Шохор потащил меня на этот вечер. Меня не слишком увлекла тема заседания, но я послушался и пошел и был сторицей вознагражден за это послушание. За столом сидели докладчики. Посередине сидел маленький худенький, совсем седой Гершензон. Он председательствовал на этом вечере. По одну сторону сидел Сакулин, огромный (таким он, вероятно, казался в сравнении с Гершензоном), торжественный, пышный, с бородой по самое пузо. С другой стороны похожий на мертвеца Пиксанов с деревянной физиономией. Потом Бродский и молодой тогда Благой, высокий, тощий и лысый. Они делали соответствующие доклады «Толстой и Пушкин», «Толстой и Тургенев» и какой-то еще. Благой делал доклад «Толстой и Тютчев». Был совершенно невообразимый, просто удивительный, контраст между этими скучнейшими, нудными, бездарными докладами, совершенно пустыми и мертвыми, и речью, которую произнес в начале заседания Михаил Осипович. Он назвал свою речь «Толстой — пророк». У него был тихий, глухой голос, но когда он начал говорить, возникло чувство, что проснулся вулкан! Это была какая-то огненная лава, а не речь, каскад неожиданных, смелых и мудрых суждений, ошеломляющий и беспрекословно покоряющий слушателя. Я ничего подобного вообще раньше не слышал. В этом маленьком худеньком теле дышал пламень, совершенно поразительный по красоте, по чеканной точности каждой фразы, по глубине мысли. Все величие Толстого вставало в этой речи. Я тогда был потрясен этим, потому что я Толстого видел все время в таком неказистом преломлении, что начинал приходить к величайшей антипатии к

Толстому. А Гершензон вдруг подошел к нему совсем с другой стороны — поверх всех его противоречий, поверх всех крайностей, поверх его религиознофилософских метаний, раскрыв в нем то, что Толстого и делало великим человеком. Это было удивительно. После речи Гершензона было просто нестерпимо слушать бездарную и бессмысленную болтовню четырех литературоведов, они все были из какого-то совсем другого человеческого племени, примитивного и бездуховного. Особенно смешной доклад был у Благого, который читал последним; он написал предлинный доклад и читал по бумажке, страшно торопился, говорил скороговоркой, и несмотря на попытки Михаила Осиповича его остановить, он все-таки желал прочитать во что бы то ни стало весь свой пустейший доклад до конца. Он был таким же глупым, каким остался в старости.

Это был единственный раз, когда я видел и слышал Михаила Осиповича. Я тогда, естественно, не мог предполагать, что буду женат на единственной дочери Гершензона, что тридцать лет (1929–1959) буду жить в его квартире, что в моем нынешнем доме будет стоять шкаф, целиком занятый книгами Гершензона, и будет висеть его портрет, исполненный маслом по лучшей фотографии М. О. ленинградским художником Бреннером, и что я каждодневно буду помнить и думать о Михаиле Осиповиче.

В 1923 году вышел в свет сборник стихов Тютчева. Это было одно из ниспосланных мне откровений, я не знал его раньше.

Но самое важное: в 1924 году вышел в первый раз после революции однотомник Пушкина, большого формата, но без переплета, в бумажной обложке, с фронтисписом в виде малоудачной гравюры П. Я. Павлинова. Тот однотомник, что был в библиотеке моего отца и который я ни разу не раскрывал, был продан мамой в одну из голодных саратовских зим. Этот новый том Пушкина я прочел несколько раз и навечно покорился бесконечному обаянию великого поэта. Я должен сказать, что сразу выбрал те произведения, которые навсегда остались главенствующими в моем восприятии Пушкина: «Евгений Онегин», все стихотворения после выхода из Лицея, «Медный всадник», «Пиковая дама», «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Граф Нулин», «Домик в Коломне». Впоследствии к этому перечню добавилась «Гавриилиада» — в однотомнике 1924 года ее еще не было. Пушкин сразу стал для меня камертоном для проверки звучания всех читавшихся мною литературных произведений, как русских, так и иноземных.

Через два года, в 1926 году, вышло первое после революции собрание сочинений Пушкина в шести томах в виде приложения к какому-то журналу, с совершенно диким предисловием

Луначарского. Он написал, что, конечно, Пушкин абсолютно чужд пролетариату, но знать его все же не мешает и на пять лет его еще хватит. Если бы я к тому времени не был глубоко обязан Луначарскому (о чем расскажу в свое время), то я отнесся бы к этому странному его суждению с величайшим презрением. Зачем ему понадобилась такая почтительность по отношению к самому глупому, самому вздорному Пролеткульту — не знаю. Но этот поистине чудовищный факт говорит очень ясно, что уже в середине двадцатых годов даже Пушкина надо было спасать от готового все поглотить одичания.

Словно ответом на эту напасть стала изданная посмертно книга Гершензона «Статьи о Пушкине».

Я читал в то время очень много и других книг. Отмечу лишь одну, произведшую на меня сильное впечатление, — антивоенный роман Герберта Уэллса «Мистер Бритлинг и война» (в английском оригинале ее название «Мистер Бритлинг видит все насквозь») — глубоко взволнованная, очень сердечная и чисто реалистическая книга высокого достоинства. В своих фантастических романах, читавшихся мною в детстве, Уэллс научил меня не бояться никакой страшной сказки, теперь он честно показал, как реальная действительность может быть ужаснее любой выдуманной беды — просто потому, что она есть на самом деле. Но лучший (и самый любимый мною) роман о современной реальной жизни из написанных Уэллсом — «Тоно — Бэнге» — я прочел позднее.

Московскую архитектуру я досконально изучил уже в первый год пребывания в Москве: мы с отцом затеяли по воскресеньям гулять по Москве и ее окрестностям, заранее намечая определенный район и высматривая заключенные в нем архитектурные сокровища. Я руководствовался прекрасным планом Москвы, приложенным к изданной Сабашниковым книге «По Москве», на которой были указаны, окрашенные для каждого века другим цветом, все старые архитектурные памятники. В 1922 году они были все еще не тронутыми. Мне казалось (а может быть, так было в действительности), что я постигаю душу города, и надо сказать, что в то время душа у Москвы была много ярче и значительнее, чем стала через 70 лет. Я на всю жизнь запомнил памятники, исчезнувшие в ходе бесконечных бессмысленных разрушений особенно 30–х годов, и радуюсь, что многие сумели сохраниться. Я особенно люблю такие: церковь Вознесения в Коломенском, церкви Николы в Чудове, Успения на Покровке, Ивана Воина на Большой Якиманке, Меншикову башню, Пашков дом (Румянцевский музей), усадьбу Найденовых на Земляном валу, дом Гагариных на Садовой, Провиантские склады,

построенные Стасовым, да и ряд других зданий. Например, удивительную церковь в Дубровицах. В 1924 году я добавил к этому перечню ряд архитектурных сооружений Ленинграда, Царского Села и Петергофа, начиная с великих творений Захарова и Камерона. Я не знаю, прав ли я, думая, что можно запоминать город, а иногда и целую страну по нескольким архитектурным памятникам — вероятно, для личного душевного опыта этого достаточно. Когда я впервые был во Франции (в 1960 году), я сохранил некий самый основной образ целой страны в трех памятниках — это были готический собор в Шартре, Малый Трианон в Версале и Центр промышленности и техники на площади Дефанс в Париже, построенный в форме гиперболоида Бернаром Зеофюсом. Даже Рим, исхоженный мною вдоль и поперек, я воспринимаю не по памятника мантичной древности, холодным и мертвым, а по собору святого Петра и замечательным сооружениям Бернини и Борромини, создавшим облик современного Рима. Во второй приезд в Рим, в 1973 году, мы с Наташей жили в пансионе на авентинском холме и часто проходили мимо территории рыцарей Мальтийского ордена, на эту территорию никого не пускали, но в воротах было проделано маленькое круглое отверстие, в котором был виден вдали только купол собора святого Петра. Это было как бы квинтэссенцией всего Рима, все остальное казалось лишь приложением, дополнением к самому главному. Мы часто смотрели в это маленькое круглое отверстие, сразу напоминавшее, где мы находимся. Даже Нью — Йорк я представляю себе прежде всего по построенному Саариненом в виде готовой взлететь птицы аэровокзалу имени Джона Кеннеди, удивительному Гуггенгеймовскому музею — гениальному творению Фрэнка Ллойда Райта, да, может быть, еще Зданию Сиграм, созданному из розового стекла и бронзы Мис ван дер Роэ.

Художественные музеи Москвы, а потом и Ленинграда были тем миром, в котором жила моя душа (если она есть у человека — я-то в этом не сомневаюсь). ***Я*** бывал в Саратове в Радищевском музее, но был еще мал и запомнил его плохо. А здесь я прежде всего столкнулся с собраниями Щукина и Морозова, находившимися еще в своих первозданных местообитаниях в Большом Знаменском переулке и на Пречистенке. Они объединились только в 1927 году. В мир мировой живописи я вошел через творения импрессионистов, Сезанна, Ван Гога, Матисса, молодого Пикассо, потом уже переходя от них к более ранним временам. Должно быть, мне сразу была сделана надежная прививка от всякой академической рутины и неподвижности — я начал со свободного дыхания и полной

независимости от каких-либо абсолютных истин и вечных правил. Хотя ни у Щукина, ни у Морозова не было ни одной работы Эдуарда Мане, и я знал его до моих поездок в 1959–1963 годах в Англию, Францию и США по репродукциям в книгах, я понял, тщательно изучив щукинское и морозовское собрания, что именно Мане является центральной и определяющей фигурой художественной эпохи, представленной в этих собраниях — и одним из величайших и прекраснейших художников мирового искусства всех времен. Я мог с полным правом написать в 1930 году уехавшей отдыхать в Калужскую область своей жене Наташе: «Мой любимый художник — Эдуард Мане». Тогда, в двадцатые годы, мое глубокое восхищение вызвали Ренуар, Писсаро, Сислей, Дега, Сезанн, Ван Гог, Тулуз — Лотрек, «голубой» и «розовый» Пикассо, Марке, Майоль — к Клоду Моне, Гогену и Родену я уже тогда отнесся несколько настороженно, хотя лишь долго спустя мог ясно обосновать свое прохладное отношение к этим художникам. Я не все понял сразу — например, мне с первой встречи очень не понравился Анри Руссо, настолько, что я несколько лет проходил в щукинском особняке комнату Руссо, не глядя на стены, а в один прекрасный день остановился и посмотрел его как следует и проникся большим к нему уважением.

Музей изящных искусств (уже лишившийся посвящения Александру Третьему) я застал в том виде, в каком видел его в 1915 году, и возобновил свои прежние глубокие впечатления от мелкой древнеегипетской скульптуры («Раннаи», «Плывущая девушка» и др.), от греческой классики, от Микеланджело и Гужона. Но в 1924 году в Музей изящных искусств были переданы картины западных художников из Румянцевского музея, дополненные французскими картинами из собрания Сергея Михайловича Третьякова, замечательной коллекцией Д. И. Щукина и привезенными В. Н. Лазаревым из Ленинграда прекрасными картинами из дворцов Юсуповых, Шуваловых, Строгановых. Уже тогда моими любимыми картинами этого музея стали «Эсфирь» Рембрандта, «Натюрморт с головой Меркурия» Шардена, «Порыв ветра» Коро, «Портрет молодого Энгра» Давида, «Вид деревни Эгмонт» Якоба Райсдаля, но я еще не мог знать, что буду связан с этим музеем больше 50 лет своей жизни.

Мои познания в мировой живописи, конечно, сильно расширились в 1924 году после многократного хождения в Эрмитаж во время поездки в Ленинград с Шохором. Я застал коллекцию Эрмитажа еще в нетронутом виде, до ее разорения в начале тридцатых годов. Я до сих пор помню, что пленило мою душу тогда, впервые увиденное, но оставшееся навсегда:

«Мадонна Литта» Леонардо, «Юдифь» Джоджоне, «Паллада», «Возвращение блудного сына» Рембрандта, «Савояр» Арта де Гельдера, «Хозяйка и служанка» Питера де Хооха, «Актеры итальянской комедии» Ватто, «Карточный домик» Шардена, «Поцелуй украдкой» Фрагонара, «Амур и Венера» Рейнольдса, «Леди Бофор» Гейнсборо. Но я столько раз в жизни бывал в Ленинграде, что не могу сейчас точно определить время возникновения моих пристрастий.

Конечно, не меньшее впечатление произвел на меня Русский музей, в какой-то мере даже более острое, чем Третьяковская галерея. Помню то, что поразило меня сразу: «Портрет напольного гетмана» Никитина, «Нелидова» Левицкого, «Давыдов» Кипренского, «Спящий пастушок» Венецианова, «Рыбаки» Сороки, «Анкор, еще анкор!» Федотова, «Победоносцев» Репина, «Озеро» Левитана, «Покорение Сибири» Сурикова, «Дети» и «Ида Рубинштейн» Серова, «Мейерхольд» Бориса Григорьева.

Третьяковскую галерею я увидел в ее расцвете, в лучшей экспозиции из всех, какие в ней были, устроенной Н. Г. Машковцевым и А. М. Эфросом. Третьяковка только что получила огромные пополнения из разных частных коллекций, так что тогда были устроены зал Александра Бенуа, зал Сомова, зал Головина и т. д. Мои первые впечатления сложились навсегда: «Лопухина» Боровиковского, «Пушкин» Кипренского, «Терраса в Сорренто» Сильвестра Щедрина, «Осмотр старого дома» Крамского, «Меншиков в Березове» и «Смеющаяся девушка» Сурикова, «Петр Первый» и «Похищение Европы» Серова, «Сидящий Демон» Врубеля, «Сиверко» Остроухова, «За туалетом» Серебряковой. Из скульптур мне очень понравилась «Девушка с поднятыми руками» Коненкова и два высеченных из дерева портрета Голубкиной — Алексея Толстого и Ремизова.

Чтобы закончить рассказ о моих хождениях по музеям в первые годы моего пребывания в Москве, мне нужно назвать еще три художественных музея, тогда существовавшие, но уже в двадцатые годы расформированные, чьи коллекции были переданы Музею изящных искусств и Третьяковской галерее: Румянцевский музей, Музей иконописи и живописи (собрание И. С. Остроухова) и Музей живописной культуры.

В Румянцевском музее, который существовал до 1924 года, я почему-то не видел западную живопись, но на меня произвела глубокое впечатление большая картина Александра Иванова и еще большее — этюды к этой картине: «Голова Иоанна Крестителя», «Голова раба», «Мальчик в повороте ближайшего ко Христу», «Аппиева дорога», «Ветка» и другие. Я тогда уже почувствовал, что это более высокий ранг искусства, чем все

выставленное в Третьяковской галерее (там тогда еще не было древнерусской живописи), даже выше столь близких моему сердцу Серова и Сурикова. Но понял и то, что на такой высоте личные чувства неполноценны и даже незаконны, что это какое-то общее достояние, перед которым можно только с великим уважением преклоняться. Серов (как и Мане) — более «земные», выраженные ими мысли и чувства непосредственнее и легче находят адекватный отклик в душах простых смертных, полнее и глубже овладевают и подчиняют себе личное душевное состояние отдельного человека. «Похищение Европы» или «Бар в Фоли — Бержер» можно полностью и целиком воспринять как часть собственного душевного мира, как свою драгоценную собственность, чего нельзя сделать с Владимирской Богоматерью или Шартрским собором. Впрочем, способность проникать в личную душу человека, оставаясь на самых высоких высотах искусства, чудесным образом обладают великие создания древнегреческой классики пятого и четвертого веков — вплоть до «Ники Самофракийской» — и Микеланджело (чего нет у Леонардо).

Собрание И. С. Остроухова тронуло меня изысканным подбором произведений искусства, и особенно тем, что в нем была прекрасная работа Эдуарда Мане «Портрет Антонена Пруста» 1877 года. Хотя этот прелестный портрет не относится к числу самых главных и основополагающих творений Мане, в нем все же налицо все самые привлекательные качества искусства великого художника — нежная сердечность, тонкое обаяние, неугасимая и немеркнущая жизненная сила. Как-то раз придя в этот музей, я увидел самого Остроухова, но постеснялся подойти к нему и его приветствовать — он остался одним из немногих русских художников старшего поколения, с которым лично я не был знаком.

Музей живописной культуры помещался на первом этаже Строгановского училища на Рождественке. Это было собрание произведений мастеров русского «футуризма» (их тогда вовсе не называли «авангардом») — Малевича, Татлина, Альтмана, Шагала и других, а также художников из группы «Бубновый валет» и «Голубая роза» — Кончаловского, Лентулова, Петрова — Водкина, Павла Кузнецова, Сарьяна и других. Я с большим интересом смотрел эти работы, вполне подготовленный своим тщательным изучением Щукинского и Морозовского собраний новой французской живописи. Я не думал тогда, что со всеми этими художниками (за самыми редкими исключениями!) я буду знаком, а некоторые из них станут моими близкими друзьями на всю жизнь, как Татлин или Сарьян.

Еще одно художественное увлечение, относящееся к этому времени, сыграло важнейшую роль во всей моей дальнейшей жизни. Я чрезвычайно скоро проникся интересом к театру и стал бесконечно ходить на театральные представления тогдашних московских театров. Я видел все спектакли, какие тогда шли, Мейерхольда, Камерного театра, Третьей студии, превратившейся в Вахтанговский театр, и второго МХАТа, где тогда над всем царил Михаил Чехов, гениальный артист. Я видел его во всех ролях. И конечно, старый МХАТ, где тогда еще играли все старые артисты. Я видел Станиславского в роли Фамусова и Шуйского, и Качалова в разных ролях. Качалов — Репетилов, это одно из самых фантастических воспоминаний, какие могут быть. Буквально несколько фраз, которые произносит этот человек в последнем акте «Горя от ума», были сделаны с таким совершенным мастерством и необыкновенным изяществом, которое всегда было свойственно Качалову. Я тогда не мог и думать, что узнаю его самого лично, уже после войны. Чехова я видел и в роли Эрика XIV, и в совершенно удивительной роли Гамлета, и в роли Фрезера в «Потопе», и в роли Облеухова в инсценировке «Петербурга» Андрея Белого, и в Мальволио в «Двенадцатой ночи» Шекспира в двух разных вариантах: сначала он играл дряхлого старика с подогнутыми коленками, который просто комически контрастировал своей ветхостью со своими матримониальными наклонностями, а потом он его превратил в еще нестарого человека с огромным лысым лбом, с лихо закрученными усами, глупого, наглого, чрезвычайно делового, совсем непохожего на того старца, которого играл раньше.

А какой он был Хлестаков! Это вообще было нечто фантастическое. Он положил в основу исполнения, когда играл не во Втором МХАТе, как стала называться Первая студия Художественного театра, — он играл с каким-то случайным составом, но я других никого не помню, потому что он был всё. Он положил в основу слова самого Хлестакова: «Легкость в мыслях необычайная»; это был лейтмотив, который шел через весь спектакль. Его Хлестаков был поразителен своей непринужденностью, своим пылким воображением. Он искренне верил в то, что только что наврал, совершенно искренне, без всяких деловых соображений. Это был полный контраст тому, как играл в «Ревизоре» у Мейерхольда Гарин. Тот изображал какого-то мрачного, хищного делового персонажа в черных очках. Чеховский Хлестаков покорял всех именно абсолютной убежденностью в том, что он говорил, и в том, что он делал. Когда он начинал говорить, что к нему шлют тридцать тысяч курьеров, он произносил «тридцать», делал паузу, словно

соображал, что тридцать — это слишком мало, и выпаливал «тыщ» с таким восхищением и восторгом, что это, конечно, производило потрясающее впечатление на всех его слушавших.

Эрик XIV был один из самых трагических образов, так же, как и его Гамлет. Причем ведь у Чехова был хриплый голос, у него была совершенно как будто ни для чего не подходящая, очень некрасивая внешность. И тем не менее, это была какая-то магия перевоплощения.

Я потом с некоторыми артистами, с некоторыми режиссерами встречался в последующие годы уже более близко, когда мне пришлось три года читать лекции в театре Революции, а потом еще три года в театре Красной Армии, как он тогда назывался, но это уже другой период. А тогда я пленился Камерным театром, в особенности игрой Алисы Коонен, и Вахтанговским театром, потому что я видел «Турандот» в первой редакции, когда там играли Щукин, Рубен Симонов. Это было замечательно. Единственный театр, который я игнорировал с глубочайшим презрением, был Малый театр. Я пошел туда раза три и на этом прекратил туда хождение навсегда. И после этого был там только один — единственный раз, когда меня пригласила на свой спектакль Зеркалова где-то уже в конце сороковых годов, но это не изменило моего мнения. Правда, мне пришлось столкнуться с Малым театром и с его труппой, когда меня туда пригласили читать лекции в середине тридцатых годов, откуда я сбежал после третьей лекции. Но это было потом. А тогда Малый театр был уже совершенно выродившимся, насквозь фальшивым, ходульным, какой он и сейчас. Стиль Гоголевой и Царева царил там уже тогда.

Частые хождения в театр в первые годы пребывания в Москве очень расширили мой кругозор и заложили глубокую привязанность и любовь к этому роду искусства. Я видел «Дни Турбиных» во МХАТе, «Ревизора» и «Горе уму» в постановке Мейерхольда, «Жирофле — Жирофля» у Таирова, видел Орданскую и Якута в «Как вам это понравится». В 1928 году видел театр «Кабуки» с гениальным актером Садандзи. Видел, конечно, Уланову во всех ее ролях. Эти впечатления уже далеко выходят за пределы двадцатых годов, но многие даты исчезли из моей памяти, и я не вижу беды, что мои взаимоотношения с театром я излагаю здесь вместе. Завершились эти «взаимоотношения» в конце жизни тридцатилетней дружбой с Георгием Товстоноговым. Кроме того, близкая дружба с видными театральными художниками — Вильямсом, Пименовым, Фаворским, Ульяновым, Шифриным, Тышлером — непрестанно обогащала мои театральные впечатления, а в случае с Фаворским я даже оказался

«виновником» его приглашения оформить «Собаку на сене» у А. Попова.

Искусство кино я смог понять и оценить, только приехав в Москву. В Саратове в то время, пока я там жил, кино находилось в еще совершенно первобытном состоянии, и я им не интересовался. А в Москве я сразу увидел фильмы Чаплина «Парижанка», «Огни большого города», «Новые времена», первые фильмы Рене Клера, фильмы с Гретой Гарбо. Моим любимым фильмом первой половины двадцатых годов, который я смотрел несколько раз, был «Трус» Джемса Крюзе с прекрасными исполнителями главных ролей — Кюлленом Лэндисом и Мери Астор. Потом этот режиссер и его актеры больше не появлялись у нас — других его работ я не знаю. Но о своих впечатлениях от нашего и западного кино в течение моей жизни я расскажу позже.

Зенитом моих взаимоотношений с искусством кино стала в шестидесятых годах встреча и сложение добрых отношений с Федерико Феллини.

Я был вынужден в 1918 году бросить свое музыкальное училище, но музыку не забывал всю жизнь, чему в немалой степени способствовало то, что дядей и очень близким человеком моей жены Наташи был Александр Борисович Гольденвейзер. С 1934 года и до конца его жизни мы каждое лето жили вместе с ним на Николиной Горе, и я мог слушать его музыку каждый день с утра до вечера. Но я с самого приезда в Москву стал ходить на концерты наших и приезжих музыкантов, и не только великих дирижеров вроде Клемперера или Тосканини, но и блестящих учеников Консерватории — Гриши Гинзбурга, Лени Когана, Лялика Бермана, выраставших на моих глазах (вернее — ушах). Моим кумиром навсегда стал Бетховен, позднее к нему добавилось глубокое преклонение перед Бахом. Первое место всегда оставалось за немецкой (и австрийской) музыкой — от Гайдна и Моцарта до Вагнера. Всю жизнь я не решался писать о музыке, впервые решился в конце восьмидесятых годов в книге «Наследники мятежной вольности». Там я написал о Бетховене, Шуберте, Шумане и других композиторах первой половины XIX века. Читавшие мою рукопись и дававшие свое суждение о ней музыковеды Т. Н. Ливанова и Ю. В. Келдыш сказали: «Все правильно, только мало», — я прибавил некоторое количество собственных размышлений. Но прежде чем писать все, что написано о музыке в этой книге, я постарался возобновить в своей памяти слышанные в разное время произведения Бетховена и других нужных мне в данном случае композиторов. Я прослушал, неоднократно повторяя по два или три раза, пластинки с записью превосходного исполнения всех симфоний Бетховена и всех его

сонат, снова погрузившись в блаженное и благоговейное впитывание в свою душу любимых мною Героической и Девятой симфоний и семнадцатой, двадцатой и двадцать третьей сонат Бетховена. Впрочем, это, конечно, мой личный вкус, и можно из великого творчества этого удивительного человека выбирать по — иному.

Из своих самых поздних музыкальных впечатлений не могу не сказать о двух очень для меня дорогих. Первое — долголетняя дружба с замечательным, поистине блистательным музыковедом — Валентиной Джозефовной Конен. Она была сотрудницей того сектора классического искусства Запада в Институте истории искусств (потом переименованного в Институт искусствознания), которым я заведовал двадцать один год (с января 1967–го до сентября 1987 года). В том, что касается писания о музыке, я могу считать себя скромным последователем Валентины Джозефовны. Второе впечатление — то, что я как-то пригласил на заседание своего сектора одного из самых выдающихся музыкантов современности — Альфреда Гарриевича Шнитке, он принес магнитофонную запись своей оратории «Сцены из Фауста», мы прослушали ее, и я предложил повторить ее еще раз, что и было сделано. Это было во времена, когда Шнитке не был признан и повергался всяческим обидам, так что он, видимо, был тронут проявленным по отношению к нему вниманием и уважением, да и горячо выраженным восхищением его прекрасной музыкой. А я был тронут, когда он пришел в институт на мое восьмидесятилетие и принес в подарок мне запись его «Сцен из Фауста».

Университет

Отделение истории искусств Московского университета. Студенты и преподаватели. Некрасов. Бахрушин. Лазарев. Брунов

К 1925 году, после трех с половиной лет жизни в Москве, я уже так много знал об искусстве, что легко и свободно выдержал экзамен на отделение истории искусств Московского университета и был очень удивлен, когда мне официально сообщили, что для меня места нет. Я сказал об этом отцу, он страшно возмутился и пошел к Луначарскому. Луначарский написал записку в Университет, и место для меня сразу нашлось. Я подозреваю, что дело было только в том, что заполняя, как полагалось, анкету, я в графе «социальное происхождение» честно написал «дворянское», а это в 1925 году звучало, надо думать, совершенно одиозно. Так что тем, что я стал историком искусства и художественным критиком, я обязан Анатолию Васильевичу, за что прощаю ему его некоторые неудачные высказывания.

Отделение истории искусств Этнологического факультета существовало лишь второй год, старше моего курса был только один, второй. Отделение во многом только складывалось, поэтому ряд лекций мы слушали вместе со вторым курсом и по существу были неразлучны. На старшем курсе у меня были близкие друзья — Володя Иванов и Володя Чепелев, на этом курсе были и известные впоследствии Всеволод Павлов, египтолог, и Евгений Веймарн, археолог в Крыму. Чепелев был ярким и талантливым, озорным и причудливым, он умер молодым в эвакуации, в Средней Азии, успев напечатать лишь одну небольшую книжку об «античной стадии» в искусстве Средней Азии. С Володей Ивановым дружба сохранилась на всю жизнь, — он такой же старый, как и я. Виделись мы редко, но никогда не забывали друг о друге. Володя пришел на похороны моей жены в 1977 году и на мое восьмидесятилетие в 1985 году. Я видел его всегда веселым, приветливым и лукавым. На старости лет он возглавил фактически все работы по реставрации памятников старой русской архитектуры. Когда примерно в 1980 году мы с моей дочерью Машей были в селе Уборы недалеко от Николиной Горы, я очень огорчился, увидев, в каком убогом заброшенном состоянии находится знаменитая и удивительная «нарышкинская» церковь, стоящая в этом селе, — я тотчас же написал Володе об этом. Мне передавали, как он сказал, прочтя

мое письмо: «Андрей верен себе», — и немедленно послал в Уборы реставраторов; они привели церковь в полный порядок, даже проложили к ней асфальтовое шоссе, чтобы возить туда туристов.

С Павловым и с Евгением Веймарном добрые отношения сохранились надолго: Павлов с начала тридцатых годов стал заведовать древневосточным отделом Музея изобразительных искусств, так что мы виделись постоянно; он подарил мне свою (первую в советскую эпоху) книгу о древнем египетском искусстве. Евгений Веймарн жил в Бахчисарае, в Крыму, и мне ярко запомнилось мое посещение его в середине 50–х годов: мы с Борисом Веймарном, младшим братом Жени Веймарна, возвращались вместе в Москву из Гурзуфа, и Борис предложил мне по дороге завернуть в Бахчисарай. А Женя предложил мне посмотреть только что случившуюся сенсационную археологическую находку поблизости от Бахчисарая: скелет неандертальского мальчика. Мы отправились в рощу, где он лежал. И увидели сидящего рядом с ним на траве археолога — реставратора Герасимова, толстого, волосатого, гораздо больше похожего на неандертальца, чем маленький и даже изящный мальчик.

На моем курсе близкими мне людьми были Наташа Гершензон — моя будущая жена, Наташа Гурвич, дочь известного профессора — биолога А. Г. Гурвича, Жанна Каганская — старше нас, яркая, экспансивная, Шура Журов, молчаливый, застенчивый, ставший после окончания отделения истории искусств учеником В. А. Фаворского и прекрасным гравером; Давид Лебит и Женя Кронман.

Профессорский состав был на редкость разный и неровный. Деканом отделения был Алексей Некрасов, читавший историю древнерусской архитектуры, худой, нескладный, угловатый, с торчащими усами, необычайно восторженный знаток своего любимого дела. Он читал лекции очень пылко и увлеченно и давал точные и исчерпывающие знания о том, что он нам показывал. А показывал он не диапозитивы, а самые памятники, возил нас и в Коломенское, и в Дубровицы, и в Ростов Великий, где мы слушали удивительные по красоте «ростовские звоны». Язык у него был очень причудливый, но весьма выразительный: «Посмотрите, какой там пупырь вытарчивает!»

Искусство Востока читал Борис Петрович Денике. Он был веселый доброжелательный человек, держался со студентами на равных, участвовал в устраивавшихся студентами вечеринках, где прекрасно танцевал. Мы его очень любили. Но лекции он читал не слишком совершенно. Он приносил очень хорошие и

интересные диапозитивы, которые всегда показывал я, но лекция часто сводилась к весьма лаконическим и малосодержательным суждениям. Скажем, лекция посвящена персидской миниатюре. Он говорит мне: «Пожалуйста, следующий. Вот вы видите тут довольно маленькие слоны, на которых едут довольно большие персы. Пожалуйста, следующий». Все же он сохранил о себе добрую память. Он подарил мне, когда я был еще студентом, свою книгу о японской гравюре.

Русскую историю превосходно читал Сергей Владимирович Бахрушин. Это было подлинно высоконаучное изложение, умное, яркое, оригинальное. Он выучил меня по- настоящему серьезно обращаться с историческими источниками. Раз он задал мне сочинение о серии документов семнадцатого века, я отнесся к делу легкомысленно, написал нечто очень общее, что уместилось у меня на одной странице. Бахрушин сердито забраковал такое сочинение и подробно объяснил мне, как нужно приниматься за анализ источников. Я написал очень тщательно и внимательно сделанный разбор предложенных мне документов и заслужил добрую похвалу от Бахрушина. Этот урок я не забыл никогда. А Бахрушин вполне справедливо вскоре был избран в Академию Наук.

Игорь Эммануилович Грабарь читал нам курс реставрации. Читал он плохо — это были сплошные «Эээ…» и «Меее…», но показывал он вещи удивительные. В реставрационной мастерской Третьяковской галереи он показал нам только что раскрытые древнерусские иконы: «Владимирскую Богоматерь», «Спаса Нерукотворного», «Троицу» Рублева, «Преображение» Феофана Грека, «Ангела» — того, что ныне в Русском музее в Петербурге. Впечатление от этих сокровищ было не поразительное, а потрясающее — ведь тогда впервые открылось в истории русской художественной культуры нечто, равное по величию и силе искусству Древней Греции или итальянскому Высокому Возрождению. С Грабарем мне потом пришлось встречаться всю мою жизнь, и кое в чем он сыграл в моей жизни важную роль, хотя человек он был неверный и слишком самоуверенный. Но об этом — позже.

Социологию искусства читал Фриче — «отец» советской вульгарной социологии. Уже тогда было в ходу выражение «фричёванная литература». Но я решительно не могу вспомнить, как он нам читал. Помню лишь один эпизод: когда я сдавал ему зачет, он предложил мне рассказать о каком-нибудь русском художнике. Я выбрал Сурикова и доложил Фриче восторженный дифирамб о моем любимом художнике, в котором (в этом дифирамбе) не было ни тени какой-либо социологии. Фриче

улыбнулся, поставил мне зачет и только сказал: «Вы очень любите Сурикова». А я действительно доказал печатно, как люблю этого прекрасного художника. В самом начале 1937 года в Третьяковской галерее была устроена выставка Сурикова, и так как незадолго до того вышла книга о Сурикове А. Михайлова, погромно — социологическая, то и каталог, выпущенный галереей, был выдержан в таком же мрачно негативном тоне. Меня очень возмутили эти покушения на честь и достоинство Сурикова, и я напечатал о нем статью, в которой попытался высказать свое мнение о достоинстве и красоте суриковского искусства и дал резкую отповедь Михайлову и каталогу, сочиненному галереей. Моя статья сыграла немаловажную роль — это было одно из первых открытых выступлений против вульгарной социологии, заполонившей литературоведение и художественную критику. В галерее моя статья вызвала великое негодование, два дня длилось ее обсуждение, и на меня собирались писать бурный протест. Но через неделю после моей статьи появилась хвалебная статья о Сурикове в «Правде», и Третьяковке пришлось «пришипиться»: афиша, приглашавшая на выставку Сурикова, говорила о «выставке известного русского исторического живописца», а билет на обсуждение выставки говорил уже о «выставке великого русского художника Сурикова».

Я крайне редко в своей жизни писал о старом (дореволюционном) русском искусстве, но эту статью о Сурикове люблю и перепечатал ее в своем сборнике статей о советском искусстве, вышедшем в 1984 году.

Два профессора были очень неприятны и пользовались дружной антипатией студентов — Алексей Алексеевич Сидоров и Михаил Исаакович Фабрикант. Сидоров представился нам как ученый секретарь Государственной академии художественных наук (ГАХН), сказал, что в этой академии он занимается оккультными науками и пишет фундаментальный труд — «Историю русской порнографии». Надо сказать, что мне этот человек с первой сказанной им фразы резко не понравился, и я не ошибся в своем мнении о нем. На первом курсе он читал нам искусство Древнего мира, читал в Музее изящных искусств, и читал крайне манерно и с порядочной дозой прямой пошлости. Поэтому, когда мы перешли на второй курс и узнали, что об искусстве Возрождения в Италии будет читать Сидоров, мы тотчас установили принудительную очередь, чтобы на лекции было хотя бы три — четыре человека. А на третьем курсе просто отказались его слушать, и его лекции не состоялись.

Фабрикант был очень глуп и читал отвратительно. Читал он о северном Возрождении, невероятно нудно и примитивно.

Остроумный Всеволод Павлов очень точно определил сущность этого бездарного и противного человека: «Михаил Исаакович — воплощенное диалектическое противоречие — он как бы есть и его как бы и нет». О позднейшей встрече с Фабрикантом — позже. На его лекции, из вежливости, ходили тоже три — четыре человека в порядке принудительной очереди.

Уже когда я был на четвертом курсе Отделения истории искусств, появились два новых профессора — Иван Людвигович Маца и Алексей Алексеевич Федоров — Давыдов, но я их лекций уже не слушал. Оба они были тогда одержимы вульгарной социологией в самой крайней и абсурдной ее степени. Впоследствии они совсем от нее отошли и очень сильно изменились. После войны у меня установились с ними обоими очень добрые отношения.

Высокая репутация Отделения истории искусств держалась тогда не на профессорах, а на доцентах. Их было четверо: Виктор Никитич Лазарев, Николай Иванович Брунов, Михаил Владимирович Алпатов и Герман Васильевич Жидков. Особенно значительны были Лазарев и Брунов. Виктор Никитич вел семинар по итальянскому искусству эпохи Возрождения, вел его в Музее изящных искусств, на редкость ярко и увлекательно. Я до сих пор помню его первое появление перед нами, сразу всех нас обворожившее. Его лекции отличались не только высокой ученостью, но и очень увлекательной оригинальностью и самобытностью, он преподносил нам великих художников Возрождения как живых людей во всем их человеческом своеобразии и значении — по правде говоря, если не считать Бахрушина, до Лазарева мы не слышали подлинно высокого научного профессионализма в его самой действенной, новой, современной форме. Я целиком обязан своей научной карьерой Лазареву, являюсь его преданным учеником и всю жизнь старался достигнуть такого же высокого уровня настоящей, высоко содержательной и свободно индивидуальной науки.

Не хуже Лазарева читал об архитектуре в мировом искусстве Брунов. В отличие от других известных мне архитектуроведов, он показывал архитектуру не с точки зрения строительства, чисто технической конструкции, а раскрывал духовное и философское содержание архитектуры, ее значение как одного из самых мощных выражений поступательного хода развития человеческого сознания. Я никогда (точнее, до самого последнего времени) не писал об архитектуре, но лекции Брунова глубоко запали в мою душу.

Период моей жизни с конца 1926 года до начала 1938–го, особенно после середины 1929–го, был переполнен множеством

замечательных и важных событий, так что в конечном счете я могу только с благодарностью вспоминать столь счастливую судьбу. Но начало этого времени, с конца 1926 года до начала 1929–го, было окрашено в гораздо большей степени тяжелыми огорчениями, а не радостями. Общим «фоном» моей жизни в эти, к счастью, не слишком долгие годы, были жизненные сложности моего отца. Тогда ни я, ни мой отец не могли знать, что большинство наших бед было связано с начавшимся радикальным изменением всей исторической, политической, общественной, даже просто психологической обстановки, с началом и завершением ленинской экономической политики, со все более убыстряющимся переходом к сталинской диктатуре и «командно — административной» системе.

Конечно, не все было связано непосредственно с политикой (как получилось у отца), но дурные перемены проникали во все сферы жизни, никого не спрашивая. С каждым годом стало становиться все труднее и неприятнее в Московском университете. О том, какие там читались лекции — хорошие или плохие, талантливые или бездарные, — я уже рассказал. Дело было не в них, они менялись мало. Но все большее место в студенческой жизни стал занимать организованный мною раньше научно — исследовательский кружок. Я был его секретарем, но возможность направлять его деятельность стала уходить из моих рук, и по чисто политическим причинам. Кружок, в котором участвовали студенты всех курсов — от первого до четвертого, стал стремительно превращаться в арену политических свар, в которые погружались наиболее ретивые («активные», как они сами себя называли) комсомольцы — Лебит, Кронман, Борис Веймарн, Экк, Бандалин, Недошивин, Кеменов и другие. Ссоры становились все резче. Ни к чему хорошему это привести не могло. Наступило время, когда всюду разыскивали (и находили!) врагов народа, троцкистов, оппозиционеров всех сортов и т. д. В начале 1929 года, всего за несколько месяцев до окончания университета, был неожиданно арестован и сослан один из самых «бурных и пламенных» комсомольцев, честнейший и безобиднейший Давид Лебит. Он был обвинен, как я узнал от «самых активных» комсомольцев, в «откровенном и самом зловредном троцкизме».

Лебит вернулся в Москву через двадцать пять лет, в 1954 году, после бесконечных скитаний по лагерям, а потом в ссылке в Сибири и в Средней Азии. Его пригласили в КГБ, извинились, что произошла ошибка, и показали документы его «дела»: оказалось, что он в 1929 году был арестован по доносу тогдашнего секретаря комсомольской организации Германа Недошивина. С помощью В.

Н. Лазарева и В. Ф. Левинсона — Лессинга мне удалось устроить, чтобы Лебита приняли на последний курс Отделения истории искусств Ленинградского университета — у него ведь не было законченного высшего образования. Окончив университет, он погрузился в упорную, всепоглощающую работу над избранной им научной темой. Но, видимо, лагеря и ссылка погубили в нем способность к научному анализу и обобщению: сколько он ни трудился, без конца переделывая и вновь начиная свои изыскания, он так и не сумел за всю свою оставшуюся долгую жизнь напечатать ни одной сколько-нибудь значительной статьи.

Воображаемому лебитовскому «троцкизму» была грош цена. Давид рассказал мне, что когда он ехал в свой первый путь в лагерь, с ним вместе ехал крестьянин. Давид спросил его, за что его взяли, тот ответил: «Да за троцкезу какую-то!» Давидовская «троцкеза» была нисколько не более определенной.

Я тут же прекратил собрания «научно — исследовательского кружка». Не знаю, куда «активные» комсомольцы перенесли свои столкновения и ссоры. Только адрес очередных доносов остался, очевидно, прежний. В скором времени судьба, подобная лебитовской, постигла Женю Кронмана — не помню, еще в пределах университета или после его окончания, но с тем же составом участников спектакля. Кронман появился на несколько дней в Москве в короткий либеральный период непосредственно за окончанием войны, но весь остаток своей жизни вынужден был провести в Нижнем Тагиле, работал сотрудником тагильского музея, почти вне всякой связи с наукой об искусстве.

В последний год (или, точнее, сезон) моего пребывания в Московском университете произошли еще два — совсем мелких — события, однако оставившие тяжелый и неприятный осадок в моей душе. В 1928/1929 учебном году стал читать (вероятно, прекрасно!) курс лекций по истории эстетических учений В. Асмус. Совершенно не помню, по каким причинам я не стал слушать его лекции. Но в самом конце четвертого курса неожиданно (для меня) выяснилось, что нужно сдать экзамен по эстетике. И я сдал экзамен Асмусу — позорно плохо. С тех пор прошел уже 61 год, а мне до сих пор очень стыдно! Я постарался искупить свое прегрешение (без ведома Асмуса) изобильным чтением в дальнейшие годы книг по эстетике, но чувствую себя глубоко перед ним виноватым, по существу, ни за что ни про что его оскорбившим. Надеюсь, что сам Асмус об этом не помнит!

Другое событие было много противнее и хуже. Я мог бы быть горд, что меня решили оставить при университете «для подготовки к профессорскому званию», как это тогда называлось (аспирантура и защита диссертации тогда не существовали).

Отзыв обо мне сами вызвались написать два профессора — Бакушинский и Сидоров. Но когда я пришел за отзывом к Бакушинскому, он мне весело сказал: «Знаете что? Напишите сами этот отзыв, а я его подпишу!» Мне не захотелось пользоваться услугами такой фальшивки, я повернулся и ушел. С А. А. Сидоровым получилось много неприятнее. Он сам написал мне длинный отзыв на четырех или пяти страницах. Отзыв начинался совершенно неумеренными дифирамбами по моему адресу, из них следовало, что я так учен, что меня незачем готовить в профессора, а надо прямо выбирать в академики Академии Наук! Дифирамбы занимали полстраницы, а далее следовало нечто в совсем ином роде: что я — явный притаившийся враг народа, человек, склонный к весьма сомнительным и опасным размышлениям и поступкам, сознательно извращающий самые основы марксистской теории и пр., и пр., и что меня надо не готовить в профессора, а немедленно хватать за шиворот и отправлять куда-нибудь подальше, в места «не столь отдаленные» (или, вернее, вовсе не в «не столь», а в очень отдаленные). Я нисколько не утрирую «отзыв» Сидорова — он был написан гораздо затейливее и казуистичнее, но и гораздо гаже. Не понимаю, на что он рассчитывал, давая мне прочесть этот откровенный политический донос. Но он мне очень любезно сказал, что сам пошлет свой прекрасный отзыв куда следует. Я с некоторым трудом сумел «перехватить» это милое сочинение, но не ведаю, не послал ли Сидоров «куда следует» копию своего доноса. Университетское начальство он, во всяком случае, известил: вдруг прекратились все разговоры о моей «подготовке к профессорскому званию», словно их вовсе и не было. И никто к ним больше не возвращался.

Я покидал университет с недобрым чувством. Дипломных работ тогда не требовалось, я получил удостоверение о благополучном окончании учения с «направлением на музейную работу». Этой последней заботы мне совсем не было нужно — я и так давно уже был музейным работником.

В четырехлетием и в большей своей части достаточно бесполезном пребывании в Московском университете была, все же, заключена одна, но с огромным для меня значением, подлинная и глубокая радость, далеко перекрывавшая все кругом, все остальное. Это была встреча с моей будущей женой — Наташей Гершензон, дочерью философа, историка и пушкиниста Михаила Осиповича Гершензона. Уже на первом курсе, осенью 1925 года, я обратил на нее особенно пристальное внимание, несомненно под влиянием глубоко запавшего мне в душу сильнейшего впечатления от происшедшей, совершенно случайно

и неожиданно, встречи год за год перед тем, в 1924 году, с М. О. Гершензоном (я уже рассказал о нем) — когда я в первый и единственный раз в моей жизни видел и слышал его и был потрясен мудростью его речи и поистине вулканическим его темпераментом. Я сразу заметил, что Наташа очень похожа на своего отца. Она действительно полностью унаследовала два основных качества его душевного строя: редкостный, блистательный талант ученого — и очень тяжелый и трудный характер, каждоминутное возбуждение, болезненную нервозность — ведь М. О. всю жизнь (как я потом узнал) мучил крайней нервозностью свою кроткую и безответную жену Марию Борисовну, сестру прославленного пианиста Александра Борисовича Гольденвейзера.

На первых курсах университета я не только присматривался и с каждым месяцем все более привязывался к Наташе, но в конце концов полюбил ее глубоко, искренне и абсолютно бескорыстно, нисколько ей не навязываясь и сколь возможно деликатнее скрывая свое отношение. Ведь такое чувство было впервые в моей жизни! Но ответного чувства я дождался не скоро. Не возражая сколько-нибудь против моего дружеского внимания, она долгое время только мучила и дразнила меня, иногда довольно зло и жестоко надо мной смеялась. Как-то раз я зачем-то вздумал показать Наташе свои школьные табели со сплошными пятерками — не имея среднего образования, я очень дорожил этими табелями и берег их как доброе воспоминание о своем, казавшемся теперь бесконечно далеком, детстве. Но Наташа подняла меня на смех, сказала, что хвастаться мне нечем, что, конечно, я был пай — мальчиком и примерным «первым учеником» и т. д., — с какой-то недоброй усмешкой. Я разорвал в клочки эти табели и выбросил, о чем до сих пор жалею. Но я просто не мог тогда понимать главного: что Наташе вовсе не хотелось впускать в свой внутренний мир никого постороннего.

Я лишь много позже узнал, что она свое глубокое, единственное, раз в жизни, чувство давно полностью истратила, в свои тринадцать — четырнадцать лет, на молодого человека много старше нее; его звали Олег Поль, он был в годы Гражданской войны, разрухи и голода в той же детской колонии, в которой была и Наташа. Он, видимо, не ответил на ее чувство, ушел в монахи, стал отшельником в Кавказских горах. В годы гонения на религию, 1926–м или 1927–м, он был арестован с другими отшельниками и по неправедному суду расстрелян. Память об Олеге Наташа хранила как величайшую драгоценность всю свою жизнь; за месяц до своего семидесятилетия, в 1977 году, умирая от рака, она попросила положить ей в гроб фотографию

Олега — единственную, какая у нее была.

Я со всеми своими чувствами был ей совершенно не нужен.

Мое отношение к Наташе, сколько бы я ни пытался его скрыть, было, вероятно, ясно любопытствующим взорам посторонних, и это могло Наташу только раздражать. А мне расстаться со своим отношением к Наташе стало уже совершенно невозможно. Переносить сложившуюся ситуацию было тяжело. Особенно в те трудные 1927–1928 годы, когда так плохо, напряженно и, как казалось, совершенно беспросветно было дома. Я стал мрачным. А у Наташи настроение, словно в подражание ее отцу, менялось чуть ли не ежеминутно. Я, во всяком случае, не был способен уследить за его переменами и только впадал в тоску и безнадежность.

Своей кульминации неясное и непонятное мне поведение Наташи достигло летом 1928 года, когда ей было двадцать лет. Она уехала на месяц в Киев. Я стал писать ей чуть ли не каждый день, редко пропуская какое-то короткое время, опасаясь, как бы не надоесть слишком большим обилием писем. Наташа отвечала регулярно, но постепенно письма стали приходить реже, а главное, стали какими-то равнодушными и небрежными. И наконец где-то посередине ее пребывания в отъезде, когда я только собирался написать подробное письмо о виденном мною накануне и очень меня поразившем спектакле японского театра «Кабуки», приехавшего в Москву на гастроли, — вдруг пришло из Киева не письмо, а небрежная записка из нескольких, совсем немногих фраз, явно «для отписки», холодная и безразличная, явно свидетельствовшая о том, что мысли Наташи заняты чем-то от меня отдаленным. Письмо о театре «Кабуки» написано не было, и я вообще решил больше ничего не писать. А Наташа до своего возвращения в Москву не подумала, почему это я вдруг перестал писать, и сама перестала писать тоже.

Лишь потом (не помню от кого) я узнал, что Наташа встретилась в Киеве с тамошним студентом и развела с ним головокружительно — стремительный роман, и так этим увлеклась, что позабыла обо всем на свете, в том числе и обо мне. Не знаю, что на нее нашло: этот студент ни в каких отношениях не был сколько-нибудь интереснее и завлекательнее меня, — я вовсе не впадал тут в какое-то излишнее самомнение, а просто, познакомившись с этим человеком в скором времени, обнаружил, что он очень глуп, обладает самым наивным и примитивным эгоизмом и из- за этого совсем ребяческого эгоизма ничего кругом не видит и ничего не соображает. Застав меня, по приезде в Москву, в очень подавленном душевном состоянии, Наташа была озадачена, а потом, должно быть, поняла, что несколько

перехватила в небрежности и нашедшем на нее легкомыслии — и стала как-то сразу менять свое отношение ко мне и свое обращение со мною. Возможно, она впервые осознала по — настоящему, что мое отношение к ней — дело серьезное, что с ним нельзя играть, нельзя воспринимать его ни пренебрежительно, ни легкомысленно… Не знаю.

Знаю только, что никогда в жизни не видел от Наташи такого внимания и ласки, как в эту зиму 1928/1929 года.

В эту зиму она впервые стала приходить ко мне на квартиру моих родителей — и очень им понравилась.

Я раньше стал приходить к Наташе в Плотников переулок, обычно по вечерам. И всякий раз решительно отказывался от ужина и любого другого угощения — под какими попало предлогами. Наташа очень долго удивлялась, как это я могу так воздерживаться от всякой еды, впрочем, после нашей свадьбы, она удивилась не меньше, увидев, что я вполне способен питаться ровно так же, как следует всем нормальным людям. А я знал, что Мария Борисовна получает ничтожно маленькую пенсию, что они с Наташей ведут почти нищенский образ жизни, что для Марии Борисовны имеет существенное значение даже самый малый кусок черного хлеба. А я ничего не мог принести с собой — у меня не было ни копейки денег, а мои случайные заработки вроде исполнения (по редким заказам) чертежей и диаграмм приносили более чем скромные результаты.

Только в надежде на какой-то скромный будущий заработок мы с Наташей осенью 1927 года решили попробовать как-то ближе связать свою судьбу с Музеем изобразительных искусств. Мы бывали там часто и уже не первый год на разных лекциях и семинарах, проводившихся не в университете, а в музее, и я и Наташа хотели в дальнейшем заниматься именно искусством Запада, и вполне резонно полагали, что если какой-то срок проработаем в музее даже бесплатно, и конечно, если окажемся годными для музейной работы, то нас скорее и возьмут на постоянную работу. Мы нисколько не ошиблись.

Музей 30–х годов

Музей изобразительных искусств. Люди, с которыми А.Ч. встретился в музее, история музея на протяжении 1930-х годов: «парад» директоров. Работа в Гравюрном кабинете. Люди «Гравюрного»

Первого сентября 1927 года, когда мы перешли на третий курс, мы явились в Музей изобразительных искусств к его директору Николаю Ильичу Романову — просить его взять нас на бесплатную, но постоянную работу в качестве научных сотрудников. Наташа смущалась и боялась, пряталась за мою спину, вести разговор с Н. И. пришлось мне одному. Николай Ильич был очень добрым человеком, к тому же был добрым знакомым отца Наташи, на нашу весьма скромную просьбу он откликнулся вполне благожелательно. Потом я узнал, что против этого резко возражал его заместитель — Абрам Маркович Эфрос, почему — не знаю. В те времена, вплоть до 1933 года, я с Эфросом ни разу не встречался, даже и в музее.

Таким образом, до окончания университета мы целых два года проработали в музее — усердно, честно и бесплатно. Стали работать в голландско — фламандском отделе галереи под началом прелестного человека — Веры Дмитриевны Загоскиной. Она поручала нам всякую «черную» работу — например, скучнейшую подборку рам к неодетым в рамы картинам, но мы с самого начала все время участвовали в научной и экспозиционной работе. Что касается музея в целом — нам пришлось водить очень много экскурсий, далеко не только по голландской и фламандской живописи. Сквозные экскурсии по всему музею («от бизона до Барбизона», как они в шутку назывались) были особенно трудными. Научились мы этому не сразу: Наташа рассказывала, что первую такую экскурсию она самым необыкновенным образом ухитрилась провести за пятнадцать минут! Мне часто приходилось проводить три экскурсии за день — это было очень утомительно, но такой опыт чрезвычайно пошел мне на пользу в моей более чем тридцатилетней педагогической работе.

Картинной галереей заведовал Виктор Никитич Лазарев, в семинаре которого по истории искусства Возрождения в Италии мы участвовали на втором курсе и который произвел на нас самое глубокое впечатление. Каждодневные встречи с ним в музее, а потом сближение с ним, сделавшее нас обоих верными и

преданными учениками В.Н., были, конечно, одним из важнейших событий как моей жизни, так и Наташиной. Он был не только ярко талантливым ученым, очень скоро занявшим первое место в советской науке об искусстве Запада и Древней Руси, но и обаятельнейшим человеком, покорявшим всех, кто близко его узнавал, своей жизнеутверждающей энергией, остротой ума, глубокой самобытностью и оригинальностью мышления, да и своей склонностью к шутке, к прямому озорству. Как научный руководитель, он был необычайно требователен и суров, не допуская ни малейшей поверхностности и пустой болтовни, никакой невнимательности к источникам, к реальным фактам истории, что с необыкновенной легкостью допускалось многими учеными разных стран того времени, особенно приверженцами вошедшей тогда в моду вульгарной социологии. Всей своей деятельностью Виктор Никитич представлял высший класс Науки в самом высоком смысле этого слова.

Он никогда не навязывал своих личных пристрастий и вкусов, предоставляя каждому из нас право на собственный вкус и выбор. Я думаю, что важнейшим и решающим фактором в определении моего личного пути в науке об искусстве был мой переход из голландско — фламандского отдела картинной галереи музея во французский и вообще мое обращение к искусству Франции, а потом Англии и Америки XVIII-XX веков. Должен с благодарностью отметить, что первой побудительной причиной стало здесь прочтение одной статьи Нины Викторовны Яворской о французской живописи XIX века, которая осталась одним из главных, основных предметов моих научных интересов (хотя с Н. В. Яворской уже в середине 30–х годов я бесконечно далеко разошелся в своей оценке французских мастеров XIX века). Наташа осталась в голландско — фламандском отделе до конца своего пребывания в музее — до 1940 года. Но во французском отделе я встретился с совсем иной ситуацией. Сотрудницами французского отдела были очень разные, но равно яркие и незаурядные Вера Николаевна Вольская — красивая, гордая, но милая и привлекательная, ставшая в скором времени женой В. Н. Лазарева и ближайшей подругой Наташи, — и Анна Николаевна Замятина, умная, язвительная, на редкость остроумная, порядочная бездельница (впоследствии ее характер очень испортился, но до этого было еще далеко). Но, к сожалению, заведовала отделом очень неприятная особа — Е. В.Гольдингер, довольно бесталанная художница, ни к какой науке об искусстве абсолютно не причастная, а главное — очень злой и непорядочный человек и совсем никуда не годный руководитель. Не удивительно, что у нас троих (то есть у меня, В. Н.Вольской и

А. Н. Замятиной) сразу образовался единый фронт против нашего начальства, полное с Гольдингер несогласие и расхождение во всех делах, что не украшало ежедневную обстановку в отделе. Виктор Никитич, видимо, не сразу разобрался в полном ее научном невежестве, придя в негодование, когда в этом убедился.

Третьим отделом галереи, итальянским, ведал Дмитрий Иванович Щукин, замечательный коллекционер, чья прекрасная коллекция картин итальянских, голландских и французских мастеров была одним из украшений галереи Музея изобразительных искусств, человек, отличавшийся отменным вкусом и знаниями. Его сотрудницей была милейшая Мария Зармайровна Мсерианц, экспансивная, восторженная, влюбленная в Виктора Никитича армянка, много старше нас, бывшая секретарем всей картинной галереи. С ней у нас с Наташей быстро установились самые сердечные отношения.

Музей переживал тогда свои первые, ранние, начальные годы радикально преображенного состояния. В 1924 году произошла решительная реорганизация московских художественных музеев. Прежний музей изящных искусств имени Александра III, созданный профессором Цветаевым и хранивший собранную им превосходную коллекцию гипсовых слепков с произведений античной, средневековой и ренессансной скульптуры и задуманный основателем музея как учебное пособие для университетских лекций, фактически прекратил свое первоначальное бытие, так как был превращен в центральный столичный московский музей подлинников средиземноморского и западноевропейского искусства — от додинастического Египта до середины XIX века в разных странах Европы. Собранная Голенищевым замечательная коллекция подлинников древнеегипетского искусства, находившаяся в музее (в противоречии с его основной чисто копийной коллекцией), теперь органически вошла в состав нового художественного музея как прекрасное начало широко развернувшейся перспективы мирового художественного развития. В Музей изобразительных искусств были переданы западные картины из ликвидированного Румянцевского музея (в том числе «Эсфирь» Рембрандта), французские картины XIX века, собранные Сергеем Михайловичем Третьяковым, западные картины из собраний Д. Щукина и И. Остроухова, множество картин из национализированных коллекций богатых людей, эмигрировавших за границу. Когда в Ленинграде были закрыты дворцы — музеи Юсуповых, Строгановых, Шуваловых, Н. И.Романов послал в Ленинград Виктора Никитича Лазарева, и тот сумел получить для московского музея множество первоклассных

произведений крупнейших художников Запада, находившихся в этих аристократических собраниях. Он же в самом начале тридцатых годов получил из Эрмитажа ряд шедевров великих мастеров Запада (отданных Эрмитажем в обмен на ряд прекрасных картин московского музея нового западного искусства). С помощью обменов В. Н. смог получить из провинциальных музеев такие замечательные картины, как «Рынок в порту» Эммануэла де Витте или «Пейзаж в Фонтенбло» Монтичелли (из Радищевского музея в Саратове).

В. Н. Лазарев стал подлинным создателем картинной галереи музея изобразительных искусств имени А. С.Пушкина. Я особенно подчеркиваю это, потому что через полвека, в середине 70–х годов, мне жестоко попало от Виктора Никитича именно за публично высказанное суждение о его огромной, решающей роли в ранней истории музея.

Виктор Никитич был очень демократичен, он не переносил никакого чинопочитания, хотя бы искренней почтительности по отношению к нему. Он словно нарочно разрушал всякое представление о нем как некоем мэтре, лишь нисходящем до внимания к простым смертным. Помню картину, которую видел сам: В. Н. не идет, а стремительно несется по французским залам (они находились там, где теперь вывешены ранние итальянцы), легко перепрыгивая одну за другой длинные мягкие скамейки, поставленные поперек всей середины длинного французского зала для отдыха посетителей, а за ним бежит, аккуратно обходя скамейки, целый «хвост» дам — Наташа, Вера Николаевна, Мария Зармариевна, еще кто-то.

А еще помню, как он дразнит, высмеивает своих учениц, именуя их «дырками от бублика», и вслед за этим очень торжественно, в высшей степени «академически», даже чопорно принимает знаменитого немецкого ученого, величественно представляя ему Наташу и Веру Николаевну как meine Assistenten.

Скучно в музее (мне, по крайней мере) никогда не было. Я подходил к работе в музее с увлечением — это относилось даже к подбору, вместе с Наташей, пыльных рам в подвале — самому нудному и душетомительному занятию, когда-либо придуманному человеком, — когда Вера Дмитриевна посылала нас заниматься этим скучнейшим делом — считая (как она говорила, не нам, конечно), что «им скучно там не будет».

И в голландском, и во французском отделах я особенно любил заниматься существенно важным и строго научным делом: атрибуцией анонимных, неведомо кем сделанных картин. Я запомнил два таких занятных определения. В запаснике голландской живописи была очень курьезная причудливая

картина какого-то неведомого мастера — маньериста самого начала XVII века — «Пейзаж с большим деревом». Я нашел на нем ловко спрятанную монограмму JvG и с помощью словаря Вурцбаха выяснил, что картину эту написал некий никому в музее не ведомый Якоб ван Геель, вернув этого художника из небытия. Вера Дмитриевна очень удивилась моему открытию и, вероятно от удивления, забыла отметить имя художника в инвентарной книге. Картину пришлось открыть вторично какому-то приезжему иностранному специалисту, монограммы не заметившему, и бедный Якоб ван Геель после полувековой дремоты в запаснике был удостоен чести быть вывешенным в голландском зале. Другая моя необычайная атрибуция относилась к красивой картине XVIII века «Туалет Венеры» из коллекции Д. И. Щукина, называвшейся у него «школой Буше». С помощью репродукции в книге Армана Дэйо я с абсолютной убежденностью определил картину как работу редкого и малоизвестного французского мастера, работавшего в Швеции, — Гюго Тарваля, и никто в этой моей атрибуции сомневаться не стал.

Должен отметить, что вместе с западными картинами Музей изобразительных искусств получил из Румянцевского музея в 1924 году богатейший Гравюрный кабинет, включавший великое множество гравюр и рисунков художников всех стран и веков — не только западноевропейских, но и восточных (японских) и русских — от Петровских времен до наших дней. Этот Гравюрный кабинет (потом переименованный в Отдел графики) вошел в состав музея как своего рода «субмузей» всей мировой графики. Отмечаю это прежде всего потому, что Гравюрный кабинет сыграл огромную роль в моей жизни.

В начале 1928 года Н. И. Романов был вынужден уйти из музея из-за того, что чем-то сильно «проштрафился» музейный главный бухгалтер. (В. Н.Лазарев в своих воспоминаниях о Н. И. Романове ошибочно написал, что этот уход был связан с кражей четырех картин из экспозиции — на самом деле эта кража произошла, когда Н. И. в музее уже не было.) Вскоре появился новый директор. Фамилия его была Ильин; говорили тогда, что он был отцом Раскольникова, нашего полпреда в Болгарии. Если это верно, то Ильин был некогда священником. Это был весьма пожилой высокий и плотный человек, с длинной бородой, в черных очках и с очень громким голосом — зрелище довольно устрашающее. Кому могло прийти в голову направить его в музей — не знаю. В первый же день своего прибытия он устроил грандиозный разнос своему заместителю — А. М. Эфросу за «отвратительное» хранение находящихся в музее произведений искусства: «Весь верхний этаж битком набит *битыми* статуями,

без голов, без рук, без ног!»

Эфрос сумел объяснить этому глубоко невежественному человеку, в чем дело, что это — гипсовые слепки с находящихся в других музеях очень древних скульптур, дошедших до наших дней в таком печальном виде, — и тут же подал в отставку, не пожелав и минуты оставаться в музее при таком директоре. Ильин понял все как следует: на другой день был издан первый приказ нового директора, строго запрещающий посетителям и экскурсоводам подходить к картинам, и особенно к гипсовым слепкам, ближе чем на два метра, *потому что от дыхания гипсы могут отсыреть.*

Ильин очень следил самолично за точным выполнением его приказа: когда я однажды вел экскурсию в голландском зале и рассказывал о рембрандтовской «Эсфири», я вдруг обнаружил между собой и «Эсфирью» огромную фигуру директора, который грозно возопил, как я посмел встать так близко к картине. Но тут же, видимо, поняв, что сам он находится к картине много ближе меня, так что чуть ли не прислоняется к ней своим задом, притом позволяет себе не только помещаться между мной и Рембрандтом, но и бурно махать руками во все стороны, — он вдруг замолчал и быстро ретировался.

Прочие его подвиги были в том же роде: когда заведующая библиотекой Ксения Михайловна Малицкая попросила денег на выписку из-за границы новой литературы по искусству, он спросил: «Все ли книги прочтены сотрудниками музея?» К. М. растерянно ответила, что не знает, но может быть, и не все. Тогда Ильин заявил: «Ну вот, когда прочтут все книги, тогда и будем выписывать новые». Очень быстро стало ясно, что человек этот сумасшедший, не в переносном, а самом реальном смысле слова, и он действительно вскоре после своего прихода в музей отправился на Канатчикову дачу.

В Наркомпросе, должно быть, быстро поняли, что такой директор никуда не годится. Увольнять его не стали, вероятно, из уважения к Раскольникову, а просто прислали другого человека исполнять до поры до времени обязанности директора.

Этим человеком был Жан Адамович Маурер — один из пяти лучших руководителей музея, какие были за его историю с 1924 года (Романов, Маурер, Полонский, Меркуров, Антонова). Маурер был высококультурный, высокоинтеллигентный человек, латыш, среднего роста, коренастый, с русыми волосами, всегда очень тщательно выбритый, спокойный, очень корректный, главное — очень умный. Впоследствии он стал профессором Московского университета. Контраст с Ильиным был фантастический. Он мгновенно разобрался, кто есть кто в музее, и во всех своих

решениях и поступках стал всецело опираться на Лазарева. Вероятно, по добрым словам Виктора Никитича он прекрасно относился ко мне и Наташе. Мне тем более приятно было постоянно иметь дело с таким человеком, потому что с 1 сентября 1929 года я, окончив университет, стал ученым секретарем музея и сидел с Жаном Адамовичем в одном кабинете (который и до сих пор директорский). Мне было тогда двадцать четыре года.

Эта работа оказалась еще увлекательнее и интереснее предыдущей, в картинной галерее. С этой последней я вовсе не порывал связи, но она вошла в состав целого, всего музея, потому что я был обязан интересоваться делами всего музея — малыми и большими, умными и совсем не умными, должен был знать всех людей и вникать во все детали жизни музея. В письме к Наташе в начале лета 1930 года, когда она вместе с Марией Борисовной, своей матерью, уехала отдыхать в Калужскую область, я писал, что никогда не думал, что у ученого секретаря так много и таких необыкновенно разнообразных обязанностей: от устройства всех пожеланий некоего американского профессора, занимающегося коптскими тканями, и до умиротворения бурного конфликта, возникшего между двумя дамами в одном из отделов музея! Ученый секретарь был своего рода центром музея, куда сходились все эти удивительно разные дела. Кто только ко мне не являлся из окружающего, не только музейного, мира! Все иностранные ученые, приходившие в музей, обращались прежде всего ко мне, и я провожал их к специалистам по их надобностям. Я умел более или менее прилично говорить по — английски и по- французски (но не по — немецки) — это сильно облегчало мое существование. Правда, на моем попечении были и некоторые совсем не увлекательные дела — в особенности это относилось к отношениям с вышним начальством, Наркомпросом. Но тогда еще не все сотрудники подобных учреждений успели превратиться в невежественных бюрократов, хотя этот процесс угрожающе убыстрялся.

Ко мне приносили очень разные люди всевозможные произведения искусства, предлагавшиеся музею на предмет приобретения. Среди них бывали поистине сенсационные. Я должен был определять их подлинность, их качество, их значение. Раз принес один человек двух прелестных небольших терракотовых китайских лошадок — эпохи Тан, то есть VII-IX веков нашей эры, как я сумел тут же их определить. Это была великая редкость, и обе лошадки были немедленно приобретены музеем за очень большую сумму. Никак не ожидавший такого, владелец этих скульптур только сокрушался, что у него была третья такая же лошадка, и она в его отсутствие упала со шкафа,

разбилась, и ее выбросили. Я вполне присоединился к его огорчению, хотя и несколько в ином разрезе: ведь очень трагически звучало — прожить на свете больше тысячи лет и вдруг погибнуть, упав со шкафа! В другой раз очень молодой человек принес превосходный византийский триптих из слоновой кости — XII века! Я сказал ему, конечно, какая это ценная вещь. Он скромно попросил достать ему новый хороший костюм. И ему достали очень хороший костюм — не знаю только, сколько добавили денег к этому костюму. Я мог только радоваться, что не один Виктор Никитич содействует пополнению музея прекрасными произведениями искусства.

В одном из писем к Наташе, тоже в начале лета 1930 года в Калужскую область, я нашел поистине драгоценную для меня фразу: «Мой любимый художник — Эдуард Мане». Я как-то забыл, что пронес свою глубокую любовь к этому чудесному художнику сквозь всю свою жизнь, начиная со столь давних времен. Я писал о нем не раз уже с 30–х годов и могу радоваться, что выполнил свой долг по отношению к этому великому мастеру до конца, написав наконец, можно сказать — на закате моей жизни, первую на русском языке большую книгу об Эдуарде Мане, и написал, видимо, достойно, раз получил за эту книгу Государственную премию СССР 1988 года.

Но мои ученые интересы выходили далеко за пределы Франции XIX века, хотя она навсегда осталась центральным интересом этой стороны моей жизни.

В 1930 году были напечатаны мои первые научные работы. Это начало было очень скромное: по рекомендации Виктора Никитича мне были заказаны две маленькие статьи для Большой советской энциклопедии (ее первого издания). Героями этих очень маленьких (по 800 печатных знаков) статей были неожиданно (по правде говоря, неизвестно зачем включенные в БСЭ) французский архитектор Даву — автор чудовищно безобразного Дворца Трокадеро в Париже, долго уродовавшего прекраснейший на свете город (и с тех пор, слава Богу, снесенного), и немецкий художник эпохи Возрождения Мануэль Дейч. Но писать о таких редких, малоизвестных художниках было гораздо труднее, чем о знаменитых. Я постарался с максимальной тщательностью проверить все факты, касающиеся жизни и творчества этих людей, и точно уложился в предоставленные мне 800 печатных знаков. Статьи понравились, в них не изменили и не сократили ни единой буквы, и я сразу же получил много более интересный заказ — статью об Эммануэле де Витте, прекрасном голландском живописце, да еще превосходно представленном двумя картинами в нашем музее! И мне было тут же дано право

выбирать самому, о чем я хотел бы писать. Так появились мои статьи о Шираку (дань восхищения театром «Кабуки»!), о Купреянове, о Фаворском, об Эдуарде Мане и очень многие другие, в том числе и очень большие («Пейзаж», «Портрет» и т. п.). Связь с БСЭ продолжилась и на все второе издание, где среди других были напечатаны такие важные для меня статьи как «Искусство Древней Греции» и «Искусство Соединенных Штатов Америки».

В одном из писем к Наташе, в то же начало лета 1930 года, я сообщаю: «Сегодня в музее впервые появился новый директор. Но пробыл так недолго, что я не успел разобраться, каков он». Это был Вячеслав Павлович Полонский, известный литературный критик, основатель и редактор двух хороших журналов — «Новый мир» и «Печать и революция». Он был автором большой книги о советском плакате первых лет Октябрьской революции, составителем и редактором толстого сборника статей о мастерах советской графики. Он был человеком высокой культуры и ярко талантливый, но попал он в музей не по своей воле: уже прошло несколько лет, как его стали подвергать резкой критике, а потом и форменной травле, сняли с редакторских постов и, по — видимому, продолжали усердно преследовать и дальше, поэтому мне становилось все труднее иметь с ним дело. Он очень часто приходил в музей поздно, очевидно после очередной головомойки в ЦК партии, раздраженный и совершенно «взъерошенный», и разряжал свое состояние на ни в чем не виноватом первом встречном. А так как обычно этим первым встречным оказывался я — это мало содействовало моему хорошему настроению. В конце концов я просто возненавидел эти его истерические выходки, ни на секунду, впрочем, не забывая о великих благодеяниях, сделанных Полонским для музея.

В. П. Полонский сразу заметил, что музею свыше отпускаются совсем ничтожные средства на приобретение гравюр и рисунков для Гравюрного кабинета, в первую очередь мастеров советской графики. И он в середине 1930 года сумел достать огромные деньги специально для покупки работ советских художников. Они не были еще до конца израсходованы даже в конце 1936 года, когда Керженцевым, председателем Комитета по делам искусств, была запрещена покупка музеем графики советских мастеров, и это дело было передано Государственной закупочной комиссии. Но эта комиссия нисколько не интересовалась пополнением коллекции Музея изобразительных искусств, да и не имела никакого понятия, что в музее есть и что ему нужно. А я занимался собиранием музейной коллекции советской графики с увлечением. С тысячи листов в 1931 году, когда я начал

собирательскую работу, я довел коллекцию к моменту своего ухода из музея в Издательство до десяти тысяч листов, сделав ее по своему богатству первой в мире.

Экс — оффицио, как ученый секретарь, я должен был проводить заседания специальной закупочной комиссии, в которую вошли Н. И. Романов, В. А.Фаворский, М. З.Холодовская и другие. И я, до тех пор советской графикой почти не интересовавшийся, увлекся ею. С этого началась целая новая эпоха в моей жизни, о которой, как и о других личных делах ближайших лет, я расскажу немного позже, отведя сначала место для отчета об общих делах музея до начала войны.

Полонский был худой, немного выше среднего роста, с прекрасной темной шевелюрой, которую он ерошил и откидывал назад, с огромным носом как у Мейерхольда, (Г. С.Верейский в своем очень похожем литографическом портрете В. Н. Полонского изобразил его строго в фас, смутившись, почему-то, чересчур большой длиной его носа!), очень темпераментный, экспансивный, склонный к коротким и резким вспышкам, и очень умный — я думаю, что его характер был явно деформирован тем тяжелым положением, в которое он попал в «год великого перелома». В чем его обвиняли, не знаю, но могу довольно надежно предположить, что в том же троцкизме, который толковался тогда широко и вольно, сообразно умственным способностям обвинителей.

Если, придя в музей и не найдя меня в нашем кабинете, Полонский спрашивал, где я, и ему отвечали — «в Гравюрном кабинете», он никогда не сердился. Поэтому, когда в феврале 1932 года я попросил его отпустить меня из ученых секретарей, чтобы я перешел работать в Гравюрный кабинет и занимался там советской графикой, — он нисколько не удивился и согласился без всяких разговоров на мою просьбу. А сам улетел в Уфу выступать с каким-то докладом, в дороге заразился брюшным тифом и в Уфе умер, избежав гораздо более горькой судьбы, явно ожидавшей его в 1937 году.

Я сохранил добрую память об этом человеке, простив шум и крики в возмещение обид, не мною ему причиненных.

Жан Адамович некоторое время после прихода в музей Полонского оставался его заместителем, но в середине 1931 года из музея ушел. Они никогда с Полонским не сталкивались и не ссорились, но, видимо, не сошлись характерами, а кроме того, Жан Адамович явно не привык быть чьим-то заместителем. Мы очень огорчились его уходом, а на прощание решили сфотографироваться на память. Фотография получилась очень хорошая — на ней Жан Адамович, В. Н.Лазарев, В. Д.Загоскина,

Наташа и я, но в ней, к сожалению, есть большой изъян: когда фотограф уже готов был щелкнуть затвором, вдруг в комнату нежданно-негаданно вошел А. А. Сидоров и присоединился к нашей группе. Он был совершенно лишним, но прогнать его постеснялись.

Это была, вероятно, последняя фотография В. Д. Загоскиной: в октябре того же 1931 года она внезапно умерла — из-за безобразно, с преступной небрежностью сделанной операции. У меня был приготовлен для нее подарок к ее возвращению из больницы — томик стихов Суинберна, он так у меня и остался с уже сделанной дарственной надписью.

Хочется мне вспомнить и еще некоторых добрых людей, с которыми я соприкоснулся в первые годы моего пребывания в музее.

Замечательным человеком был старший вахтер музея. Он был украинец, его звали Григорий Емельянович Жовтобрюх. Несмотря на такую смешную фамилию, это был солидный, высокий и очень полный человек. Молчаливый и сдержанный, он очень спокойно командовал своей армией технических сотрудников, состоявших в основном из стариков, оставшихся еще от прежних времен. Он сам, несмотря на свою грузность, участвовал в развеске картин, храбро лез на верхушку гигантской стремянки и кончил свои дни трагически, упав с этой стремянки. Он очень сильно расшибся, уже не встал и скоро умер. Я должен сказать, что у меня с ранних лет были привиты демократические наклонности, поэтому никакого различия в отношении к людям не было. Я совершенно одинаково относился и к Полонскому, и к техническим сотрудникам. Это, очевидно, отмечалось, потому что элементы какого-то барства и исключительности проявлялись у очень многих сотрудников. Например, жена Владимира Казимировича Шилейко — Вера Константиновна, которая занималась итальянским Возрождением, была очень надменная важная дама, она могла говорить «ты» старикам, которые сидели в залах Микеланджело и были вдвое ее старше. Но она была глупая женщина, так что это не удивительно.

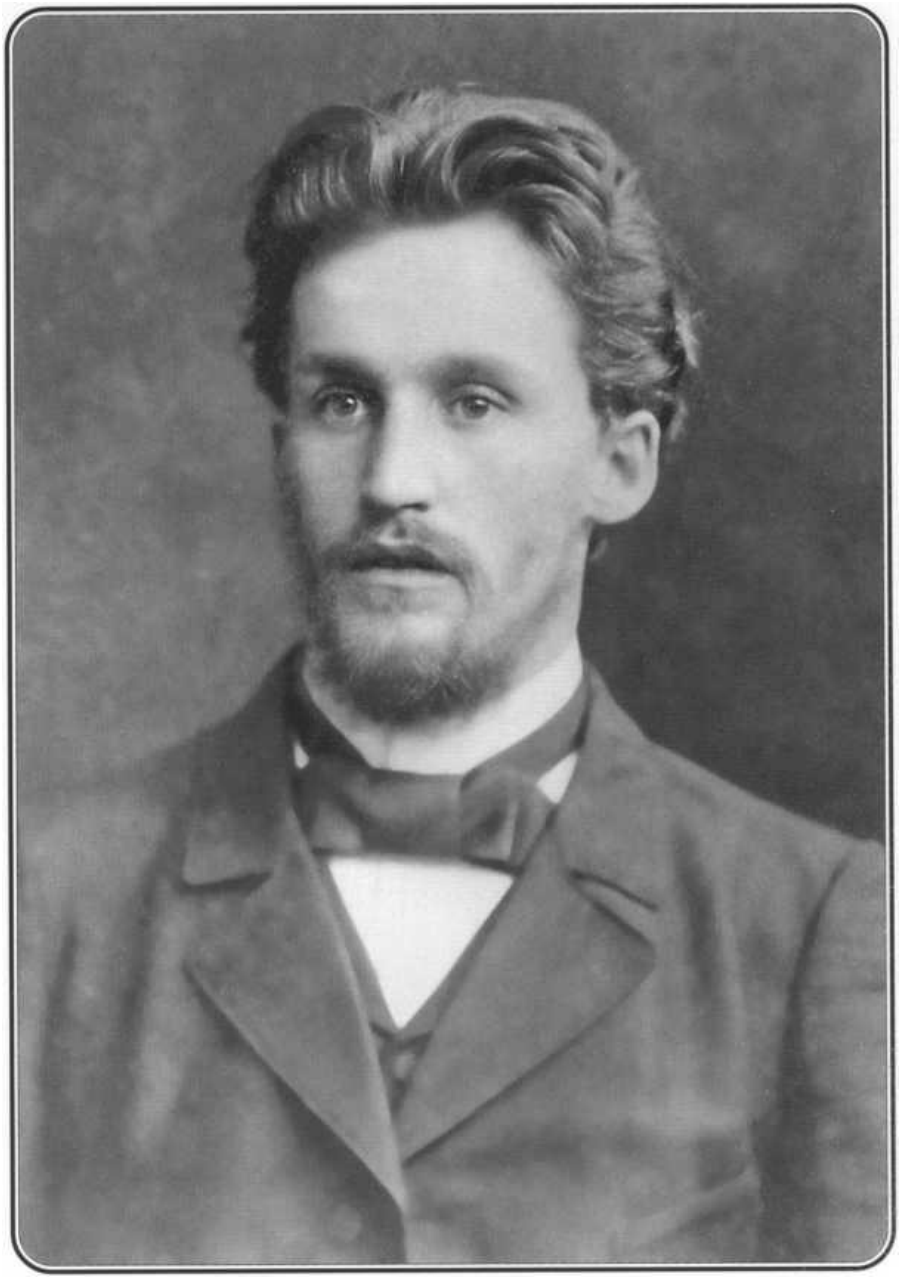
Из музейных стариков я помню еще двух: Козлова, который сидел всегда в египетском зале, и Арнаухина. Это были те самые старики, которые дремали в углах тихих, абсолютно пустынных залов еще в 1915 году, когда я в первый раз в этот музей попал, и составляли какой-то постоянный признак музея.

Когда умер Григорий Емельянович Жовтобрюх, его сменил в качестве главного развесчика Крюков. Его все звали по фамилии, и я не знал, как его зовут. Маленький, худенький человек, похожий на муравья, с каким-то скрипучим писклявым голосом,

главным образом из-за того, что у него совершенно искривлена нижняя челюсть. Он был, вероятно, ранен еще на Первой мировой войне. Он храбро лез на стремянку, которая его, наверное, и не чувствовала из-за его худобы и легкости. Он очень усердно всегда работал, но сам никакого интереса не представлял в человеческом смысле. Куда он делся, я не помню.



Дмитрий Николаевич и Юлия Николаевна Чегодаевы. 1902 год



Николай Иванович Малинин



Константин Леонидович Гиршфельд. 1916 год



Андрей Чегодаев. 1908 год



Дмитрий Николаевич Чегодаев с сыном Андреем. 1909 год



Митя, Катя и Андрей Чегодаевы. 1915 год



Наташа Гершензон. 1927 год



Андрей Чегодаев. Начало 30–х годов



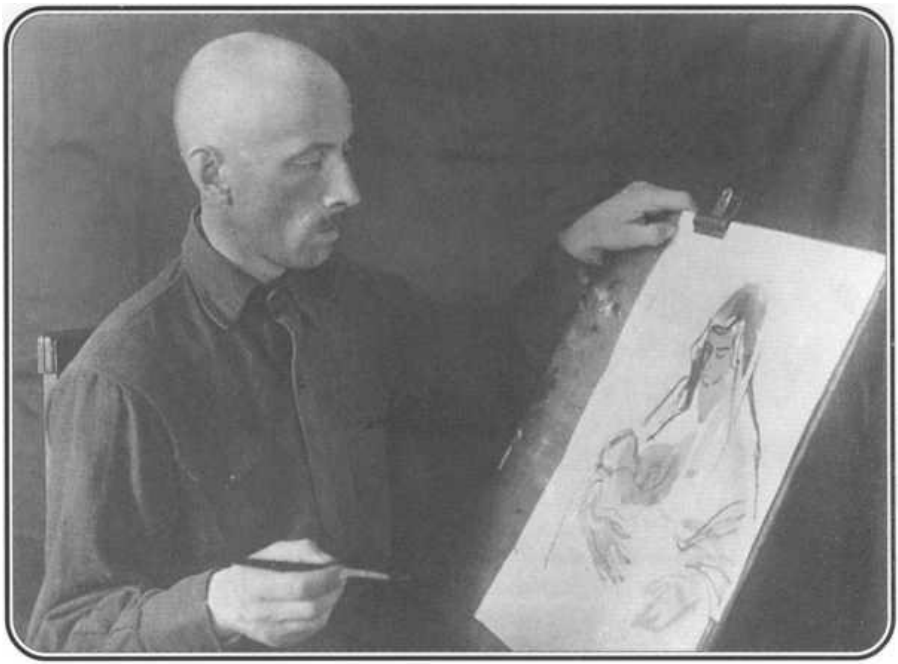
Наталия Михайловна Чегодаева с Машей. 1931 год



Н. Чегодаева и Маша. 1933 год



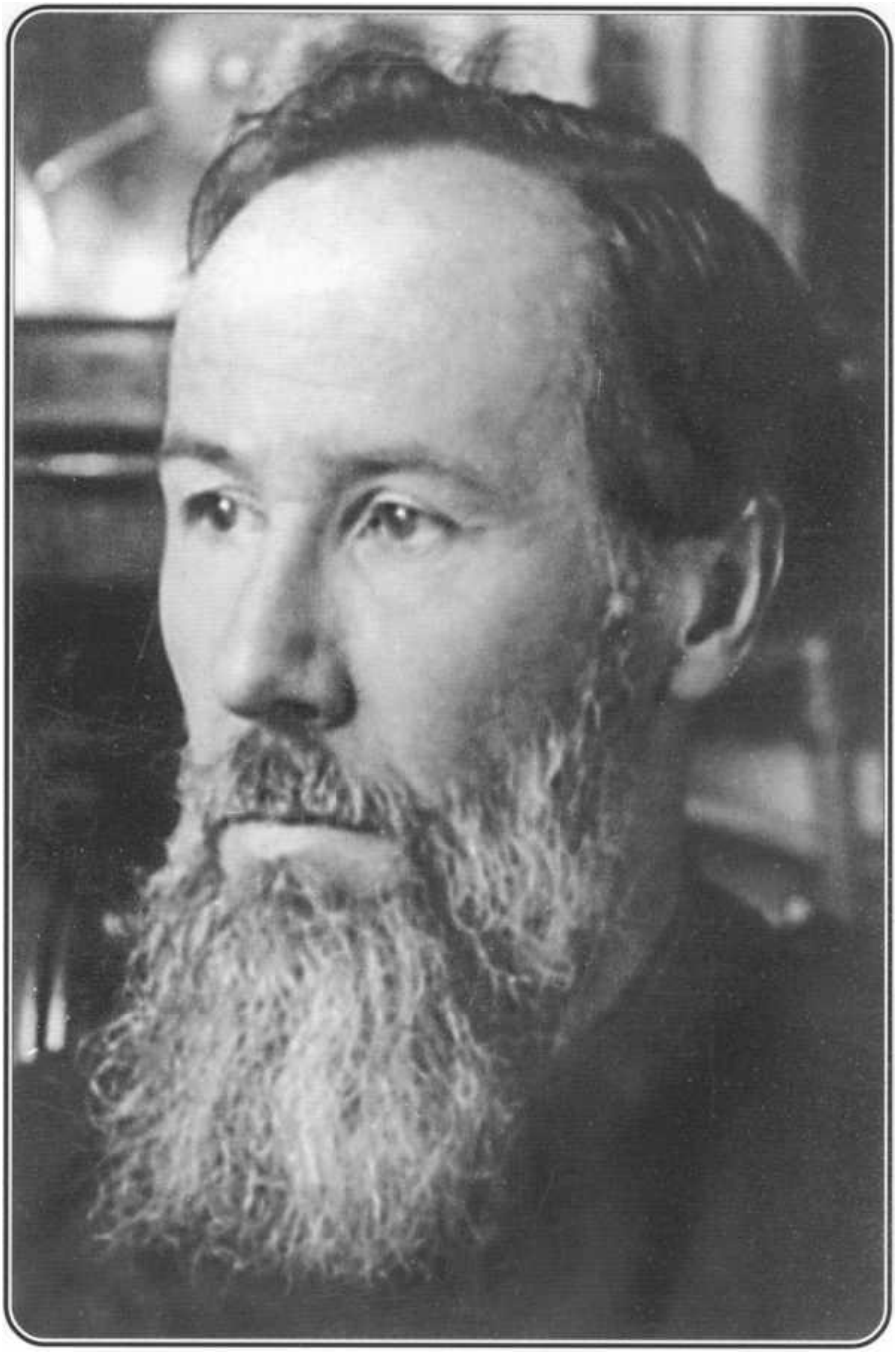
А. Д. Чегодаев, А. А.Сидоров, Ж. А.Маурер, В. Д.Загоскина, В. Н.Лазарев, Н. М. Чегодаева в Музее изобразительных искусств. 1931 год



Николаи Николаевич Купреянов



Виктор Никитин Лазарев с женой Верой Николаевной



Владимир Андреевич Фаворский



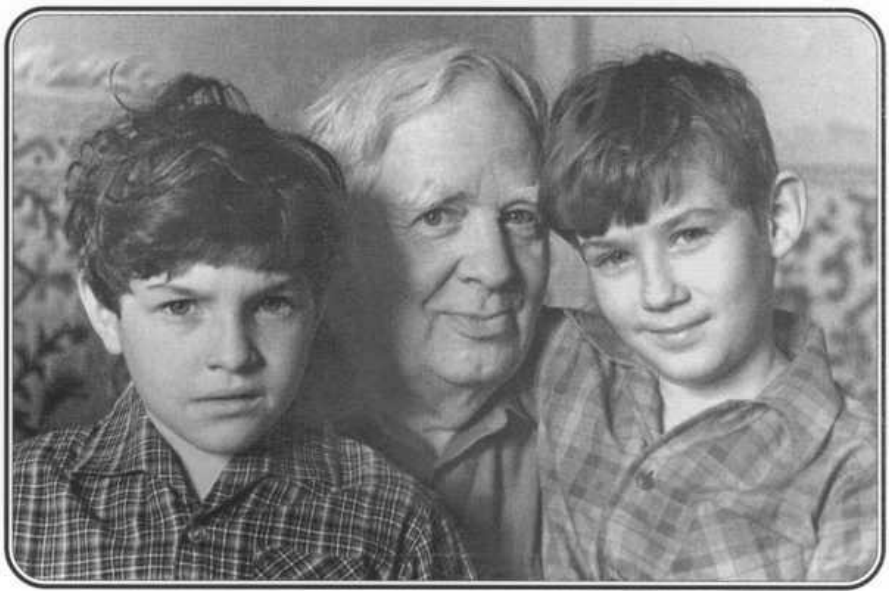
Юрий Иванович и Наталия Константиновна Пименовы



Николай Павлович Ульянов. 1947 го
д



Наталия Михайловна Чегодаева с внуком Мишей. 1971 год



Андрей Дмитриевич Чегодаев с внуками Митей и Мишей



Андрей Дмитриевич с внуком Митей



Дмитрий Николаевич Чегодаев и его сын Андрей. 1966 год

Его сменил сравнительно молодой, лет тридцати, человек, молчаливый, очень спокойный, по фамилии Каске- вич. Собственно, его руками развешивались все выставки, начиная с тридцатых годов вся экспозиция им делалась. Я знаю, что он был мобилизован, когда началась Отечественная война, и убит на фронте. Это был человек, достойный всякого уважения. Но как его звали, я не помню.

Я пропускаю пока все мои личные дела 1931–1938 годов, чтобы покончить сначала с общемузейной летописью этого времени.

За недолгий период после смерти Полонского до начала Отечественной войны в музее сменилось пять директоров. Приношу извинения, что описание их деяний будет довольно сильно походить на щедринскую «Опись градоначальникам, в разное время от вышнего начальства в город Глупов поставленным». В моем рассказе не будет никакой утрировки.

В феврале или марте 1932 года в музей явился первый из этой пятерки директоров. Звали его Этингоф, это был невзрачный и тщедушный плюгавый человек с крючковатым носом, в очках, редкостно невежественный и некультурный, что не удивительно, потому что до музея он был администратором ВТО, заведовал там

рестораном, гардеробом и пр. Он с недоумевающим видом бродил по музею, плохо понимая, куда его занесло. Он мог, встретив меня, спросить: «Э — э-э… я все не могу запомнить, как называется статуя, что торчит под лестницей?» — «Гермес с младенцем Дионисом, работа великого древнегреческого скульптора Праксителя». — «А — а…»

В тот 1932 год в художественных музеях Москвы и Ленинграда свирепствовал «Антиквариат», снизивший мировое значение Эрмитажа по меньшей мере вдвое и изъявший из Музея нового западного искусства несколько чудесных картин — «Ночное кафе» Ван Гога, «Зеленую певицу» Дега, «Портрет жены в теплице» Сезанна, «Служанку от Дюваля» Ренуара… В нашем музее он столкнулся с решительным сопротивлением В. Н. Лазарева и пошел на компромисс: «Антиквариат» только назначал сумму, а В. Н. по своему усмотрению подбирал на эту сумму сколько-то картин — неизменно второстепенных, так что музей не потерял ни одной сколько-нибудь значительной картины.

Однажды «Антиквариат» потребовал дать какую-нибудь работу Рембрандта. В. Н. без всяких размышлений решил отдать «Христа» — скучную и банальную картину среднего периода рембрандтовского творчества. Этого «Христа» не жалко было отдать, даже если бы он был в порядке, но он был совершенно испорчен: в 1928 году он был украден из экспозиции картинной галереи, свернут ворами в рулон, засунут в железную трубу и закопан в землю в лесу под Москвой. Когда его нашли, выяснилось, что от его живописи осталось не больше одной десятой; его по сохранившейся фотографии «реставрировал» В. Н.Яковлев, главный реставратор музея, очень ловкий фальсификатор старой живописи. Этингоф выразил крайнее возмущение намерением В. Н. Лазарева: «Как можно отдавать такое замечательное произведение Василия Николаевича?» — «Но «Антиквариат» требует обязательно Рембрандта!» — «Ну вот, у вас же есть картина, где сидит какая-то дама в пеньюаре, ее и отдайте». Этак он выразился об «Эсфири», лучшей картине музея. Если бы не В.Н., то Этингоф так бы и отдал «Эсфирь» «Антиквариату».

Но все его мысли были заняты другим. Его жена, Никитина, дама в полтора раза выше и в три раза толще его, была директором издательства «Никитинские субботники» — по субботам она кормила изысканными обедами писателей, которых издавала. Эта жена Этингофа приказала мужу сыскать в музее большое и удобное помещение, чтобы устраивать в нем серию вокально — хореографических представлений для избранной

публики. Этингоф уныло ходил по музею и, наконец, догадался: в большом центральном Белом зале находилась музейная библиотека, он спустил ее в подвал (где она находится до сих пор), и в Белом зале в один прекрасный день вечером состоялось первое «вокально — хореографическое» представление. Я в тот вечер работал в Гравюрном кабинете, находившемся тогда под Белым залом, и слышал, как наверху выли какие-то тенора. Утром я узнал, что во время этого представления на хорах Белого зала было устроено короткое замыкание, начался пожар, потушенный прибывшими пожарными. Утром же приехал в музей народный комиссар просвещения А. С.Бубнов, и тут же, на нижней площадке мраморной лестницы, ведущей в Белый зал, в присутствии толпы народа высказал Этингофу, что он о нем думает. Не могу воспроизвести его речь: Бубнов был солдат, и его речь была весьма неизящной. Этингоф стоял молча, весь красный. Его музейная карьера была закончена.

Следом явился второй директор из пяти, по фамилии Бык — Бек. Это был маленький, очень толстый и круглый человек, невообразимо волосатый: его длинные прямые волосы на голове росли словно все из макушки наподобие японской куклы. У него была пышная борода, усы и брови, волосы росли у него из ушей и из носа, густо покрывали тыльную сторону кистей рук. До музея он работал в Главспирте, а по профессии был ветеринарный врач. Это был очень добрый и добродушный человек, никому не причинивший ни малейшего зла. Предоставив все музейные дела на волю В. Н. Лазарева, он пустился осуществлять пришедшую ему на ум очень практическую идею: узнав, что музей богат гипсовыми слепками с античных фигур, он решил весьма логично, что с этих слепков можно делать сколько угодно других слепков и торговать ими по всей стране. Тотчас в подвале была устроена формовочная мастерская, появился ее очень оперативный директор, эффектный молодой человек по фамилии Сафьян, и по всей нашей земле вплоть до Дальнего Востока поехали ящики со слепками, а в ответ шли слезные или гневные жалобы на то, что пришли бесчисленные мелкие куски от разбитых вдребезги статуй — на железной дороге не ставили ящики аккуратно и осторожно, а лихо кидали. Формовочная мастерская действовала с неподражаемой энергией. Характерная картина: утро, в ужасе бегут хранители античного отдела В. Д. Блаватский и М. М. Кобылина — пропал Аполлон Бельведерский! Оказывается, его стащили в подвал и формуют.

Но жизнь Бык — Бека окончилась, по — видимому, совсем не весело: он был отцом жены Зиновьева и в середине 1936 года внезапно исчез бесследно.

Третий директор был страшнее всех прочих. Фамилия его была Васильев, это был высокий человек с военной выправкой, уже не молодой, с подстриженными бобриком седыми волосами. До музея он был советником нашего торгпредства в Иране, явно по шпионской линии. Он намертво прекратил все музейные дела, большие и малые, важные и неважные. Все было положено «под сукно», музей словно умер. Единственным делом нового директора (а может быть, веселым развлечением) были усердные старания ссорить сотрудников музея друг с другом. Но эти развлечения, совершенно неожиданно для директора, закончились настоящей *революцией,* весь коллектив музея, забыв личные отношения, объявил Керженцеву, что с таким директором работать не желает и не будет. Попытки Комитета по делам искусств убедить сотрудников музея, что директор очень хорош, не удались, и Васильеву пришлось из музея убраться.

Четвертым директором был Эйферт, гораздо более причастный к искусству, чем все прочие директора этого нелепого периода в жизни музея. До прихода в Музей изобразительных искусств он был заместителем Б. Н. Терновца, директора Музея нового западного искусства, и, стало быть, музейная работа не была для него новостью. Какая была его профессия и образование — не знаю. Но он попал в наш музей в очень мрачное время — в 1937 году — и был в совершенно подавленном и перепуганном состоянии. Он почти ничего не делал в музее, и это привело к тому, что им полностью завладели два человека, действовавших очень согласно: это были Е. В. Гольдингер, о которой я говорил раньше, и новый ученый секретарь — высокий лохматый и необычайно шумный и развязный молодой человек по фамилии Попов (точного имени его я не знаю — в музее его все звали Валеткой). Эти два противных персонажа организовали упорную и систематическую травлю В. Н. Лазарева, не встречая какого-либо сопротивления со стороны Эйферта, которому, видимо, было не до того. В музее создалась совершенно ненормальная уродливая обстановка.

В январе 1938 года Виктор Никитич и я неожиданно были изгнаны из музея по приказу Керженцева. Что касается В.Н., то Керженцев, вероятно, мстил Виктору Никитичу за очень неприятную для Керженцева историю, случившуюся на рубеже 1936–го и 1937 года. Тогда Керженцев ухитрился издать совершенно дикий приказ о ***ликвидации*** Музея изобразительных искусств и передаче его здания Московскому союзу архитекторов! Тогдашний директор Васильев готов был выполнить приказ Комитета по делам искусств, и тогда Виктор Никитич, через голову Керженцева, написал письмо Сталину. Сталин устроил

Керженцеву нахлобучку, московские архитекторы получили по носу, и музей остался цел и невредим. Почему прогнали из музея меня — не знаю. Возглавлявший присланную в музей комиссию А. И Леонов, известный проходимец, взяточник и стукач, не изволил со мной разговаривать, получив нужную ему информацию от кого-то мне неизвестного. Керженцев устроил «чистку» подведомственных ему учреждений — я могу быть горд тем, что одновременно с В. Н. и мною в Ленинграде Керженцевым были уволены Мравинский и Уланова. Но уже через две недели к В. Н. и ко мне явились из музея целые делегации — просить вернуться назад, в музей. Дело было в том, что за эти две недели сам Керженцев «вылетел в трубу» и все его приказы были отменены. Был устроен целый спектакль: очередной сессии Верховного Совета был представлен на утверждение состав правительства, и Керженцев был выведен из этого состава.

Но вернуться в музей мы оба не пожелали: в наше короткое отсутствие там поднялась такая тина, что погружаться в нее что-то не захотелось. Я вернулся в музей в конце войны, В. Н. не вернулся никогда.

Последнего, пятого, предвоенного директора я не видел, о нем мне рассказывала еще работавшая в музее Наташа. Звали его Коротков, профессия его была маляр. Он самолично выбирал «колеры», когда в музее шел ремонт, ссорился с завхозом Варварой Ивановной Гвоздаревой из- за каких-то тряпок и половых щеток и т. д. Историю музея он не украсил.

Должен сказать, что ни с кем из этих директоров, правивших музеем после Полонского, я никак не соприкасался, никто из них в Гравюрный кабинет даже не заглядывал. Все мои музейные дела были связаны только с Виктором Никитичем, и подлинное позорище, устроенное в музее Комитетом по делам искусств, а до него Наркомпросом (уже без Луначарского!) мне было известно, но меня не касалось — я сумел настойчиво и энергично отгородить свою работу от того, что делалось «наверху». Мне очень помогло то, что сменявшие друг друга директора не проявляли никакого интереса (и даже любопытства) к научной, экспозиционной, выставочной работе музея.

В Гравюрном кабинете моя работа продолжалась семь с половиной лет. Мне хочется восстановить в памяти весь облик и дух тогдашнего Гравюрного кабинета, его, так сказать, территорию и повседневную жизнь. Он находился тогда, как я уже говорил, непосредственно под Белым залом, там, где сейчас зал античных подлинников. Прямо против входа посетителя встречал огромный, очень парадный ампирный шкаф, в котором стояли старинные книги очень больших размеров, в тяжелых

переплетах с золотым тиснением на корешках. За ним, в далекую глубину зала, шли такие же огромные, но простые шкафы, и все это было наполнено несметным множеством папок с гравюрами или рисунками. По сторонам от центрального пространства, отделенные от него вереницей толстых квадратных столов, между которыми тоже стояли шкафы, располагались два очень длинных нефа, освещенные большими окнами, выходившими на два внутренних двора музея. В правом от входа нефе был читальный, вернее — просмотровый зал, и только в самом дальнем конце находился мой угол, отделенный от зала для посетителей книжной полкой, стоявшей на моем столе. Там я работал и принимал приходивших ко мне художников.

В дальней половине левого нефа находилось пристанище «гравюрных дам», как их величали в музее. Кроме Веры Михайловны Невежиной, много старшей других по возрасту и бывшей своего рода «старшиной» всего коллектива Гравюрного кабинета, там были столы и шкафы Анны Ивановны Аристовой, ведавшей итальянской гравюрой, Нины Николаевны Водо, ведавшей графикой Франции, В. В.Свистуновой (не помню ее имени и отчества), которая была помощницей Марии Зосимовны Холодовской в ее необъятном по размерам русском отделе, занимавшем не менее половины всей коллекции Гравюрного кабинета, наконец, там работала и сама Мария Зосимовна, добрейший человек, умная, тонкая, непомерно скромная, всей душой преданная искусству.

У меня были прекрасные отношения со всеми сотрудницами Гравюрного кабинета, но особенно для меня важными и дорогими — отношения с Марией Зосимовной. Я обязан ей больше, чем кому-либо другому, своим увлечением советской графикой — ее мудрым советам, ее знаниям, ее доброжелательству. Когда в феврале 1932 года я перешел работать в Гравюрный кабинет, мы поделили громадный графический материал русского отдела на две весьма неравные части: сверхльвиная доля, от Петровской эпохи до 1900 года, осталась у Марии Зосимовны, а с 1900 года досталась мне — с движущейся и постоянно разрастающейся конечной границей. Я получил в свое владение две тысячи листов (куда включились собранные уже мною в 1930–м и особенно в 1931 году новые работы). Когда я в январе 1938–го должен был уйти из музея, у меня было десять тысяч гравюр и рисунков.

Я должен с удовольствием и с глубоким уважением описать еще двух сотрудников Гравюрного кабинета. Это два служителя Кабинета, убиравшие его и приносившие посетителям нужные им папки. Их все называли «гравюрными стариками» — они были неразлучны и врозь даже и не воспринимались. Старший, Степан

Антонович Мелешко, был высокий, худой, с прекрасной седой шевелюрой, седыми усами и бородкой, делавшей его похожим на Дон Кихота. Он был очень сильный и получал истинное удовольствие, когда с громким шумом кидал на мой стол принесенную им громадную и тяжелую папку. Он много и громко говорил, читая нотации своему постоянному сподвижнику, абсолютно молчаливому, более молодому Илье Филипповичу Контареву, невысокому бородатому человеку, находившемуся в полном подчинении у Степана Антоновича. Эти «гравюрные старики» очень приветливо принимали посетителей, отлично знали, где находится какая папка, могли давать посетителям советы и разъяснения, не беспокоя научных сотрудников. Я бы сказал, что они были подлинным украшением Гравюрного кабинета.

В левом нефе работали и все остальные сотрудники Гравюрного кабинета. В ближнем конце находилась отделенная стеклянной перегородкой реставрационная мастерская, где работала реставратор графики В. Н. Крылова. Дальше шел «закут» Владимира Яковлевича Адарюкова, уже тогда очень старого, доставшегося музею от дореволюционных времен. Он был редкостным знатоком не только старой русской гравюры, но и разных «вспомогательных дисциплин» — геральдики, сфрагистики и пр., истории костюма, воинского обмундирования и множества других мелких фактов человеческого существования. Приведу один пример его удивительных познаний. Как-то Вера Михайловна Невежина, ведавшая в Гравюрном кабинете английской гравюрой, решила устроить (впервые в музее) новый зал английской живописи. В музее ее было немного, но ряд картин был очень высокого качества (Опи, Хоппер, Лоуренс, Констебль), и зал получился красивый. Английская живопись была развешана в том зале, где сейчас фаюмские портреты и византийские иконы. В простенке между проходами в следующий зал, на самом парадном месте, был помещен большой эффектный портрет Александра Первого работы Лоуренса, в рост, в военной форме. Вера Михайловна привела В. Я. Адарюкова, чтобы он попробовал определить, что за мундир надет на императоре. Пробовать тому не понадобилось, он сразу сказал: «Мундир такого-то полка». На другой день утром Вера Михайловна встретила Адарюкова — бледного, страшно взволнованного: «Я должен принести вам глубокие извинения, я ввел вас вчера в ужасное заблуждение!» — «Боже мой, какое?» — «Полк-то я назвал правильно, но на императоре не мундир, а вицмундир!» В. М. успокоила и извинила несчастного Владимира Яковлевича. Но я лично так и не мог постигнуть, какая тонкость и значение

заключены в этой, по — видимому глубокой, разнице.

Следом за Адарюковым в отгороженном шкафами пространстве помещался А. А. Сидоров, ставший заведующим Гравюрным кабинетом в 1927 году, когда была ликвидирована Государственная академия художественных наук (ГАХН), где он был ученым секретарем. Начав работать в Гравюрном кабинете, я сразу поставил дело так, что Сидоров не смел вмешиваться в мои дела. За все годы, пока он пребывал в музее, он ни разу не заглянул в мой угол на другой стороне Гравюрного кабинета. Он, видимо, меня побаивался. Но он явно следил, кто ко мне пришел, «перехватывал» уходивших от меня художников, приводил к себе и там клянчил хотя бы один рисунок данного автора для его порнографической коллекции. Он был глухим (вернее, считался глухим, но прекрасно слышал то, что слышать ему не полагалось), но говорил тихо. А художники громко. Его голоса мне не было слышно, а голоса художников доносились через весь Гравюрный кабинет. Все, кого я слышал, вежливо уклонялись под разными предлогами, а Фаворский ответил невежливо: сказал, что никогда в жизни подобного сорта предметов не делал. Сидоров надулся на Фаворского: он потом не раз, при мне и большом числе других присутствовавших, почти с пафосом и явной обидой восклицал: «Фаворский рисует *ужясно*» Это произнесенное фортиссимо «ужясно» звучало комически, но он этого не понимал.

Я подозреваю, что он не только побаивался меня, но и люто ненавидел. Как-то раз он нечаянно проговорился. Встретив меня у входа в Гравюрный кабинет, он спросил меня про что-то, касающееся А. И. Кравченко, я не знал, но сказал, что как раз иду звонить Кравченко по телефону (который висел у Греческого дворика у выхода в вестибюль). Сидоров сказал, что пойдет со мной. Он стал говорить первый, очень долго, и наконец сказал: «Вот тут с вами хочет говорить…» — и вместо моего имени произнес грубейшее ругательство! Тут же спохватился, что я ведь слышу, как он меня величает, сунул мне в руки телефонную трубку и умчался из Греческого дворика. У Кравченко заплетался язык — он был явно шокирован тем, что Сидоров выдал, как они меня именуют.

Но оба эти человека были способны на гораздо худшее. Сидоров был уже с 20–х годов профессиональным стукачом — остался им и на всю жизнь. Кравченко был мастер писать доносы (сумел же, совместно со своей женой Ксенией Степановной, с помощью клеветнического доноса спровадить под расстрел мальчика — студента, посмевшего влюбиться в их дочь, красавицу Наташу, да еще вызвать у нее ответное чувство). Писал

он доносы и на меня, и конечно, в ЦК партии — оттуда мне об этом сообщали; должно быть, доносы были неубедительными.

Приношу извинения, что вспоминаю о такой дряни. Но люди подобного сорта создавали резкий, прямо ошеломляющий контраст с высоким благородством тех замечательных людей, что приходили ко мне в Гравюрный кабинет. Их приходится воспринимать как те «тени», которые, как считал некий древнегреческий философ, создали боги, чтобы люди больше ценили свет.

При всей изоляции, все более ухудшавшаяся обстановка в музее была рядом и очень мешала, если и не вмешивалась в мои дела. На музей давила все сильнее общая ситуация в стране, разлагавшая все общество. В музее всегда были, хоть и в малом количестве, нечестные и непорядочные люди, теперь для них наступило истинное раздолье. Некоторые из них только тем и занимались, что высматривали, как бы безопаснее для себя свести счеты с какими-то своими недругами, другие словно принюхивались, на кого бы написать донос. И кто-то и писал: вдруг исчез уважаемый сотрудник музея Александр Семенович Стрелков, выяснилось только, что он арестован, а дальнейшая его судьба осталась неизвестной — он был одиноким, родных у него, как будто, не было никаких, а музей, конечно, боялся затевать какие-либо выяснения.

Особенно нестерпимой стала обстановка в музее при Васильеве и Эйферте (стараниями Гольдингер и Попова). Поэтому я без сожаления в середине 1936 года перешел на полставки — моя собирательская работа была прикончена приказом Керженцева, в Гравюрный кабинет пришел новый заведующий взамен Сидорова, не менее мне враждебный, чем Сидоров, — М. И.Фабрикант, тот самый профессор университета 20–х годов, про которого В. В. Павлов сказал: «Михаил Исаакович — воплощенное диалектическое противоречие: он как бы и есть и его как бы и нет». Выражаясь менее учено (и менее изящно) — Фабрикант был дурак и трус, а это опасное соединение, как известно, может привести к непредсказуемым последствиям.

В 1937 году, при Эйферте, Музей изобразительных искусств прибавил к своему названию ***«имени А. С. Пушкина».*** Об обстоятельствах и причинах возникновения такого высокого посвящения стоит рассказать, потому что даже сейчас это приводит некоторых в недоумение.

В 1937 году было столетие со дня смерти Пушкина. Этот совсем не веселый, а скорбный юбилей Сталин явно счел удобным прикрытием для бесчисленных смертей, происшедших по прямой его вине — его, видимо, нисколько не смутила возникавшая сама

собой очень мрачная аналогия между разделенными столетием трагическими событиями. Юбилей был обставлен самым торжественным образом: вышло новое собрание сочинений, много книг о Пушкине, устроена огромная выставка, советская интеллигенции получила кратковременную свободу говорить, что думаешь (конечно, как можно дальше от политики), углубляться в новые изыскания, касавшиеся биографии и творчества великого поэта, и выражать свое преклонение перед ним в литературных произведениях, театральных постановках, кинофильмах и т. д. Нужно было дать имя Пушкина какому- нибудь достойному этого имени крупному и значительному культурному учреждению. Музей вполне отвечал таким требованиям, и присвоение ему имени Пушкина вовсе не было случайным — к середине 30–х годов музей стал широко популярным. К тому же другие учреждения такого значения и масштаба уже были украшены именами Ленина, Горького, а то и Ворошилова, Кагановича, Молотова и т. п.

Музей воспринял высокую почесть сдержанно, даже скорее растерянно. Но в 60–80–е годы он получил мировую славу, осененный именно великим именем Пушкина как Pushkin Museum of Fine Arts. А торжественный юбилей 1937 года стал очень редким «прорывом» в тяжелой и мрачной обстановке словно остановившейся истории.

Свое, личное

Личная судьба А.Ч. Женитьба. Переселение в квартиру М.О.Гершензона и встречи в его доме. Б.Пастернак. Рождение дочери. Люди в доме № 13 по Плотникову переулку. Чтение лекций. Встреча с М.Бабановой

Прочитав предыдущие страницы, я лишний раз убедился в том, что период, который я только что описывал, — между окончанием университета и уходом из музея, т. е. между весной 1929 года и январем 1938 года, оказался одним из самых насыщенных в моей жизни. Действительно, за это время произошли большие перемены во всем моем существовании, в какой-то мере определившие всю мою дальнейшую жизнь. Даже не в какой-то мере, а по правде сказать, целиком определившие, потому что я не только в это время женился и появилась на свет единственная дочь, сыгравшая в моей жизни роль более чем большую, не только стал ученым секретарем музея, но погрузился в самую гущу художественной жизни; в это время сложились отношения и начало дружбы с целым рядом замечательных художников; в это время появилась моя первая книга и первые статьи в газетах и журналах; в это время началась и довольно расширилась моя педагогическая деятельность. Наконец, мои отношения с людьми вышли за пределы только художественной среды, потому что в это время я оказался напрямую связанным и с литературой, и с театром, и с кино.

27 июля 1929 года я и Наташа поженились. Когда Наташа накануне сказала Вере Дмитриевне, что выходит замуж, то была очень удивлена тем, что Веру Дмитриевну это сообщение нисколько не удивило, и та даже знала почему- то, за кого Наташа собралась выходить! Мы уже раньше решили дождаться окончания университета и, если возможно, найти работу, чтобы быть вполне самостоятельными, но, конечно, не думали, что о наших намерениях догадываются посторонние. Когда мы утром 27 июля, одетые во все лучшее, что у нас было (очень скромное и очень немногое «лучшее»!), пришли в арбатское отделение ЗАГС, одиноко сидевшая в пустой комнате молодая девушка, поглядев на нас, даже не спросила, зачем мы пришли, а просто взяла какую-то надлежащую книгу, стала нас в нее записывать, а потом очень ласково нас приветствовала, пожелав всяческого счастья. Мы находились, конечно, в состоянии очень смущенном и взволнованном, но были очень довольны простотой и полной

неэффектностью брачной церемонии.

В связи с арестом отца, мои родители и брат должны были уехать из нашей опустевшей квартиры, и мне тоже нужно было убраться восвояси. Моя комната описана не была — я был сочтен самостоятельным человеком. И в начале августа я перебрался в гершензоновскую квартиру в Плотниковом переулке на Арбате, ставшую тогда уже обычной для тех времен (да и позже — тоже) «коммунальной». Я взял с собой свое нехитрое имущество: небольшой книжный шкаф, отцовское деревянное кресло с ручками (то самое, которое стояло перед его письменным столом в Саратове), свое белье (костюмов, кроме того, что был на мне, у меня не было) и отданные мне отцовские и материнские книги, мое главное сокровище. И шкаф, и кресло, и книги — целы и находятся в моей нынешней комнате, в которой я живу с 1959 года.

Мое переселение в квартиру М. О. Гершензона в самом скором времени, в том же году, привело к одному из самых важных событий в моей жизни — к знакомству с Борисом Леонидовичем Пастернаком. На антресолях гершензоновской квартиры, где в свое время находились кабинет и библиотека М. О., жили тогда ученик Гершензона, литературовед Яков Захарович Черняк с женой Елизаветой Борисовной и двумя детьми — Наташей и Борей.

Черняк был близким другом Пастернака, и когда тот приходил к нему в гости, Яков Захарович звал меня к ним наверх. Пастернак читал свои новые стихи и свою новую, тогда впервые им начатую прозу. Я слушал из его собственных уст еще не напечатанную «Охранную грамоту» и мог наблюдать за совершенно поразительными изменениями его лица. Иногда оно каким-то странным образом удлинялось, становилось некрасивым, даже уродливым, каким- то «лошадиным», но в следующую минуту он вдруг, встрепенувшись, словно очнувшись, превращался в какое-то воплощение Аполлона, с таким гармоничным и прекрасным лицом, каких я никогда ни у одного человека не видел. Это, конечно, следовало за каким-то движением его внутреннего мира, за его размышлениями, очевидно, за каким-то его душевным состоянием. Его странный голос, иногда с какими-то выкриками, иногда совсем глухой, действовал совершенно гипнотизирующе на слушателей.

Я должен сказать, что видел за свою жизнь множество замечательных людей. Людей выдающихся, иногда всемирно знаменитых. Но только три раза у меня было полное убеждение, что я нахожусь в присутствии гения, в присутствии даже, может быть, не полубога, а просто самого Бога. Так было с Феллини, так

было с Марком Шагалом и так было с Пастернаком. Во всяком случае, Пастернак и его поэзия, удивительная и необыкновенная, стали одним из главных составных элементов моего душевного мира. Я себе не представляю своей внутренней жизни без него, без постоянного и неизменного повторения наизусть его стихов.

Когда Черняки уехали из нашей квартиры, прекратились приходы Пастернака. Но мои добрые отношения с ним сохранились на всю жизнь, хотя видел я его нечасто. В последний раз я виделся с Пастернаком в 1957 году. Это была большая удача, потому что он совсем уединился в своем Переделкине. Мыс дочерью Машей поехали ранним утром в санаторий Узкое — навестить А. Б. Гольденвейзера. Мы застали его на веранде за обеденным столом (обед уже кончился), беседующим с сидевшими с ним за одним столом Борисом Леонидовичем и артистом Рубеном Николаевичем Симоновым. Я очень обрадовался такой встрече. Спрашивать Пастернака, как он живет и что делает, мне не было нужно — это было всем известно[6].

А он подробно расспрашивал, как я живу и что делаю. И это было никак не для «светской беседы» или из вежливости — такими подробностями он интересовался и был так ласков. У меня был тогда очень для меня немаловажный момент в жизни: год назад вышел в свет первый том затеянной мною многотомной «Всеобщей истории искусств», доставивший мне немало мук как редактору этого тома, посвященного искусству Древнего мира, а в 1957 году я заканчивал свою первую большую книгу об американском искусстве, готовясь уйти из института Академии художеств, чтобы перейти в институт истории искусств Академии наук СССР. Пастернак очень заинтересованно и благосклонно расспрашивал обо всех обстоятельствах и деталях моей деятельности и вполне ее одобрил — я словно получил от него благословение на всю дальнейшую жизнь. Такие необыкновенные люди вполне оправдывают существование человечества на нашей неуютной и горестной планете.

Но вернусь к началу. В первые полтора года с августа 1929 года Наташа и я совершили два путешествия — на Кавказ и в Крым, но они оба вышли малоудачными: в первый год, в Геленджике, я совсем расхворался, на следующий год Судак хоть и вышел много приятнее, но мы не купались, а только ходили к морю — на большее у Наташи не было сил — из-за беременности. Но обкатанные морем камешки мы собирали усердно — все знают, как они хороши. Чемодан для поездки в Судак нам укладывал мой брат Митя: уложив два совершенно одинаковых очень скромных Наташиных платьица, в красных пятнышках, он торжественно изрек: «Тираж — два экземпляра» (он увлекался

тогда полиграфией).

19 января 1931 года, в Крещение, родилась наша единственная дочь Маша. И сразу стала непреложным центром нашего дома и нашей жизни, сохранив это главенствующее положение навсегда. Наташу не отвезли, а отвели в родильный дом, который находился позади нашего дома, хотя считался находящимся в Денежном переулке, но в заборе, разделявшем оба участка, был сделан проход из одного переулка в другой. Родила Наташа благополучно, но родильный дом, куда мы ее поместили, оказался очень дурным — то ли грязным, то ли небрежно непрофессиональным: Наташу заразили родильной горячкой и не умели ее лечить. Наташа была в очень тяжелом состоянии, а ее еще вздумали передать в какой-то другой родильный дом. Тогда мы с отцом забрали Наташу домой, принесли на носилках через проход в заборе, а за нами мой брат нес новорожденную Машу. Наташа (с достаточными основаниями) боялась, что умрет, и просила назвать тогда дочку ее именем. Я пригласил знаменитого в те времена профессора — гинеколога Илькевича, и он вылечил Наташу. Но других детей, кроме Маши, у нее быть уже не могло.

У Наташи вся жизнь переместилась домой. Она продолжала работать в музее, но все ее помыслы сосредоточились на Машеньке. Что бы она ни делала в тридцатые годы — а она вела тогда музейный рабочий кружок, писала свои первые книги — о Луке Кранахе, о Рубенсе, вместе с В. Н. Вольской о Рембрандте, — все это было даже не вторым, а очень дальним планом по отношению к нашей дочери. В 1940 году Наташа даже ушла из музея (с помощью своего дяди А. Б. Гольденвейзера[7]), чтобы все свое время посвятить Маше, которой в этом году исполнилось девять лет.

Начиная с 1929 года мы с Наташей каждый Новый год встречали у Лазарева, в обществе (неизменном!) его жены Веры Николаевны, М. В.Алпатова и его жены, М. А.Ильина и его жены и нашей общей подруги Д. С. Либман. На Новый 1941 год Алпатов принес сочиненные им на всех присутствующих эпиграммы, на Наташу была такая:

Мой дядя самых честных правил,
Но службу бросить мне помог,
И в няньки к Машеньке приставил —
Он лучше выдумать не мог!

В течение тридцатых годов Наташа и Маша воспринимались мною как неразрывное единство, как самое главное и самое дорогое в моей жизни. Наташа вкладывала в Машу всю свою

душу, очень тщательно и деликатно формируя ее ум и сердце, нисколько ее не забалывая и не портя. И была в эти годы очень спокойной, без всяких нервических припадков, которые так часто бывали у ее отца.

Ровно так же относилась к Маше Наташина мать Мария Борисовна, вдова Михаила Осиповича. Ее добрейшая душа в эти годы вся целиком «растрачивалась» на ее внучку — Маше досталось несметное богатство ласки и заботы.

Мария Борисовна была совершенно прелестным человеком — очень красивая, очень стройная и не потерявшая свою красоту до глубокой старости, необычайно умная, высокообразованная и жившая целиком теми же духовными интересами, что и ее муж и весь их круг.

Когда Маше исполнилось пять — шесть лет, Наташа и я начали снова путешествовать — мы могли с абсолютно спокойным сердцем оставлять Машу с Марией Борисовной — она оберегала и воспитывала ее лучше нас обоих.

К нам приходило много очень разных людей. Прежде всего Елизавета Николаевна Орлова — ближайший друг Михаила Осиповича и Марии Борисовны, художница, приятельница Серова и Коровина, с которыми вместе училась, общественная деятельница начала века, издававшая «критическое обозрение», авторами которого были крупнейшие ученые тех лет.

Она была родной внучкой Михаила Орлова, который брал Париж. Ее бабушкой была Раевская, за которой ухаживал Пушкин. Другим ее дедом был Павел Иванович Кривцов, дипломат, который в сороковые годы присматривал за русскими художниками в Риме в те времена, когда там был Александр Иванов. Он был братом декабриста Сергея Кривцова и Николая Кривцова, которому Пушкин посвятил свои стихи. Архив Кривцовых, кстати сказать, Елизавета Николаевна отдала Михаилу Осиповичу, и он по этим материалам написал одну из его лучших своих книг «Декабрист Кривцов и его братья». Этот самый Кривцов Павел Иванович был женат на Репниной, той, что помогала Шевченко, а та была по прямой линии потомком Ломоносова. Так что Елизавете Николаевне в свое время досталось имение Ломоносова под Петербургом — Рудица, много вещей, оставшихся от того времени.

Обладая значительным капиталом, она в 1912 году построила для себя и для гершензоновской семьи дом в Плотниковой переулке (тогда он назывался Никольским, по церкви, стоявшей на углу переулка, на Арбате) и была самым близким, родным человеком и для Марии Борисовны, и для детей Михаила Осиповича.

У Ломоносова была страсть к стеклу, он даже написал поэму «О пользе стекла» и усердно собирал образцы стекла его времени и более раннего. И вот эти дивные старинные бокалы XVII века, Елизавета Николаевна Орлова дарила маленьким Гершензонам пить воду, и они их били усердно, а она их заменяла новыми и новыми. У меня сохранились три зеленых рюмки, один бокал, по — видимому XVII века, звенящий, как камертон, если его осторожно щелкнуть, долго звучащий нежным звуком. Остались разрозненные вещи из зеленого сервиза Веджвуда. У меня сохранились двурукая ваза, несколько тарелок и одна совершенно чудесная тарелочка в виде листа винограда. Когда мне в 1959 году пришлось быть в Англии, там как раз была выставка к двухсотлетию веджвудовской мануфактуры, и по этой выставке, на которой таких вещей, как у меня, не было, я все-таки смог определить, что эти работы относятся к самому началу их деятельности, около 1760 года, поэтому они могли еще попасть к Ломоносову. Я знаю, такая ваза есть в Эрмитаже, но она мышино — серого, а не зеленого цвета; а моя ваза вся покрыта виноградными листьями, так что эрмитажная ваза в сравнение с моей и идти не может. Эта, очень вещественная, память об Елизавете Николаевне сохранилась и бережно хранится в нашей семье.

Елизавета Николаевна была барственного склада, полная, большая, с очень правильным лицом, с седой старомодной прической, какую носили в начале XX века, с живым и умным лицом, с очень веселым и добрым характером. Она воспитывала сирот девушек. Даже в 30–е годы, когда она лишилась и дома, и всего своего имущества, у нее все еще продолжали жить какие-то девочки и девушки, ею подобранные, ею выращенные и устроенные в жизни. По — видимому, это было даже не одно поколение этих самых сирот. Девушки, обожавшие Елизавету Николаевну, в годы революции спасли ее от репрессий, даже выхлопотали ей, как прямому потомку Ломоносова, маленькую пенсию от государства.

Елизавета Николаевна оставалась другом нашей семьи до самой своей смерти в 1940 году. Звали ее все Лили, и даже я звал ее так, настолько она была нам близким человеком. В мое время Лили жила в нижнем этаже построенного ею дома, в крохотной комнатушке, когда-то предназначавшейся для прислуги. На ведшей на второй этаж парадной лестнице (которая почему-то не употреблялась, ходили по черной) лежали покрытые толстым слоем пыли целые горы иностранных книг из усадеб предков Елизаветы Николаевны — Орловых, Раевских, Кривцовых, Репниных. Елизавета Николаевна предложила мне (когда я

переселился в гершензоновскую квартиру) разобрать эти кучи книг, отправить все, что возможно, в Ленинскую библиотеку, и взять себе, что мне захочется. Это были поразительные «раскопки» — под пылью хранились подлинные сокровища. Один раз я отправил в Ленинскую библиотеку целый воз книг о Северной Америке (именно воз с лошадью, а не автомобиль!), самые ранние книги были XVII века, самые поздние — тридцатых годов XIX века. Если бы я знал, что буду когда-то усердно изучать историю и искусство Соединенных Штатов! Уж, наверно, никуда не отправил бы, например, книгу Мак — Кензи об открытии им величайшей реки в Канаде, названной его именем! А ведь и все остальные были такого же рода. В другой раз отправил туда же воз географических карт XVIII — начала XIX века — в их числе была, например, гигантская карта Южной Америки на десяти или двенадцати больших листах, с массой белых пятен еще неоткрытых земель.

Но и на мою долю досталось немало удивительных книг, например прижизненное собрание сочинений Гете или тоже прижизненное пятитомное собрание сочинений Байрона, им самим составленное, или прекрасные и знаменитые французские книги 40–х годов с иллюстрациями Жигу, Жоанно, Домье и других художников (лучшие издания Кюрмера) и другие. Я стеснялся брать много книг — Елизавета Николаевна отдала бы мне все эти горы!

В выходящем на улицу деревянном флигеле жили сестра Елизаветы Николаевны — Екатерина Николаевна, ее муж, профессор Сергей Андреевич Котляревский и дочь Павла, одна из ближайших подруг Наташи, постоянно у нас бывавшая, толстая, добродушная. Ее отец был очень некрасив, почти уродлив, и мне потом рассказывала Вера Игнатьевна Мухина, сделавшая его портрет, необычайно похожий и весь пронизанный тонким и одухотворенным умом; что когда она ему сказала, что хочет вылепить его портрет, Сергей Андреевич спросил: «Зачем же, ведь я так нехорош!»

Приходили другие Наташины подруги — Фрося Васильева, Рита Ганешина. Приходил друг М. О. Гершензона — поэт Юрий Никандрович Верховский, большой бородатый человек, очень добродушный и, видимо, очень одинокий, явно дороживший приходами к нам.

Приходил доставшийся мне «в наследство» от Якова Захаровича Черняка художник Людвиг Адамович Оссовский, несчастный больной человек, заброшенный родными, совершенно нищий и бесприютный. Я как мог помогал ему — покупал его странные, полные печальной мистики рисунки, устроил в

издательство детской литературы, где к нему приветливо и заботливо отнесся заведующий художественной редакцией В. В. Пахомов — истинный ангел Божий. Но незадолго до войны состояние Оссовского перешло в душевную болезнь, он был помещен в интернат где-то к западу от Москвы, и начавшаяся война стерла его следы. Я хочу помянуть его добром. Боюсь, никто, кроме меня, его на всем Божьем свете и не помнит.

Рядом с домом был прекрасный фруктовый сад, посаженный в свое время Елизаветой Николаевной: в нем росли уже старые яблони и груши, высокая трава, в которой цвели ландыши; жил дятел, пел соловей. С садом была связана вся жизнь Наташи, когда она была маленькая. Сад был изрядно вытоптан, когда дом надстраивали — в середине 30–х годов над существующими двумя этажами надстроили еще три (тогда была уничтожена мансарда, где жили Черняки, и они получили квартиру на Таганке). Во время войны сад окончательно погиб от немецкой бомбы.

Я в тридцатые годы неплохо зарабатывал, особенно когда начал параллельно с работой в музее заниматься педагогической деятельностью (с 1932 года), и потому мог усердно собирать книги. У меня были две излюбленные букинистические лавки: одна — на Арбате, другая — на Кузнецком мосту — книжная лавка писателей. За прилавком на нижнем этаже там были полки с иностранными книгами, в которых рыться можно было, только сидя на корточках. Когда я приходил туда, то очень часто видел за прилавком маковку Сергея Эйзенштейна, как и я любившего там рыться. А когда приходил он, то мог видеть меня в такой же позиции. Так произошло наше знакомство, очень дружелюбное, так как мы друг другу не мешали, разыскивая совсем разные книги. Я стал встречаться с ним и у Виктора Никитича Лазарева. У нас были очень различные взгляды и вкусы, но, конечно, беседовать с ним было интересно. Но для меня это было вовсе не первое знакомство в мире кино.

Оно было много шире и глубже. В 1932 году был организован Институт повышения квалификации творческих работников. Он не находился в каком-то одном определенном месте, а был рассеян по всем театрам, киностудиям (их тогда называли «фабриками») и другим учреждениям культуры. Не помню, кто меня пригласил на Мосфильм, но я читал там курс всеобщей истории искусств целых три года и, конечно, перезнакомился с большим числом режиссеров, актеров, операторов. Иногда читал в очень большом просмотровом зале, где на далеком экране мои диапозитивы вырастали до гигантских размеров — представьте себе «Портрет Достоевского» Фаворского, увеличенный до

размеров огромной фрески — Фаворский преспокойно выдерживал какое угодно увеличение! Чаще читал во много меньшем просмотровом зале…

Какое-то время я читал и в студии («на фабрике») документальных и научно — популярных фильмов и с благодарностью вспоминаю эти поездки и доброе отношение ко мне слушателей.

Но гораздо важнее оказалось для меня тоже трехгодичное пребывание в Театре Революции. Я сейчас совершенно не могу сообразить, что меня привело туда в 1932 году, но я был приглашен читать лекции по всеобщей истории искусств актерам и режиссерам этого театра. Главным режиссером был тогда Алексей Дмитриевич Попов, и я чрезвычайно быстро стал не только лектором, каковым и был в течение трех лет, до 1935 года, но и его советником по всем вопросам изобразительных искусств не только отдаленных, но и современных. Я советовал, кого приглашать на оформление разных спектаклей, — насоветовал, например, пригласить В. А. Фаворского оформить «Собаку на сене» Лопе де Вега, где главную роль гениально сыграла Мария Ивановна Бабанова. Когда театр затеял издать книгу о своей истории и современности, я снова посоветовал поручить иллюстрировать эту книгу Фаворскому (и вместе с ним его ученику М. И. Пикову и другим художникам). Фаворский сделал (в 1933 году) великолепный гравированный на дереве портрет М. И. Бабановой в знаменитой ее роли мальчика Гоги в пьесе Файко «Человек с портфелем», явно навеянный портретами любимого Фаворским Эдуарда Мане. М. И.Пиков сделал одну из самых лучших своих работ — портрет той же Бабановой в роли Полиньки в поставленном Мейерхольдом «Доходном месте» Островского.

Я видел в двадцатые и тридцатые годы многих великих актеров — и Станиславского, и Качалова, и Чехова, и Коонен, и Бирман и других — Бабанова была из того же удивительного и, должно быть, не простого человеческого, а божественного племени. Все, что она делала в театре, было и неожиданно, и прекрасно, и глубоко сердечно и человечно. Знакомство и дружба с Бабановой — в числе самых лучших и самых важных моих дружб за всю мою жизнь. Я испытывал по отношению к ней какое-то благоговение, почти влюбленность. Не могу сказать, чтобы у меня были какие-нибудь изобильные или сколько-нибудь частые романтические настроения. Но, по правде сказать, все-таки две женщины были такие, которые внушали мне чувства большие, чем просто почтение. Это художница Наталья Сергеевна Изнар, жена Купреянова (о ней я расскажу дальше), и Мария Ивановна

Бабанова.

Я посылал ей все свои книги, но когда в 1971 году хотел отнести только что вышедшие, она попросила меня не приходить, а прислать с кем-нибудь — вероятно, не хотела, чтобы я видел ее постаревшей. Но и в старости она была неподражаемо хороша: ее последняя роль в театре — теперь уже называвшемся Театром имени Маяковского — роль старой женщины — была сыграна столь же совершенно, как ее лучшие роли давних времен.

В 1935 году А. Д. Попов ушел в Театр Красной Армии и забрал меня с собой. И я читал еще три года в этом театре. Но там было очень неуютно: архитектор Алабян построил нелепейшее сооружение, очень пригодившееся фашистским летчикам, удобно ориентировавшимся по нему в своих полетах над Москвой в 1941 году, но для работы театра абсолютно непригодное. Фаворский написал монументальный раздвижной занавес — его пришлось превратить в неподвижный, закрыв на три четверти. Фрески Дейнеки трудно было даже разыскать в путаном интерьере.

К этому времени я, видимо, стал модным лектором и в 1935 году был приглашен в Малый театр. Я с великим отвращением еще с 20–х годов относился к этому театру, но из любопытства решил посмотреть, каким он стал через десять лет после последнего моего посещения этого театра — мифа, нисколько не соответствовавшего постоянно произносимым хвалебным речам о нем. Но мой новый опыт только убедил меня, что этот миф меняться не способен. Меня слушали почтенные старые актеры, толстые, какие- то опухшие, с обвислыми щеками, чуть ли не лежащими на плечах, и очень толстые, еще более почтенные седовласые актрисы, весьма сильно раскрашенные. Молодежи передо мной не было — то ли ей было неинтересно, то ли ей не полагалось повышать свою квалификацию. И эти актеры все, что я показывал, воспринимали примитивно — натуралистически: «Как же египтяне могли ходить, если у них плечи были развернуты к зрителям, а ноги повернуты вбок?» Они не могли понять ни малейшей условности — только как у передвижников, ни шагу дальше. Я не смог выдержать больше трех лекций при таком абсолютном непонимании искусства и сбежал из этого безнадежного места.

С этим Институтом повышения квалификации творческих работников я до сезона 1938/1939 года был связан не только лекциями в Театре Красной Армии, но и лекциями на полусамостоятельном факультете повышения квалификации художников в возрожденном из небытия в 1935 году Московском художественном институте. Читать там лекции было гораздо

легче (а в чем-то и интереснее) — меня слушали взрослые профессиональные художники, которые прекрасно знали необходимость глубокого понимания классического и современного искусства Запада и задавали разумные вопросы. Эти лекции стали для меня своего рода «трамплином» для многолетней постоянной работы в Московском художественном институте в качестве доцента, а потом и профессора.

Думаю, главной заслугой меня, как лектора, было то, что я читал без всякой воды словесной, без всяких ненужных повторений. Надо сказать, что с самого начала у меня была одна особенность в моих лекциях — я их никогда не записывал и никогда их поэтому буквально не повторял. Я каждый год каждую лекцию читал заново, как будто в первый раз, потому что я за год узнавал что-то новое, успевал заказать и новые стекла, и, наконец, мне было просто самому интересно читать вновь, а не повторять что-то по бумажке.

Иногда я об этом жалею, потому что таким образом получилось, что лекции по всеобщей истории искусств, которые я читал в течение 30 лет, так и остались только в воспоминаниях тех, кто меня слушал. Кому-то они пошли явно впрок, а кому-то впрок они явно не пошли, как это потом многократно обнаруживалось. Мои внуки попробовали как- то подсчитать и пришли к заключению, что у меня было за мою педагогическую деятельность минимум три с половиной тысячи учеников. Когда со мной сейчас здороваются какие-то бородатые пожилые люди, я совершенно не могу сообразить, кто это такие, пока они мне не представятся.

Но эта встреча с большим числом художников — живописцев, скульпторов, графиков, театральных художников — была в моих, с каждым годом все стремительнее расширявшихся, связях с художниками не началом, а, наоборот, одним из далеких результатов уже давно сложившихся связей, ставших одной из важнейших сторон всей моей жизни.

Художники в музее

Начало знакомств с художниками — посетителями Гравюрного кабинета. Родионов, Фаворский, Штеренберг, Гончаров, Купреянов, Шевченко, Бруни, Татли

Начало возникновения этих все более широких связей коренилось в Музее изобразительных искусств — с тех пор как я стал ученым секретарем музея и в еще большей степени, когда стал заведующим отделом советской графики в Гравюрном кабинете.

До этого я знал только двух художников: совсем мимолетной была поездка к Евгению Евгеньевичу Лансере, зато бесконечно важнее — знакомство с Анной Семеновной Голубкиной (о чем я уже рассказал выше). Голубкина дала мне самое высокое представление, что такое подлинно великий, даже гениальный художник, и мне не приходилось удивляться, встречая художников, близких или даже равных ей по силе и глубине своего божественного дара. А я был знаком или близко дружен со всеми советскими художниками такого ранга, не считая, конечно, тех, что уехали за границу или умерли до того, как я стал заниматься советским искусством!

Мне пришлось не раз удивляться количеству ничтожных и бездарных художников, убежденных в своем величии — наслушавшись сервильных дифирамбов каких-нибудь Сидорова или Голлербаха, Сокольникова или Недошивина. С подобными художниками добрых отношений у меня что-то не получалось.

Меня глубоко занимали художники другого рода, художники настоящие, оригинальные, и я находил таких в неограниченном количестве. Очень сильно (иногда нарочито) заблуждаются те историки, что считают сталинские времена сплошным беспросветным мраком. Очень дурному и мрачному времени всегда противостояла глубокая и решительная оппозиция настоящих художников, писателей, артистов, режиссеров, музыкантов — очень многим из тех, кто был в этой оппозиции, приходилось очень плохо: их травили, арестовывали, ссылали в лагеря или расстреливали. Но они были!

Другие, часто весьма именитые писатели и художники — например, Шолохов, Вишневский, Федин, Алексей Толстой, Леонид Леонов, Александр Герасимов и т. д., — выступали с омерзительными речами или статьями в поддержку какого-нибудь очередного фальшивого процесса над воображаемыми

«врагами народа». Но совсем иначе вели себя и Мейерхольд, и Мандельштам, и Пастернак, и Товстоногов, и Фаворский, и Сарьян и многие другие честные и храбрые люди. И именно они и представляют то подлинное и непогасимое наследие нашей культуры, которое только и достойно вечной жизни.

Я глубоко счастлив, что моя жизнь, чего бы она ни стоила сама по себе, вся прошла среди таких людей. О них мне прежде всего и нужно вспоминать. Первым художником, который открыл в 1929 году бесконечную вереницу моих встреч, знакомств, близких дружеских отношений с художниками, был прелестный, умный, добрый и ярко талантливый человек — Михаил Семенович Родионов. Чуть ли не на второй день после того, как я стал ученым секретарем музея, он пришел ко мне в директорский кабинет и попросил выписать ему пропуск на вынос из музея им самим сделанных художественных произведений. Дело было в том, что он не только был тогда одним из музейных реставраторов, но и жил в здании музея, в находившейся в дальнем конце музея, противоположном Волхонке, квартире своего тестя Владимира Егоровича Гиацинтова, бывшего до 1924 года главным хранителем цветаевского Музея изящных искусств. Я пошел к нему домой, посмотрел его прекрасные работы — картины и рисунки, и торжественно написал ему пропуск, первый в моей жизни. Позже я с ним сблизился после встреч и взаимных совместных работ в Детиздате.

Это был один из самых прелестных людей, которых я знал когда-либо, тонкий, изящный, нежный, веселый, шутливый, необычайно простой и в самом высочайшем смысле интеллигентный и одухотворенный человек, прекрасный художник, скромнейший, кстати сказать, который никогда не интересовался никакими земными благами. И весь его дом оказался таким. Прелестная жена, сестра актрисы Гиацинтовой, Елизавета Владимировна; дочка его Лена, с которой до сих пор у нас самые нежные отношения, и двое сыновей, которые стали в свое время докторами наук, биологами. Один недавно умер, совершенно неожиданно, а другой, Ваня, живет в нашем доме, в соседнем подъезде, очень милый и симпатичный биолог. Так разделилось младшее поколение Родионовых: две дочери-художницы и два сына — биолога. С младшей дочерью Соней я мало знаком, никак с ней связан не был. А со всем родионовским семейством с тридцатых годов установилась близкая связь, не только по работе, но и просто домами, что называется. И это сохранилось на всю жизнь.

Когда Полонский достал деньги на покупку гравюр советских художников, я стал часто бывать в Гравюрном кабинете. Это

началось с середины 1930 года, и в этом году я впервые в жизни увидел Владимира Андреевича Фаворского. Я уже много знал о нем — и читал, и слышал, но в тот раз не решился подойти к нему: он был приглашен посмотреть какую-то подобранную музеем выездную гравюрную выставку, которая была разложена на столах в реставрационной мастерской, находившейся в одном из углов Гравюрного кабинета и отделенной от остального пространства стеклянной перегородкой. Через стекло я его и увидел. Кто-то сказал мне, что это Фаворский, но я только доглядел его темные, подстриженные, словно «под горшок», волосы, крепкую широкую шею (он стоял ко мне спиной), высокую стройную фигуру в длинной рубахе — «толстовке». Вскоре я снова увиделся с ним, познакомился и разглядел как следует. У Владимира Андреевича был высокий открытый лоб, зоркие внимательные глаза, прямой нос, недлинные усы и большая борода. В своей ранней статье о Фаворском А. М. Эфрос написал о внешности Фаворского совершенно фантастические вещи: что у него будто бы была «медвежья» фигура, «закорузлые» пальцы! Ничего подобного не было. У В. А. была настоящая военная выправка — ведь он участвовал в Первой мировой войне, в Брусиловском прорыве, у него был крест святого Георгия за храбрость, он был прямой и стройный. А пальцы у него были как у пианиста или хирурга. А как он танцевал! Лицо у него и весь его облик если и были немного грубоватыми, «крестьянскими», то вовсе не такими, как у деревенского мужика, а как у библейского пророка или древнегреческого философа. Да он и был мудрым философом, другом Флоренского, человеком высочайшей культуры.

Я стал видеться с ним очень часто, не только на заседаниях закупочной комиссии, членом которой он был. Он стал приносить мне свои новые и старые (которых весьма мало было в коллекции Кабинета) гравюры, потом я стал ездить к нему за гравюрами, потом подолгу сидеть у него и смотреть, как он работает, рыться в папках (с его разрешения, конечно). Я узнал его очень близко и был предан всей душой этому необыкновенному человеку.

Владимир Андреевич был прост и демократичен — он никак не мог усвоить и даже воспринимать суждения и толки о его исключительности, о его глубоком и мудром душевном строе, о своем высоком величии. Как-то после войны Наташа, моя жена, сказала ему: «Владимир Андреевич, ведь вы — гениальный художник!» Он растерянно ответил: «Ну да, ну да…» — он словно не мог осознать, что речь идет о нем.

Я ходил смотреть, как он работает над своими фресками или театральными оформлениями. Поразительно и увлекательно

было следить, как рождается художественный образ, как он постепенно воплощается в реальное бытие, как отвергаются не получившиеся, неубедительные варианты, как многократно проверяется стройность композиции, каждое выражение лица, каждый жест и поворот фигуры, как выбираются годные именно для данного случая приемы построения формы, даже ритм и бег линий, прорезанных штихелем! Я убедился, как неверны самые исходные позиции ученых, рассуждающих, что у великих художников могут быть решительные расхождения между образом и формой, между идеей и теми или иными формами ее выражения. У Фаворского всегда был строго продуманный замысел и только одна — единственная дорога к его воплощению.

Я уже тогда, в начале и тем более середине тридцатых годов, понял, как мне повезло, что я, даже специально об этом не размышляя, «не мудрствуя лукаво», стал параллельно заниматься классическим и современным искусством Запада и — советским искусством, живописью и особенно графикой. Классическое искусство давало строгий и непреложный камертон для определения качества художественного творения; советское искусство — для понимания как искусство делается: видя, как работают современные мастера, можно было гораздо точнее и надежнее представлять, как работали мастера, ставшие классическими. Многие ученые, занимающиеся искусством, плетут небылицы, не знают, а придумывают предполагаемый процесс создания художественного произведения. Фаворский научил меня уму — разуму.

Я писал о нем (как недавно подсчитал) семнадцать раз, хоть и не ручаюсь, что цифра эта не преуменьшена.

Я скажу сейчас о некоторых выразительных эпизодах моих встреч с Фаворским, случившихся только в тридцатые годы. Во время войны, в эвакуации в Самарканде, он сыграл такую огромную роль в моей жизни и жизни моей семьи, что об этом надо рассказать особо и подробно, когда речь в этих воспоминаниях дойдет до этого важного периода моей жизни.

Вот, к примеру, один эпизод. Семья В. А. жила в Загорске, он приезжал туда на воскресенье, потому что был профессором в Полиграфическом институте, помещавшемся в здании Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, и его рабочая комната находилась в доме на дворе училища. Дом в Загорске, куда я однажды приехал, был каменный, двухэтажный, небольшой и стоял как-то особо — я не запомнил, чтобы по сторонам его были какие-нибудь другие сооружения. Я поднялся на верхний этаж, в очень большой невысокой и длинной, почти пустой комнате посередине стоял квадратный столик и за ним сидел

Владимир Андреевич, трудясь над какой-то гравюрой. Окна, по обоим далеким друг от друга концам комнаты, были открыты, по комнате гулял теплый ветер и сдувал со столика крохотные, аккуратно вырезанные кусочки белой бумаги — весь пол был усыпан ими. «Что вы сейчас делаете, Владимир Андреевич?» — спросил я. «Да вот, делаю тут пустяки», — ответил он. Я поднял с пола два или три кусочка бумаги — это были пробные оттиски восхитительных миниатюрных концовок к рассказам Пришвина: цветущий вереск и другие цветы и травы. Каждая из этих концовок была законченной ювелирной драгоценностью! А он считал их «пустяками»! Если бы я тогда собрал все валявшиеся на полу «пустяки» — не сомневаюсь, что В. А отдал бы мне их все, удивившись, зачем мне этот «сор» нужен. Он, вероятно, потом их просто выбросил за ненадобностью. Но я самым строгим образом ничего для себя лично не собирал, пока я в музее! Когда меня в январе 1938 года изгнали из музея — вот тогда я стал собирать то, что мне дарили художники, — покупать мне было не на что.

Вот другой эпизод, совсем уж поразительный. Как-то, в 1935 году, я рылся в одной из папок Фаворского, в его рабочей комнате на Мясницкой. Просмотрев ее, взял другую. В. А. сказал: «Эту смотреть не стоит, там ничего нет, кроме уже использованной бумаги, которую я иногда беру, чтобы делать что-то на обороте». Я сказал: «Я все-таки посмотрю» — и через минуту извлек из этой папки не «использованную бумагу», а драгоценное сокровище — карандашный портрет Пушкина — лицеиста! В. А. полагал, что это всего лишь подготовительный рисунок, по которому он нарезал в двух вариантах маленькую гравюру для издаваемого издательством «Academia» собрания сочинений Пушкина очень маленького формата. Гравюра сделана, а рисунок больше не нужен! Но маленькая гравюра вышла малоудачной и совсем не интересной, а этот большой рисунок был одним из самых совершенных шедевров, когда- либо созданных Фаворским! Я, не стесняясь, возмутился таким легкомысленным отношением Фаворского к собственным творениям и забрал «Пушкина — лицеиста» у его безответственного создателя. Я поместил этот рисунок на самое почетное место на устроенной мной и Марией Зосимовной Холодовской в 1936 году выставке книжной иллюстрации за 5 лет — в центре абсиды Белого зала музея; я дал этот портрет к своей только что написанной статье о Фаворском в Большую советскую энциклопедию; я поместил его в устроенный мною зал «Пушкин в искусстве» на большой юбилейной выставке 1937 года, и он был воспроизведен в красивом каталоге этой выставки — словом, сколько смог, сделал этого прелестного «Пушкина — лицеиста» всем известным. Но это было широко

подхвачено всеми, очень охотно. Когда пушкинская выставка переехала в Ленинград и была превращена в постоянный центральный Музей Пушкина, этому рисунку подобрали красивую широкую раму пушкинской поры с изящным золотым узором по белому фону — в таком торжественном виде рисунок прибыл в конце 1964 года на огромную выставку Фаворского в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Но никому не пришло в голову, что эта драгоценность принадлежит автору и надо бы приобрести ее у него, — не пришло в голову и Владимиру Андреевичу.

А если бы я тогда, в 1935 году, его послушался и не стал смотреть папку «использованной бумаги», годной лишь на то, чтобы иногда делать что-нибудь на ее обороте?

Вот типичная сцена из повседневной жизни В. А. в его московской комнате. В. А. и Михаил Иванович Пиков сидят напротив друг друга за столом, приставленном короткой стороной к окну маленькой комнаты; у каждого кожаная подушечка, набитая конским волосом, и над ней на высокой подставке сильная лупа, и оба погружены в работу над какой-то гравюрой. На топчане у двери (на котором на ночь стелилась постель) сидит Никита, старший сын Фаворского, очень талантливый художник, и с необычайной энергией и немалым шумом стругает деревянный чурбан, предназначенный для некой будущей скульптуры, и стружки летят по всей комнате, включая и стол Фаворского. Из недр квартиры раздается низкий бас Константина Николаевича Истомина: «Никита! Чайник уходит!», и Никита, швырнув чурбан, как бомба вылетает из комнаты. Владимир Андреевич поднял очки на лоб и, глядя вслед Никите, произнес: «Ну и темперамент!»

Я подумал, что Владимиру Андреевичу могли бы подобрать немного более удобные и спокойные условия для его высокого творчества. Но он об этом не думал до конца своей жизни. Когда я, уже в 50–е годы, приехал к нему в большой нелепый дом, построенный им вместе с тремя другими художниками где-то в районе Перова, он пригласил меня в действительно, на сей раз, огромную и высоченную мастерскую и в дальнем ее уголке стал показывать мне свои новые гравюры на маленьком столике — я почти не слышал, что он говорит, из-за дикого грохота: посреди мастерской два молодых скульптора с необыкновенным воодушевлением рубили гигантскую глыбу мрамора, и осколки летели по всей мастерской, прекрасно достигая и далекого маленького столика Владимира Андреевича. Не знаю, продолжал ли он находить это естественным и неизбежным. Я не посмел сказать ему, что у всякой скромности есть пределы.

Он всегда был окружен художниками, молодыми и совсем не молодыми, учениками истинными и мнимыми. Истинные ученики (в живописи или графике) воспринимали от него, в той или иной мере, силу и глубину его образного мышления, и я с глубокой благодарностью помяну имена таких художников: Дейнека, Пименов, Вильямс, Гончаров, Падалицын, Грозевский, Шпинель, Пиков, Ечеистов, Журов, Домогацкий, Никита Фаворский; после войны — Захаров, Голицын. Другие — старательные имитаторы внешних приемов Фаворского, даже прямые плагиаторы или просто совсем бездарные поклонники и (особенно) поклонницы, превращавшие свое почтение к Фаворскому в сектантство — были истинным стихийным бедствием, много навредившим Владимиру Андреевичу. По своей доброте он ни разу не решился разогнать эту назойливую и весьма агрессивную публику. Они до сих пор стараются заслонить собой Фаворского, стремясь (к счастью, неудачно) утвердить некие свои права на Фаворского. Совсем как было у Толстого и толстовцев, много лет назад!

Фаворский возвышается над всей этой суетой как подлинно великий мастер, который делает свое дело, не обращая внимания на дурное окружение.

Ровно так же он стал относиться к развязанной в конце тридцатых годов — в эпоху полного «цветения» «социалистического реализма» — не критике, а систематической травле его как «формалиста», враждебного этому самому «соцреализму». Эту дурную кампанию открыли в 1938 году Р. С.Кауфман и Ф. С. Мальцева, напечатавшие в журнале «Искусство» погромную статью о Фаворском. Следом за тем инспекторша Комитета по делам искусств Герценберг (имени не помню) «освободила» Владимира Андреевича от преподавания в художественных учебных заведениях. В годы войны травля прервалась, но в удесятеренном виде возобновилась в конце сороковых годов, в пору полного господства в художественной жизни Александра Герасимова и его банды (господства, препорученного Александру Герасимову Сталиным и Ждановым). Хор продажных критиков, травивших Фаворского, «освободил» его от всякой возможности что-либо зарабатывать. Какой-нибудь Н. В. Ильин, очень много о себе понимавший главный художник Гослитиздата, только что заказавший иллюстрации нескольким совсем молодым художникам, с высоты своего величия мог небрежно бросить Фаворскому, дожидавшемуся в коридоре своей очереди к Ильину: «Для ***вас*** работы у меня нет». Фаворского очень выручила дочь Петра Петровича Кончаловского, Наталия Петровна, поэтесса, добившаяся в Детиздате, чтобы именно

Фаворскому были заказаны рисунки к трем книжкам ее стихов о Москве — «Наша древняя столица». Какое бы ни было качество этих стихов — Наталия Петровна спасла Фаворского от голода.

На эти рисунки грубую хулу посмел высказать Федор Модоров, дрянной художник и грязный проходимец, назначенный Александром Герасимовым директором Московского художественного института (после того, как в 1949 году оттуда были изгнаны С. Герасимов, Дейнека, Матвеев, Осмеркин, Лазарев).

Владимир Андреевич мог бы возмущаться, ожесточаться. Он этого не делал, совсем наоборот. Он ведь был не только великим художником, но и великим человеком. В день смерти Сталина мы с ним вместе шли куда-то по московским улицам, и он сказал мне: *«Мы все в ответе за то, что у нас было».*

Я явно не смогу описать всех, даже самых интересных художников, ко мне приходивших — выберу лишь немногих самых ярких.

К таким безусловно относился Давид Петрович Штеренберг, в которого я прямо влюбился за его яркую оригинальность, причудливость, бесконечную доброту и приветливость. Он сыграл большую и важную роль в истории советского искусства первых лет после революции как председатель Изоотдела Наркомпроса, потом стал лидером ОСТа — самой передовой и прогрессивной художественной группировки 20–х годов. Он был прежде всего прекрасным живописцем — не зря же он в первые годы Октябрьской революции считался одним из главных «футуристов», как тогда вполне условно именовали и вполне реалистических художников, как Альтман, Матвеев или Анненков, и вполне условных, как Малевич, Татлин или Кандинский — попросту тех, кто первыми «пошли работать с большевиками». Штеренберг был «посередине» между крайностями такого «футуризма». В своем кажущемся примитивизме он был чем-то близок Анри Руссо, но с очень тонким и глубоким чувством значительности мироздания в его великих и самых малых воплощениях. Величавые человеческие образы — «Старик» или «Аниська» — глубоко реалистические, полные достоинства и уважения к человеческой индивидуальности, освобожденные от всякого бытового окружения, с самым малым намеком на место действия (росток травы у ног старика, стол, данный сверху, за спиной девочки) — это подлинно гуманистическое обобщение человеческой жизни. А рядом преисполненные такого же глубокого уважения самые скромные явления обыкновенной повседневной жизни, поданные тоже сугубо индивидуально, возвышенные за пределы своей

скромной сущности, — «Селедка», «Простокваша» и другие, где тоже убрано все будничное бытовое окружение. К такому же выразительному и многозначительному лаконизму Штеренберг прибегает и в своих офортах (с собирания которых для коллекции музея началось мое знакомство с Давидом Петровичем) — это прежде всего полные необычайного изящества букеты цветов. Штеренберг занимался и ксилографией — причудливы и остро выразительны гравюры к сказкам Киплинга. Но очень хорош был, прежде всего, сам Штеренберг: невысокий, скорее маленький. Очень некрасивый, но с сияющим добротой и умом лицом, он был просто обаятелен в своих быстро меняющихся выражениях лица, во всех движениях и речах. При всей своей доброте, он был глубоко принципиален и убежден как в своем искусстве, так и в своем поведении. Он достойно возглавлял ОСТ («Общество станковистов»), объединив в нем изысканный состав художников, очень разных и очень ярких — таких, как Дейнека, Купреянов, Тышлер, Пименов, Вильямс, Гончаров, Лабас, Нисский, Шифрин, Зернова. Каждый воплощал целый мир новых оригинальных, смелых, свободных от всякой мелочности и поверхностности поэтических образов.

Штеренберг мог с полной сердечностью восхищаться и удачей совсем чуждого ОСТу художника. Как-то раз, взяв меня под руку, он ходил по устроенной где-то в самом начале тридцатых годов выставке парижских акварелей Александра Герасимова. Когда мы обошли выставку, он с искренней радостью воскликнул: «Посмотрите, что делает земля Парижа!» Эта серия парижских акварелей действительно оказалась лучшим созданием художника, в самом ближайшем будущем наделенного властью преследовать всех «инакомыслящих» художников, хотя бы на шаг отступивших от позиций АХРа, совершенно выродившегося позднего передвижничества, пышно величавшегося «социалистическим реализмом».

С художниками, бывшими членами ОСТа, я познакомился (со всеми) на протяжении тридцатых годов, и многие из них стали моими близкими друзьями. Недолгой оказалась дружба с Андреем Гончаровым — он мне изменил, когда образовался непрошеный и незаконный «круг Фаворского», претендовавший на чисто сектантское владение Фаворским: не спрашивая на то его согласия, но весьма агрессивно пытавшийся отстранять от Фаворского всех неугодных этому «кругу» людей, в том числе и меня. После войны Гончаров стал позволять себе грубые выходки против меня, очень меня обижавшие. Им не место в этих воспоминаниях, но они стерли те мои добрые чувства к нему, которые я питал в начале тридцатых годов.

Гончаров сильно смутился, когда в 1970–е годы я показал ему еще до печати мои письма из Ленинграда, которые собрался публиковать: там есть такая строчка: «Я Гончарова люблю больше всех после Фаворского». В те времена у нас были очень дружеские отношения.

В декабре 1931 года мы с Наташей поехали в гости к Гончарову, что имело чрезвычайно важные последствия. Гончаров жил тогда на Мясницкой в квартире своего отчима Кара — Мурзы, в большой квадратной комнате, похожей на школьный класс. Между окон красовалась гордая надпись, выведенная крупной идеально точной антиквой «Nulla dies sine linea» — «ни дня без линии». Обстановка сводилась к простому деревянному столу, на котором лежал только лишь листок бумаги с карандашным эскизом будущей деревянной гравюры с портретом Чарльза Дарвина, затем ширма, за которой пряталась кровать, и великого множества холстов, приставленных (частью в два яруса) ко всем стенам и ширме. Пока мы разговаривали с Гончаровым, раздался негромкий, но уверенный стук в дверь. Гончаров пошел открывать, и в комнату ворвался вихрь в образе человека среднего роста, из-за своей худобы казавшегося высоким, одетого в меховую куртку и финскую меховую шапку с длинными болтающимися наушниками. Посетитель и Гончаров начали очень церемонно пожимать друг другу руки, раскланиваться, Гончаров попятился назад, и стоящий позади него во втором ярусе огромный холст (по — видимому, портрет Сен Катаямы, японца, видного деятеля Коминтерна, — другой работы такого же большого размера у Гончарова не было) — этот холст опрокинулся и накрыл Гончарова и его гостя как крышей.

Когда они выбрались из-под Сен Катаямы, Гончаров представил нас друг другу. Это был Николай Николаевич Купреянов, замечательный художник, сыгравший важную роль в моей жизни, ставший одним из самых дорогих мне людей. Гончаров сказал, что я — ученый секретарь Музея изобразительных искусств, и Купреянов тотчас же набросился на меня с упреками, что музей неправильно отнесся к данной им для приобретения музеем его серии больших цветных «деревенских» литографий, назначив слишком низкую цену за очень сложную и трудоемкую работу. Я обещал проверить это дело и не сказал ему, что мне очень не понравилась эта работа — она была единственным в творчестве Купреянова ненужным откликом на модный тогда немецкий экспрессионизм. Подобного рода работы были тогда и у некоторых других остовцев, например у Пименова. Купреянов успокоился и пустился в разные рассуждения, свидетельствовавшие о яркой самобытности его характера.

После этой встречи Купреянов стал часто приходить ко мне в музей, обычно со своей первой женой Наталией Сергеевной Изнар, которая была не менее ярким и значительным человеком, чем он (я долго не знал, что они развелись, оставшись близкими друг другу). Я был у него дома — он жил наискосок от музея в Малом Знаменском переулке, в угловом доме против церкви Антипы, на первом этаже — окно на срезанном углу было обращено прямо к музею. На этом окне висела клетка с белой крысой — Купреянов открыл дверцу клетки и положил на нее руку, крыса выглянула, долго нюхала воздух, а потом пошла по руке Николая Николаевича на его плечо и там уселась — в ожидании угощения, которое и было ей предложено. Эта молчаливая сцена как нельзя лучше выражала душевный мир Купреянова и запомнилась мне на всю жизнь.

Купреянов был человеком резким, прямодушным, очень остроумным и даже злоязычным — мы не раз ссорились во время работы на ленинградской выставке (его раздражала моя медлительность при обдумывании развески какой-нибудь стены, я очень огорчался и даже начинал сомневаться, не зря ли ввязался в устройство этой выставки, но он сам восстанавливал успокоение моих расстроенных чувств, и все входило в должную колею). В конце концов, я очень к нему привязался, и для меня большим горем была его нежданная смерть 26 июля 1933 года. Он утонул во время купания на речке — притоке Клязьмы. Видимо, судорога свела ногу, когда он переплывал речку. Мы этим летом жили в Раздорах (это железнодорожная станция перед Барвихой), я взял газету «Вечерняя Москва» и вдруг нашел в ней сообщение о его смерти и о месте и времени гражданской панихиды; я бросился в Москву и прибежал на Кузнецкий мост, когда панихида уже началась, кто и что там говорили — не знаю, потому что меня тотчас посадили в соседней комнате писать некролог.

Я написал и свою первую в жизни газетную статью — о Купреянове. Когда устраивал в Музее изобразительных искусств осенью этого года графический раздел перевезенной в Москву выставки «Художники РСФСР за 15 лет», то повесил работы Купреянова (не только «Селищенские акварели») на самом почетном месте — в центре абсиды Белого зала, а следом устроил вместе с Наталией Сергеевной Изнар и Абрамом Марковичем Эфросом большую персональную выставку Купреянова на Кузнецком мосту — там, где проходила гражданская панихида. Для этой выставки очень много работ собрала созданная Московским союзом художников комиссия в составе Фаворского, Бруни, Горшмана, Эфроса и меня, на квартире Наталии Сергеевны

Изнар и ее мужа Абезгауза в доме у Никитских ворот, куда было перевезено все созданное Купреяновым с Малого Знаменского переулка, где он жил со своей второй женой Верой Яковлевной и только что родившимся сыном Яшей. Мне удалось устроить, чтобы с этой выставки (с добавлением работ, бывших на юбилейной выставке «Художники РСФСР за 15 лет») в Музее изобразительных искусств было куплено целых 175 вещей, отобранных Наталией Сергеевной Изнар и мною, и я разделил эту покупку пополам на равные по качеству части, одну из которых передал в Третьяковскую галерею, а другую — в Музей изобразительных искусств. В коллекцию моего музея я до тех пор, по какой-то нелепой условности, мог собирать только печатную графику, но не рисунки — поступление такой большой коллекции рисунков и акварелей проложило дорогу и для подобных работ других художников — я начал, конечно, с Фаворского.

С Наталией Сергеевной Изнар у меня дружба сохранилась на всю жизнь. Ее судьба была поистине трагической. Через год после гибели Николая Николаевича, с которым по неизвестным мне причинам она развелась, но явно продолжала горячо его любить, погибла ее дочь от Николая Николаевича Вера, умершая лет пятнадцати от какой-то тяжелой болезни. В 1937 году погиб в разгар сталинских репрессий ее второй муж Абезгауз (не помню его имени и отчества), но она продолжала с огромной силой воли не впадать в полное отчаяние от всех несчастий, сохраняя свой светлый и мудрый ум и свою жизнедеятельность еще в 1957 году, когда моя дочь Маша окончила театральный факультет Московского художественного института, и получила назначение в театр Новгорода, где тогда работала Наталия Сергеевна и очень приветливо ждала приезда Маши. Но Кноблок «перехватил» весь театральный выпуск этого года для работы на Международном фестивале молодежи и студентов, который состоялся в этом году в Москве, и поездка в Новгород не получилась.

Очень яркой, но, к сожалению, не на долгий срок, сложилась у меня дружба с Александром Васильевичем Шевченко, прекрасным живописцем, во многом близким к группе «Бубновый валет». Я не помню, как и при каких обстоятельствах произошло наше знакомство, но это могло быть в начале 1932 года, задолго до ленинградской выставки. Это был добрейший человек, очень дружелюбно относившийся к людям, и наши отношения сразу получили очень сердечный характер. Он стал приходить ко мне в музей; мы с Наташей были у него дома, и я увидел там его последние живописные работы, уже сильно отошедшие от традиций «Бубнового валета» в сторону лаконичной и монументальной обобщенности, сродни Петрову — Водкину.

Гравюрой он не занимался, но его живопись навела меня на мысль предложить ему сделать для музея несколько монотипий, что он и сделал, принес мне пять штук монотипий, в том числе замечательную, одно из лучших своих созданий — «Две девушки» (или «Две головы»), полную поистине древнегреческой гармонии. Он подарил мне прекрасную гуашь «Чистые Пруды», ставшую первым полученным мною от художника подарком. (Я строго соблюдал правило, мною же установленное, — не собирать ничего для себя лично, пока я работаю в Гравюрном кабинете, но музей тогда никаких рисунков, следуя пожеланию В. П. Полонского, еще не покупал, и дар Шевченко не нарушал этого правила.) Для выставки в Ленинграде он отобрал десяток очень хороших вещей, которые все были приняты жюри. В Русском музее его картины хотели было (по старой памяти) отправить в компанию к бубнововалетцам — Кончаловскому, Лентулову, Осмеркину, но я предложил поместить его в большой двусветный зал между Петровым- Водкиным и Павлом Кузнецовым, напротив Сарьяна. Он очень подошел к такому обществу, и зал получился поистине парадным и торжественным. Его работы привлекли всеобщее внимание и всеми художниками и искусствоведами приняты с восхищением, за исключением одного-единственного человека — Корина, нетерпимого ко всему новому.

Этот большой успех воодушевил Шевченко, и, вернувшись в Москву, он с увлечением погрузился в работу, успев за зиму написать много новых картин. Это побудило меня предложить ему устроить в 1933 году в Музее изобразительных искусств персональную выставку из новых, только что написанных работ, добавив к ним акварели и что угодно из более старых масляных картин. Он с радостью согласился и сделал очень хороший подбор своих творений. Среди только что сделанных картин особенно выделялась прелестная картина «Акробаты» — юноша и девушка в белых трико, на белом фоне; смелое и очень удачное построение колорита картины. Каталог, чтобы не задерживать выставки, решили не печатать в типографии — я написал его собственной рукой и каким-то образом сумел размножить. Работы были перевезены в музей, и все было подготовлено к открытию, но я должен был уехать на несколько дней в Ленинград, чтобы забрать с закрывшейся юбилейной выставки всю графику, которую в Москве было решено устроить отдельно от живописи и скульптуры (на что было получено согласие наркома просвещения А. С.Бубнова). Я отсутствовал около десяти дней и вернулся на горестное известие, что работы Шевченко смотрело какое-то цензурное начальство и открывать выставку запретило.

Оказалось, что виной этому было возмутительное поведение ученика и в какой-то мере подражателя Шевченки Ростислава Барто, который вздумал опередить Шевченко и, сговорившись с кем-то в музее, успел на щитах, поставленных в Итальянском дворике, развесить свои работы и пригласить цензора утвердить такую выставку. Кто такой был этот цензор, я не знаю, но ему не понравились творения Барто, а тот заявил: «Почему же разрешаете выставку Шевченко, чем я хуже?» — и цензор пошел смотреть работы Шевченко, на что его никто не приглашал, и запретил (должно быть, обидевшись) и выставку Шевченко. Директором музея был невежественный и бестолковый Этингоф, который ничего не сделал, чтобы помешать этому произволу. На Шевченко этот драматический оборот дела произвел гнетущее впечатление, приведшее к ужасным последствиям: он уничтожил все те новые картины, которые составляли основу предполагавшейся выставки, в том числе и чудесных «Акробатов»! Он перестал выставлять свои новые работы на выставках (да и делал ли эти новые работы?) и совершенно ушел из художественной жизни. Он перестал ходить в музей и не откликался на письма — ему, видимо, было тяжело всякое упоминание и вообще всякая память о его горе. Я никогда больше его не видел.

Этот эпизод, несомненно, свидетельствовал о прекращении объявленной было «либеральной передышки» для советских художников. Когда мною осенью этого 1933 года была устроена в Музее изобразительных искусств очень большая и представительная выставка советской станковой и книжной графики, то на ее обсуждении резко против нее выступил О. М. Бескин, редактор начавшего выходить летом журнала «Искусство». В своей пылкой речи он обратился ко мне с вопросом: «Кого вы считаете родоначальниками советской графики?» Я ответил: «Фаворского и Купреянова». Он возразил: «Ничего подобного — это Моор и Дени!» Это была прямая передержка — на этой выставке плаката не было, так что Моор и Дени к данной выставке никакого отношения не имели. Бескин очень быстро и очень ловко переменил все свои мнения явно под давлением какого-то высшего начальства: еще летом в первом номере своего журнала «Искусство» он напечатал без всяких изменений мою весьма вольномысленную статью «Книжная и станковая графика за пятнадцать лет», а буквально через два или три месяца в отдельном издании этой статьи, несколько дополненном мною, не спрашивая меня, выбросил мои вольности и заменил ничем не мотивированными грубыми выпадами против «формализма», испортив мне всякую радость от выхода первой в

моей жизни, хоть и небольшой, книги.

Это было началом очень мрачной поры для искусства, все более углублявшейся с ходом времени и достигшей своего «зенита» в конце сороковых — начале пятидесятых годов.

Очень рано, в 1931–1932 годах, сложилась моя дружба (на всю жизнь) с Львом Александровичем Бруни, прекрасным акварелистом и рисовальщиком и обаятельным человеком. С его женой Ниной Константиновной моя жена Наташа была знакома с детских лет: жена Бруни была дочерью поэта Бальмонта, и девочкой ее приводили в сад дома Орловой, где жила семья М. О. Гершензона. Как произошло мое знакомство со Львом Александровичем — не помню, вероятно, когда он принес мне подборку своих акварелей для предполагавшейся в конце 1932 года юбилейной выставки в Ленинграде, но может быть, и раньше. Я устроил ему очень красивую стену рядом со стеной Купреянова, где центральное место занимала чудесная акварель «Сумерки. Золотая рыбка», приобретенная с выставки Русским музеем. Работа акварелью навсегда осталась излюбленной сферой его творчества — до конца его не очень долгой жизни (он умер в 55 лет), и делавшиеся им в тридцатые годы фрески в Музее материнства и младенчества, в Центральном доме пионеров были по существу тоже увеличенными до размеров большой стены акварелями. Но всегда это было не раскраской рисунка, сделанного пером или карандашом, а вольный, свободный поток текучих мазков, исполненный великого обаяния и напряжения реального чувства красоты мира и человека. Таким был и его человеческий характер.

Он был красивый — и этому не мешало то, что он косил на один глаз и был почти глухой. При такой глубокой влюбленности в реальную жизнь он неизменно оставался не только высоко поэтичным, но и откровенно резким в своих суждениях. Так, когда в середине тридцатых годов я предложил ему написать о нем статью, он сказал: «Нет, мне не нравится, как вы пишете, мне нравится, как пишет Пунин». Я очень кротко отнесся к такому суждению — я бесконечно почитал Николая Николаевича Пунина и на Бруни не обиделся. Но Пунин так и не собрался больше написать о Бруни (он писал о нем накануне революции, когда Бруни жил, как и Пунин, в Петербурге, а я написал о нем после смерти Бруни в 1949 году, долго спустя).

Особенностью Бруни было то, что он не придавал особенного значения своему художественному творчеству. Меня даже поражала его беззаботность по отношению к собственным созданиям. Когда я в 1933 году пришел к нему, чтобы посмотреть его акварели и пополнить их подбор для большой выставки

книжной и станковой графики в Музее изобразительных искусств, он вытащил из-под дивана обшарпанный чемодан, и в нем оказались небрежно запихнутые акварели, одна лучше другой, со смятыми и загнутыми вверх краями, причем эти края были растрепаны и оборваны, словно их жевала какая-то корова. Я спросил: «Кто же так старался съесть ваши акварели — мыши или кролики?» Он ответил: «Нет, собака». Я все-таки взял несколько таких объеденных акварелей, и реставраторша Гравюрного кабинета В. Н. Крылова привела их, насколько было можно, в порядок. Среди них была прелестная акварель. Сделанная на серой бумаге «верже» черной краской — тростники, окружающие небольшой овальный пруд, и посредине этого пруда сделанная красной краской маленькая лягушка. В. Н.Крылова отыскала точно такую же серую бумагу «верже» и надставила утраченную часть изображения. И я отдал Бруни дорисовать утраченное, что он и сделал. Эта «Лягушка» была одним из лучших украшений его двух стендов и с выставки приобретена Третьяковской галереей.

Мне он подарил в середине тридцатых годов прекрасную большую акварель «Море, прибой в Батуми», а когда он умер, я, чтобы помочь совсем небогатой жене Бруни Нине Константиновне, купил у нее прекрасную большую марину «Черное море у Зеленого мыса» и карандашный рисунок «Дикобраз», чуть — чуть подцвеченный цветным карандашом. В то время я зарабатывал много и мог позволить себе такую роскошь (таких случаев было всего три за всю мою жизнь).

В 1932 году я познакомился и подружился на всю жизнь с прелестным и удивительным существом, необыкновенным и на редкость обаятельным художником — Владимиром Евграфовичем Татлиным. Он пришел в Музей изобразительных искусств со своим только что законченным летательным аппаратом, названным им «Летатлин». Никто, кроме меня, в Музее изобразительных искусств современным советским искусством не занимался, и его направили ко мне. И я устроил первую выставку этого замечательного произведения искусства и техники. «Летатлин» был обтянут светлой желтовато — серой замшей и выглядел очень уютно. Я повесил его в итальянском дворике между «Давидом» Микеланджело и «Гаттамелатой» Донателло, и татлинский аппарат необычайно естественно и достойно вписался в столь величественное окружение, словно демонстрируя, что в безоглядной смелости, стремительной самобытности, неумирающей новизне двадцатый век может соревноваться с высшими вершинами Возрождения. Я отнесся к «Летатлину» с глубоким уважением и оценил его прежде всего с эстетической и образной точки зрения, но, видимо, нужно с уважением

относиться к нему с чисто технической стороны. Когда я в послевоенные годы как-то недолго жил в Суханове вместе с художником Пименовым и архитектором Буровым, в нашем разговоре о «Летатлине» Буров сказал, что он очень мил и хорош, но что у него есть существенный изъян — он не летает. Но оказалось, что Буров ошибался: на «Летатлине» летал сам знаменитый летчик Громов. И этот летательный аппарат занимает почетное место в Московском музее авиации.

Я знал другие работы Татлина с давних пор — я видел его обобщенную, но в то же время конкретно реальную живопись еще в начале двадцатых годов — в Музее живописной культуры на Рождественке, а его замечательный памятник Третьему Интернационалу знал и по очень тонкой, но большого формата брошюре Н. Н. Пунина, которая есть в моей библиотеке. Новое творение Татлина показало необычайную широту, причудливость и экстравагантность его художественных исканий, которые вполне отвечали его личному характеру.

Через пятьдесят лет «Летатлин» снова появился в Музее изобразительных искусств имени А. С.Пушкина на том же месте в Итальянском дворике в составе огромной выставки «Москва — Париж», только на этот раз без замшевой оболочки.

У Татлина была очень несуразная внешность: очень высокий, некрасивый, с огромными руками и ногами и при этом с почти детской простосердечностью и наивностью душевного строя. Диковинный образ этого фантазера и мечтателя замечательно передала в своей скульптуре сидящего Татлина Сарра Дмитриевна Лебедева.

Из дальнейших (не частых) моих встреч с Татлиным особенно запомнились два эпизода. Один был связан с поездкой вместе с Самуилом Яковлевичем Маршаком к Юрию Ивановичу Пименову, чтобы посмотреть новый вариант иллюстраций к новому изданию книжки Маршака «Хороший день» (предвоенные иллюстрации Пименова в годы войны растерялись, а Маршак просил Детгиз пригласить меня быть художественным редактором новых рисунков Пименова). Мы приехали к Пименову, но он, вместо того, чтобы показывать рисунки, сказал: пойдемте наверх к Татлину — он починил свою бандуру и будет на ней играть. Мы пошли, и я оказался зрителем и слушателем удивительного представления — Татлин играл на им же сделанной бандуре, и они с Маршаком дуэтом под эту бандуру пели старые украинские песни! Такой неожиданный и прекрасный концерт услышишь раз в жизни!

Другой эпизод был грустный. В послевоенные годы я несколько лет работал в Академии художеств — в ее институте

теории и истории изобразительных искусств; однажды я вышел из рабочей комнаты в коридор и увидел Татлина, сидящего у двери, ведущей в президиум Академии. Я бросился к нему, он радостно меня приветствовал. Я спросил, чего он здесь ждет, он ответил: «Хочу попросить, чтобы мне помогли получить пенсию». Бедному Татлину в его простосердечии не могло прийти в голову, что самое неподходящее место на свете, чтобы просить помочь получить пенсию, это тогдашний насквозь реакционный президиум Академии художеств СССР, для которого даже Сергей Герасимов, или Дейнека, или Пластов — зловредные формалисты! А к таким людям, как Татлин, или Малевич, или Кандинский, в этом президиуме относились со свирепой враждебностью и злобой. Не знаю, хорошо ли я сделал, что не решился сказать об этом Татлину — думаю, что его просто не пустили на порог этого высокого святилища сталинского социалистического реализма. Не знаю, получил ли когда-нибудь Татлин желанную пенсию.

Говоря о художниках, с которыми свела меня судьба в музее, упомяну Корина, хотя с ним никакой близости у меня не сложилось. Корин был помощником главного реставратора музея, коим был в ту пору Василий Яковлев. Как Корин выносил своего непосредственного начальника, непонятно, потому что он был абсолютно противоположного характера. Это был высокий, довольно красивый человек, тогда молодой, я потом знал его всю жизнь. Тогда он выступал в роли скромного реставратора, хотя уже в те времена, в начале 30–х годов, он написал свой известный портрет Горького в рост и пользовался покровительством Горького, как, впрочем, и Яковлев. У Горького были, видимо, неразборчивые вкусы. Но Корин был человек не только абсолютно чопорных и строгих правил — он был чрезвычайно религиозный человек, причем даже, я бы сказал, в каком-то староверческом духе, на манер боярыни Морозовой. Во всяком случае, он тогда писал свои громадные эскизы к так и не осуществленной картине «Святая Русь», где были изображены во весь рост, даже больше натуры, монахи в черном, какие-то странники в лохмотьях, какие-то калеки. Это была такая сугубо академическая школа, особенно резкая. Я бы сказал, обостренная и принципиальная. И в своих суждениях он выступал как крайний консерватор.

Выставка 1932 года

Выставка к 15-летию Октябрьской революции «Художники РСФСР за 15 лет» в Ленинграде в 1932 году. Письма из Ленинграда. Пунин, Малевич, Лебеде

Круг моих художественных знакомств необычайно расширился в 1932 году в связи с участием в устройстве громадной и торжественной выставки «Художники РСФСР за 15 лет» в Ленинграде. Мне было поручено собрать московскую графику, и ко мне приходило множество самых разнообразных художников, а в Ленинграде я познакомился почти со всеми ленинградскими художниками. Я описал проведенные мною дни в Ленинграде в письмах к жене Наташе (эти письма были напечатаны, но с сокращением всех «домашних» тем, в основном моих восхищений по поводу разных высказываний дочери Маши, которой тогда еще не было двух лет).

О выставке 1932 года следует рассказать подробнее. В 1932 году, в апреле, была ликвидирована РАПХ — Российская ассоциация пролетарских художников, в течение нескольких лет грубо и бесцеремонно командовавшая художественной жизнью Москвы, Ленинграда и других городов России. В годы Перестройки стало ясно, что эта организация, как и подобные ей — РАПП и РАПМ, да и предшествовавшие — АХР, Пролеткульт, — были органами ВЧК или НКВД, и их ликвидация вовсе не была шагом к свободе творчества — организованные после ликвидации РАПХ Московский и Ленинградский союзы художников, объединившие в себе все прежние художественные группировки, были просто более совершенным орудием контроля над художественной жизнью, и их руководители были не избраны самими художниками, а назначены сверху. Так, председателем Московского союза художников оказался ничтожный ахровец, по фамилии Вольтер, — по моему определению в одном из писем жене из Ленинграда (вычеркнутому при печатании этих моих писем), «редкостный дурак и тупица».

Но все-таки на год была дана очень либеральная передышка, и было решено устроить в конце 1932 года в Ленинграде большую выставку, включив в нее все существовавшие художественные группировки вплоть до «футуризма» первых лет Революции. Мне поручили собирать для этой выставки всю московскую графику. К тому времени я успел собрать много гравюр и литографий Купреянова для музейной коллекции и позвал его посмотреть и

выбрать вещи для юбилейной выставки. Он пришел, очень мрачно просмотрел разложенные на столах в Гравюрном кабинете его работы и произнес только: «Какой жалкий итог пятнадцатилетней работы!» — и велел ничего из этого не брать. На выставку он дал только одиннадцать листов из своих «Селишенских» черных акварелей — одного из своих лучших и подлинно прекрасных созданий. Когда смотреть собранную мною графику стало многолюдное жюри, заседавшее в Итальянском дворике Музея изобразительных искусств под сенью микеланджеловского Давида, оно единодушно и с восхищением приняло эти черные акварели Купреянова, даже председательствовавший на этом жюри Вольтер сказал Купреянову: «Вы ведь должны представлять на этой выставке высший уровень московского рисунка, сравнимый с Лебедевым и Тырсой».

Осенью я уехал в Ленинград с немалым числом баулов с графикой, стал одним из устроителей выставки в Русском музее в числе «бригадиров», а Купреянов вошел в состав президиума экспозиционной комиссии (вместе с Грабарем, Луниным, Добычиной и Нерадовским). Он приехал в Ленинград немного позже меня, и мы вдвоем делали экспозицию всей московской и ленинградской графики. Купреяновская стена была одной из прекраснейших на выставке, вполне успешно соревнуясь с Лебедевым и Тырсой (у которых было по целой отдельной комнате).

Письма из Ленинграда (без купюр)

23 октября 1932 г.

Наташенька, милая, пишу, сидя в столовой Дома ученых, где уже сегодня буду ночевать. Но пиши пока на Наташин[8] адрес, п. ч. не знаю, как писать сюда. Вчера очень эффектно погрузились на поезд — «стрелу» — за две минуты до отхода получили билеты и на ходу влетели в первые попавшиеся вагоны — мы с Добычиной отдельно, Алексеева и ящики отдельно. Но ехать было очень приятно — в международном вагоне со всякими фокусами до радио включительно. В Русском музее столпотворение и ничего еще не готово — ни помещение, ни материал (даже жюри только сегодня в первый раз). Поэтому отправился в Эрмитаж и очень долго говорил с Наташей, а потом ходил с Миллером по его XIX веку — с большим удовольствием, потому что почти все картины, кроме московских, видел впервые, и экспозиция хорошая — местами великолепная.

Но это уже было перед темнотой, так что больше ничего не видал. Сейчас пойду в Русский музей, оттуда к Мите и с ним вместе, ежели будет дома, к Наташе, — работа начнется с завтрашнего утра. В Доме ученых — в той же комнате, что и в прошлый раз. Хотя тут очень интересно, и люди интересные (с Луниным познакомился сегодня и с Нерадовским), и чудесные рисунки Лебедева видел, и с Наташей так было приятно увидеться — у меня ужасная тоска, как я буду тут без тебя и без Машукушки. Я так жду письма, пожалуйста, пиши каждый день и все слова новые, и все подробно с утра до вечера, что ты и Машукушка делаете. Мне очень плохо без вас и очень грустно. Целую тысячу миллионов раз обеих и еще столько же. А.

24 октября 1932 г.

Наташенька, милая! До сих пор от тебя письма нет, и я очень беспокоюсь. Сейчас заходил к Наташе в Эрмитаж, но она еще твоего письма не получала. Мне без тебя и Машеньки очень плохо. У меня все дома осталось, я тут очень одинокий, и мне очень грустно. Какая у тебя температура? Ходила ли в музей? Получила ли какие-нибудь деньги? Напиши мне все новые слова Машукушкины. Я сегодня переселяюсь к Мите — там лучше. Только обедать буду в Доме ученых. Вчера я у Мити был, он очень

хорошо живет. И минут 15 ходьбы до Наташи — вчера вместе с ним у нее были. Видел все семейство в полном составе, очень они все хорошие, особенно Александр Гаврилович. Митька там год не был!

В Русском музее сегодня все утро разбирал свои ящики. Картины еще не приехали. Очень мне нравится Пунин. Вчера познакомился с Пахомовым и Лебедевым и с последним имел длинный и очень приятный разговор. Оказался не только чудесным художником, но и очень привлекательным человеком. Пойду к нему домой. Пойду и к Пахомову — это очень близкий к Лебедеву художник. А сегодня познакомился с очаровательнейшим существом — Костенко — это гравер и сотрудник Русского музея, и — самое главное — с Остроумовой — Лебедевой. Сделал вывод, что все настоящие художники — и люди тоже настоящие. К ней поеду и к Костенко тоже — приглашают. Всей этой стороной путешествия очень доволен — это не Кравченки и не Шиллинговские! Остроумова также, должно быть, обращается с людьми, как Фаворский, очень милая и приветливая. По городу еще не ходил — ничего не видал. Сегодня уже отдал много гравюр в окантовку, и когда все отдам — послезавтра, примерно, — я думаю, что один — два дня у меня будут довольно свободные. Пойду в Эрмитаж и наверх в Русский музей и к художникам. Кроме этих, еще должен видеть Тырсу, Будогоского, Мочалова, Хижинского.

Мне тут очень плохо, все это ничего не стоит, потому что ты и Машенька далеко. Наташушка милая, милая, пиши каждый день обо всем подробно. Целую тебя и Машукушку тысячу миллионов раз. А.

26 октября 1932 г.

Наташушка, милая, сегодня получил первое письмо и так обрадовался. А то я совсем уже за три дня истосковался. Мне очень трудно тут без тебя и Машукушки. Тут много интересного, но мне очень тоскливо. Работа пока очень скучная. Вчера целый день разбирал картины, приехавшие накануне, потому что некому — никто из Москвы не едет, и очень устал, так что вечером не мог даже написать письмо. Но сегодня уже снова вожусь со своими рисунками и гравюрами. Начал писать тебе длинное письмо, сегодня дома кончу. ***Я*** живу у Сокровища [прозвище брата Мити] — это далеко, но зато что-то вроде «дома».

Третьего дня весь вечер просидел у Остроумовой — Лебедевой и разговаривал с Е. С. Кругликовой, которую там

встретил, о тебе, о Машеньке, о Михаиле Осиповиче, о Вячеславе Иванове и т. д. Сегодня вдруг встретил в столовой А. В. Шевченко и ужасно был рад — он такой милый и чудесный и «домашний», а все здесь все-таки чужие, даже когда приятные. Он тут будет долго, и я очень рад этому. Выставка пока еще совсем в первобытном хаосе, и уйма неинтересных дел вроде отбора для наклейки и окантовки, каталога и пр. 28–го приедут из Москвы целой оравой человек 30, так что совсем, наверное, нельзя будет работать. Ничего больше не видел, кроме рисунков Тырсы и Конашевича, прекрасных. В голове сумбур от чрезмерного обилия новых впечатлений. Голова болит. Но я теперь и высыпаюсь, и сыт — обед в столовой ЛДУ — 2 р. Вполне хороший, и дома еда еще не кончилась (лежит в холоде за окном). Наташушка, милая, любимая, родная! Я так крепко целую тебя и Машукушку! Поклон Марии Борисовне. А.

27 октября 1932 г.

Наташенька, милая, сегодня получил второе письмо — заходил к Наташе в Эрмитаж и после обеда к ней ездил за ним. Вчера написал длинное письмо, но порвал, потому что было уж очень грустное. Мне тут нехорошо. Мне очень трудно без тебя и Машукушки. Я все время о вас думаю и вспоминаю. У меня тут очень «прыгающее» настроение — то уныние, то сравнительно хорошее. Когда я держу власть над потоком самых разнородных впечатлений и выбираю тотчас же — тогда ничего. С Шевченко виделся сегодня два раза — пришел ко мне в музей и обедали в ЛДУ вместе — это ***мое.*** Наташу и Лазарева видел в Эрмитаже, куда пришел на минуту к 4–м часам — это очень хорошо, В. Н. так было приятно видеть (завтра пойду вечером к Наташе, где он тоже будет). И другие такие же вещи хорошо. А когда лезет всякая скука и Ленинград чужой — точно пытаешься разговаривать с иностранцами — тогда плохо.

Каждый день так набит, что всего изобилие. У Мити я только утром и вот как сейчас — после 11–ти. Пьем чай — с Елизаветой Павловной (женой «дядюшки» Николая Николаевича). До сих пор еще не видел ни разу собственную двоюродную сестру и ее мужа — они уходят раньше меня и ложатся спать до моего прихода. Больше в квартире никого нет, верхний этаж нового большого дома. В музее сутолока, но такая тихая и размеренная по сравнению с Москвой, что ее почти не заметно. Вожусь с гравюрами и рисунками — разбираю, даю в окантовку, сегодня — вместе с милейшим заведующим Гравюрным кабинетом

П. Е. Корниловым — занимался наклейкой не монтированных гравюр — резал и подбирал картон и пр. До развески еще не дошло. Завтра приедет целая толпа из Москвы (30 человек) — только мешать будут. Имею дело в музее с Луниным (заместитель директора), Добычиной, Нерадовским и еще несколькими людьми — приятными и культурными очень (по — ленинградски), так что все это в полной исправности. Уныние и скука — оттого, что я очень одинокий.

Третьего дня — нет, уже четвертого дня — 24–го был у Остроумовой — Лебедевой. Это очень милая и приветливая — но вполне настоящая «дама с собачками» — их две штуки, китайские, мохнатые, без носов, с вылупленными глазами, как у рыб, на коротеньких лапках. А сама — маленькая, с круглым лицом, стрижеными седыми волосами, в пенсне. Смотрит как-то боком — очень приветливая. Ее муж — академик. Какая-то химическая знаменитость. И потому дом, как, должно быть, у Певзнера [модный в те годы врач — гомеопат, лечивший А. Б. Гольденвейзера] — ужасная «буржумазея». Но по стенам — тончайшие акварели Бенуа, Сомова и собственные ее такие же, и разговоры про тех же людей «Мира искусства». Революции точно не было, такое там ощущение. Но хоть все это до нелепости чуждое — художница большая, хоть и прошедшей уже культуры. Мне это посещение скорее неприятно — я не знаю, как держать себя с живой археологией, все-таки всему свое время. Потому же и разговоры с Кругликовой — о Волошине, о Вяч. Иванове в Париже, о художественных событиях времен 1910–1914 годов — мне же не 60 лет, или они уж больно «стоячие» люди, — мне что-то не по себе там было. Хотя Кругликова восхищается Фаворским, а Остроумова пришла в восторг от монотипий Шевченко, которые я ей вчера показывал в музее.

Это путешествие и другие впечатления такого же типа повергли меня в тоску. И третьего дня плохие дни были. К тому же устал тогда зверски от этих картин, да Алексеева, что со мной приехала, ничего в искусстве не знает, почему она тут — не знаю, и потому я должен был целый день, часов десять, заниматься определениями, кто ОСТ, а кто АХР, и атрибуциями картин, на которых никаких надписей и подписей!

Из всех здешних художников мне всего ближе по «системе взглядов» Лебедев (да покуда только он один — не считая Шевченко, разумеется), я с ним каждый день говорю, хожу по залам и картинам, и ему нравится то же примерно, что мне — Штеренберг, Фаворский, Гончаров, Альтман, Шевченко и т. д. Сам он очень занятный и художник первосортный и как рисовальщик и плакатист, и как живописец (это самая для меня интересная

новость тут). Сегодня — два знакомства новых. Одно — чудное (второй уже раз здесь!), с разговором о Михаиле Осиповиче — с Малевичем (представил меня Шевченко). Говорил с ним два раза — он очень ко мне сразу отнесся ласково и второй раз уже доказывал преимущество и логику беспредметности в живописи. Страшно занятно — хотя я все это знаю давно — буду говорить с ним еще. О Михаиле Осиповиче он говорил с таким благоговением! Второе знакомство — исключительно приятное, потому что исключительно милый человек, — с Митрохиным. Разговор пока — 10 минут, но будет еще. Мария Зосимовна меня предупредила, что Костенко и Митрохин — самые милые люди в Ленинграде (хотя оба как художники мне совершенно чужды). Вот видишь, скоро весь запас исчерпается — Тырса да (маловероятно) Петров — Водкин остались. Совсем по — другому вдруг начинает говорить искусство, когда видишь, кто его делает. Малевич — пожилой, невысокий и немного полный, с бритым обрюзгшим лицом, в круглых очках и глубоко нахлобученной шляпе — простой и, видимо, добродушный и немного (а может быть, и не очень немного) сумасшедший. Митрохин — я покажу тебе замечательный портрет в Москве (сделанный Верейским), по которому я его узнал мгновенно. Лебедев — лет под сорок — но выглядящий молодым, в кожаной куртке и шапке с большим козырьком, под курткой — коричневая бархатная кофта какая-то, под шапкой — небольшая лысина, очень живое, приветливое и умное лицо. Присмотрюсь — опишу подробней.

В Эрмитаже больше ничего не видел (и в Русском музее только сегодня первый раз пробежал по залам в поисках за Александром Васильевичем Шевченко, который пришел в музей раньше меня). Но все время вспоминаю Миллеровскую экспозицию, страшно для меня интересную, и повторяю ее наизусть (хотя видел мельком, собственно), чтобы подумать. Две непредвиденные вещи: во — первых, совсем не то произвело впечатление, чему полагалось. Делакруа — пустое место (во впечатлении, конечно!), то же с Руссо, но зато на редкость увлекателен Прюдон! Замечательный романтик Мишель, но все затмевающе великолепен Домье — здесь целая комната его цветных литографий — и какие у него краски! Множество самых лучших его листов, и один лучше другого — и всех родов и серий. Когда выставка откроется с божьей помощью — пойду в Эрмитаж на целый день специально для него, чтобы запомнить все до последней точки. Очень интересны всяческие академики (для ума, конечно!) — очень хороши фокусы с передвижными щитами, где за Клодом Моне вдруг открываются самые чудовищные по пошлости «произведения». Но тут я пришел к плохому выводу, о

котором и сказал Миллеру, — музейная добросовестность дала верное зеркало XIX веку — но все самое лучшее и великое в этом веке потонуло в самом насыщенном, самом монументальном мещанском самоутверждении — он здесь не пропадает, позади Дега и Сезанна, а торжествует. Я ему сказал (Миллеру), что, по — моему, мы делаем ужасную ошибку — зная, какое искусство великое и революционное, и ставя все-таки его в ряд со всем мусором, накопившемся за человеческую историю. А невинные зрители уже восхищаются ужасной мраморной герцогиней какого-то неведомого идиота — со всеми кружевами, бантами, пуговицами и пр., какие только возможно было сделать с такой «меланхолией» на лице, что коровы на стенку могут бросаться.

Все это только мне ни на что не нужно без тебя, Наташенька. И без Машеньки. Мне очень тут без вас тоскливо и хочется уехать скорее назад. Теперь у меня каждый день имеет центр — когда распечатываю письмо. Наташушка милая и Машенька милая! Если бы можно было спрятать тебя и Машукушку где-то тут под шубой и рубашкой, чтобы все время тут были. Мне так приятно читать все, что написано в твоем письме, даже про Марию Зармариевну — только бы ты писала. Я очень рад, что все-таки кончилось это перемещение завязшее — ты не обращай внимания на тупых дур и их разговоры. И потом мне, наконец, приятно за Веру Дмитриевну — мне и поэтому хотелось, чтоб так вышло. Наташенька, милая, любимая, милая, милая, милая! Целую тебя и Машеньку без числа, не знаю сколько раз. Очень жду писем.

Поклон Марии Борисовне. Наташушка милая! А.

30 октября 1932 г.

Наташушка, милая, вчера пришел так поздно и так устал, что не мог даже написать. Сегодня писем нет, вчера была только открытка, и мне очень тоскливо и беспокойно. Я все думаю о тебе и Машеньке, все вспоминаю, что она говорит, и как спит, и как бегает. У меня все время тут точно проходное, не задержать, видимо, потому что тебя и Машукушки нет. Ты же пиши каждый день хоть одну строчку, что жива — здорова.

Я уже совсем завертелся и даже по музею бегом ношусь — так до отказа некогда. Вчера день был неинтересный — приехали еще из Москвы П. Кузнецов, Лабас и др. и вместе с ленинградцами все таскались по всей выставки и окончательно отбирали, хотя отбросили очень мало — главным образом из мириадов ахровских пейзажей. Целый день с ними и пробыл. Только и интересного, что говорил и картины смотрел с Лебедевым, да

Жанна Каганская приехала очень добрая, да Виктора Никитича на минутку видел в Доме ученых — он тут будет до 5–го, так что еще его увижу. Шевченко вчера уехал. Сегодня — то же самое, сумасшедший дом почти. Переделали план выставки (немного передвинули, но таскания картин — уйма, всё переселяется) шумели и — по правде, только мешали работать. Мечтаем, когда уберутся. Останутся только те, кто будет работать — Лабас, Богородский и еще кто-то. Как будет с гравюрой и рисунком, то есть где что будет — пока все еще не отстоялось. Зато сегодня уже разложили один зал — большой зал первой группы, с верхним светом — очень высокий и просторный — на одной стене Кузнецов, напротив — Петров — Водкин, прямо против входа — Шевченко, на входной стене — Сарьян. Получилось такое великолепие, что если даже больше ни одного такого зала не будет — выставка уже мирового значения.

Я страшно радуюсь за Александра Васильевича — он получает всеобщие и безоговорочные восхищения и признание, и «подан» он блестяще — по моей «вине», так как отстоял его от передачи в общество Кончаловского и т. п. (от многократных попыток!) и подсунул на это место между Кузнецовым и Петровым — Водкиным. Очень этому рад.

Из шести «коронных номеров» выставки четыре уже вышли хорошо — Шевченко, Кузнецов, Петров — Водкин, Лебедев. Теперь забота о Фаворском и Штеренберге — а остальное приложится.

Из новых знакомств — все больше нравится Лебедев. Тырса пока ничего особенного не проявил — не могу сказать, что он собою представляет. А потом еше мне очень нравится Лабас (с которым познакомился еще в Моекве) — думаю, что это прочно, п. ч. это друг Барто и Шевченко. Сегодня с ним много имел рассуждений. Еще очень нравится Пунин — это человек весьма необычный. Посылаю тебе две фотографии, где имеется нечто вроде моей физиономии — хотя и очень плохие. Интересного в них — Пунин и Нерадовский во втором ряду по сторонам моей персоны, и Добычина рядом с Вольтером (который, кстати сказать, ужасающий дурак и тупица). На другой фотографии имеется Нерадовский и Малевич (справа от меня — в фетровой шляпе) — очень интересный человек.

С завтрашнего дня даже обедать и ужинать буду в музее. Работы впереди — просто ужас. Все-таки предпочитаю маленькие выставки. Между прочим — очень мне хочется устроить три выставки в нашем музее в будущем году — Фаворского (которая уже есть в плане), Шевченко (который мечтает об этом) и Лебедева (которому эта идея чрезвычайно понравилась).

Постараюсь это устроить. Устал очень — буду спать ложится.

До чего хороша сейчас Нева и Петропавловская крепость — дни эти спокойные, немного серые, но солнечные, и часа в четыре, когда идешь в Дом ученых на Дворцовую набережную — крепость и золотой шпиль вдруг возникают за одним поворотом над серо — стальной полосой воды. Биржа темно — серая с белым — очень хороша. Сегодня первый раз прошел в музей другой дорогой — через Зимнюю канавку, Дворцовую площадь и Невский. Зимний дворец — оранжевый с белыми колоннами и черными статуями и другими деталями — превосходно. Арка Штаба тоже вновь покрашена и Ламотов павильон Эрмитажа, и площадь, чистая и убранная, — все это очень хорошо. Наверху в Русском музее так еще и не был.

Спроси, если ты ходишь в музей, продавца книг в киоске, достал ли он «Переписку Спинозы» — я просил давно, и если она стоит 3 рубля — купи, пожалуйста!

1 ноября 1932 г.

Наташенька, милая, вчера пришел во втором часу и нашел письмо (от 27–го) и открытку (от 28–го), но писать уже не мог. Пишу сейчас утром перед музеем. Какая Машу- рушка милая! «Папа бедный» — правда, что бедный, п. ч. очень без тебя и без нее тоскую. Мне так без тебя и без нее трудно, что не радует и работа, очень интересная; очень одиноко. Мне очень нравится «нога зацепилась» и «папа бедный такой» — откуда она взяла? Мне так хочется скорее вернуться, что, думаю, я не задержусь после открытия выставки больше чем на два дня, только чтобы кончить гравюрные дела и посмотреть Домье и «романтиков». Я все время тебя и Машеньку вспоминаю и думаю. Мне очень плохо без тебя и без нее, Наташенька! От выставки половина для меня пропадает оттого, что ты не видишь то же, что я. Скажи Машурушке, что я ее целую, и объясни как- нибудь, почему я отсутствую — а то я просто не представляю, как она сама это объясняет!

У меня все то же — вчера, да и все время сплошная работа, из музея не уходил. Так как я все уже приготовил для монтировки и окантовки и отдал в мастерскую, то вчера уже весь день занимался размещением, обдумыванием и раскладкой, причем волей — неволей приходится каждую минуту возиться и с картинами — «компоновать» стены, перетаскивать и пр., потому что графика не в отдельном помещении, а вместе с живописью. Вчера очень хорошо вышла комната Лебедева (он сам ее

устраивает, только советов спрашивает), потом нарядно вышел Истомин, хорошо как будто получается зал Гончарова и Лабаса. Дальше я не заглядываю уж — нет никакой минуты на это. Но потом буду устраивать там ахровского и омховского типа графику. В том же конце, где Лебедев, Кузнецов и пр., хорошо должна выйти комната Купреянова — Бруни — Фонвизина, в витринах этой комнаты будет Павлинов, а Фаворский — рядом в отдельной маленькой комнатке, где будет во весь пол ковер, цветы и т. д. весьма торжественно. До чего же хороша лебедевская живопись и рисунки! Посмотрел еще, повнимательней, картины и рисунки Лабаса и Гончарова, которые мне не все, но очень нравятся. И сам Лабас тоже. Думаю, что Лебедев и Лабас останутся более прочно, чем другие здешние знакомства. Вчера приехали Купреянов и Истомин, так что постоянно работать тут будет довольно много народу — кроме нас с Жанной и Русского музея — П. Кузнецов, Богородский, Лабас, С. Герасимов, Лебедев, Перельман, Грабарь, Тырса, Истомин, Мидлер. (Купреянов, кажется, уедет скоро.) Поэтому очень много занятного не только от выставки, но и от разговоров на ней. Вчера имел такие занятные разговоры с Лабасом и с Кузнецовым, и т. д. — все это в очень большом изобилии, очень интересно, но и очень утомительно. Я очень устаю и ничего не могу поделать, но очень доволен был бы, если бы это было в Москве. Мне очень плохо без тебя и Машеньки!

Сейчас должен уходить. Наташу эти дни не видел, но сегодня постараюсь уйти вечером часов в 10 и пойду к ней. Очень мне нравится ее муж, и весь дом у них такой хороший. Наташа мне очень близкий человек — я ей могу говорить все, что думаю и что мне близко. Она хотела тебе еще написать (после того письма, что при мне писала). Про музей противно думать (про наш — такой контраст с Русским музеем!) и если б ты могла не обращать очень внимания на всю эту тину или хоть помнить все время, что центр жизни вовсе не там, а за тысячу верст около Машурушки. Наташушка милая! Меня очень беспокоит, что нет денег еще — позвони этому Янеку, телефон у тебя ведь есть. Маме напишу сегодня в музее. Целую тебя и Машурушку тысячу миллионов раз и еще столько же. А. Поклон М. Б.

2 ноября 1932 г.

Наташушка, милая, сегодня пишу вечером. Оба дня совсем бешеные — третьего дня приехал Н. Н.Купреянов, и мы с ним работаем до головокружения, до полного одурения. Вчера было

заседание всех участвующих в устройстве выставки — совсем военного вида: назначены ответственные за каждый раздел, их помощники, и темпы — самые дикие. Но нужно успеть все сделать к вечеру 8/XI. Я и Н. Н. отвечаем за графику, пополам — то есть по количеству это означает треть выставки. Это очень тяжкая «нагрузка». За день так много всего, что вчерашнее утро кажется прошедшим уж дня три назад. Обедаю в музее — 4 р. Обед из 2–х мясных блюд (иначе не выдержать такой работы), ухожу в 11 часов, как все. Хотя вчера ушел на полчаса раньше и пошел на минутку к Наташе. Что делал вчера и сегодня — уже не помню, такая масса всякой всячины. Пришлось два дня буквально «грызться» за помещение для гравюры и рисунка (в том числе ленинградского), которое до вчерашнего заседания было совершенно неопределенно, а в течение этих двух суток подвергалось непрерывным нападениям. Раза три уже ссорился (с криком и шумом!) с Луниным (и тотчас же мирился, конечно, потому что ссориться некогда вовсе и человек он очень хороший, только истерик порядочный), а сегодня около 2–х часов мы с Купреяновым заявили президиуму выставочной комиссии, что уезжаем в Москву немедленно и отвечать за экспозицию не в состоянии. Покуда все утряслось, но завтра опять, верно, будет то же в новом каком-либо виде — все друг на друга «покушаются»!

Смешно, что в то же время совершенно не обращаешь внимания на все это дергание и сумасшедший дом, каковым сейчас является художественный отдел Русского музея, — потому что все прекрасно понимают, что выставку надо сделать первоклассно, и гонят все сильнее эту гонку. Работают вовсю и художники — жалующиеся на непривычные темпы и нервничающие. Лебедев, Тырса — устраивают главным образом собственные залы, но Богородский, Лабас, Герасимов, Истомин работают так же, как мы с Н. Н. Добычиной, Нерадовским. Еще Мидлер и Пунин, Кузнецов, Грабарь, Перельман мечутся по всей выставке. Жанна и Алексеева сидят на каталоге — я сегодня полдня сидел тоже, пока не кончил. Малевич устраивает свои архитектурные сооружения в отдельной комнате. Хотя я устаю ужасно, так что, наверное, будет переутомление — очень весело работать и редкостно увлекательно. Свел дружбу с Лабасом — в Москве пойду к нему, приглашал и буду делать так и дальше. Очень мне нравится Лебедев и, разумеется, Купреянов. Да тут и вообще все прониклись друг к другу «нежностью» — очень объединяюще действует эта работа. Нарядно и хорошо выходит. У Фаворского будет отдельная маленькая комната, в соседней — Павлинов, Купреянов, Бруни и Фонвизин (рисунки которого — сплошное радужное сверкание), и еще некоторые лучшие ученики

Фаворского. У Гончарова и Лабаса выходит великолепный зал. Надо сказать, что после того, как я узнал самого Лабаса — мне все больше нравятся его работы — которые нравились мне очень и раньше, но частично. А теперь я знаю, что в них общее и самое существенное, главное. У Гончарова очень хороши портреты Гаузнера, Катаямы и жены (белое на желтом). У Лабаса еще прекрасные акварели. Очень нравятся мне пейзажи П. Кузнецова (их не было на той выставке), и сам он очень занятный. Царь и бог на этой выставке — Лебедев (по единодушному признанию всех, кто тут есть). Я устрою ему выставку в Москве, обязательно. Из художников совсем другого порядка — очень привлекательны С. Герасимов и Чернышев — и, отчасти, Истомин. (Герасимов и Истомин — также и лично.) Но с Истоминым-то я давно знаком — он живет в одной квартире с Фаворским. Чернышев пишет исключительно детей — до 15 лет, не дальше! Герасимов — суровый и скупой реалист, очень мало «эффектный». Но это все же чужое, дополнение на день к Лебедеву — Фаворскому — Штеренбергу — Лабасу (и т. д.). Сегодня в музей приходила (специально ко мне!) Елизавета Сергеевна Кругликова и звала непременно прийти к ней, в первую очередь. Она страшно (то есть очень!) милая и добрая, и я пойду к ней с удовольствием. А Тырса и Остроумова (которая тоже несколько раз приходила сюда) — видимо, только «наружно» милые, а по существу совсем мне чужие. Очень уж тут много нового народу!

Вчера выпал снег, и Ленинград прекрасен. Если бы не трамвай, по сравнению с которым московский — чудо совершенства, — это был бы самый лучший город. Эти дни сухо, ни тумана, ни слякоти нет, но очень холодно — я ни минуты не жалел, что взял шубу. Хожу сейчас в старых калошах дядюшки Н. Н. (его ведь здесь нет — он в Алма-Ате). Елизавета Павловна очень добрая и очень трогательно обо мне заботится — хотя я стараюсь изо всех сил ничем не затруднить и в этом успеваю вполне, п. ч. прихожу в 12, когда все уже спят (у меня есть ключ). Митьку вижу, по той же причине, очень мало. Никуда, кроме Наташи (которая велела написать, что получила твое письмо), не ходил, наверху в Русском музее не был (только мечтаю), да и по городу не хожу ни минуты — только раз трамвай прочно встал, и я прошел немного по Литейному и тут же, не удержавшись, купил в «Международной книге» 2–й том «Дон Кихота» — ты уж прости! Но я решил, что мое кормление так дешево в общем обходилось (31 рубль за 10 дней при еде в столовых!), что можно растратить на книжку.

Вспоминал, как ты мне подарила 1–й том — мне так хорошо было это вспомнить! Наташенька милая, я так скучаю без тебя и

без Машеньки — хорошо еще, что время идет так незаметно быстро. Машурушка милая — какая она хорошая! Мне так понравился отпечаток ручки милой и «капелька мирмилада» и «на работе в Игаде»! Милая Машурушка. Я рад, что ты хворать кончила — ты уж только будь осторожной и не простужайся — сейчас не может быть тепло, как ты пишешь, все время какой-то пронизывающий холод. Маме я напишу сейчас. Юр. Влад.[9] тоже — я злюсь на всех них, что они не могут написать, что им нужно, — ничего удивительного, что найти не могут ничего, когда я все с собою увез.

Напиши, что ты придумала нового в немецком путеводителе. Я ведь все-таки мечтаю пойти в Эрмитаж — я проверю на здешних немцах — В. Н. хвалил только нидерландско — немецкую экспозицию. Напиши еще, как подвигается книга Як. Захар, (театральная).

Знаешь, мне до вчерашнего вечера хватило того, что я привез с собою, даже хлеб жил в полной исправности до 30–го числа! Сегодня купил (на вечер) в Русском музее три чудных булочки — ячменные или еще не знаю из чего, вкусные — так что вечером был с едой. Но купить что-либо существенней невозможно, да и совершенно некогда, а просить Елизавету Павловну я не хочу. Все-таки — трата!

Наташенька милая, милая, любимая! Поцелуй от меня Машукушку тысячу раз и объясни, что это я целую. Поклон Марии Борисовне. А.

Я очень без тебя и без Машеньки скучаю, Наташушка милая, у меня вдруг такая тоска поднимается!

5 ноября 1932 г.

Наташенька, милая, два дня не писал, потому что возвращался домой в 1 час ночи и совсем валился с ног. Третьего дня, вернувшись, нашел два твоих письма, сегодня пришла еще открытка. Ты прости меня, что не писал. Я очень устал. Дерганье и сутолока так обильно каждый день отпускаются, что я стал как-то тупо относиться ко всему этому, но и плохо воспринимаю то, что сам делаю. Откроется 10–го, а сделать нужно еще уйму. Н. Н. работает не покладая рук, и его больше слушаются, конечно, так что мне страшно приятно, что он тут. Он очень хороший, хотя странный немного человек. Лабас и Герасимов уехали и другие еще, так что сейчас работают кроме нас главным образом Русский музей, Богородский и Истомин, и еще Тырса, который, впрочем, как и Лебедев и Малевич, устраивает свою комнату. Новых —

приехал вчера Дейнека, которого я не знал раньше. Добродушный человек, похожий скорее на чемпиона футбола, чем на художника. Работать трудно — все измотались, раздражаются друг на дружку, спорят и т. д. — это очень мешает. Но такую махину поднять — все-таки только по нашим темпам и масштабам возможно. Фаворского комната вышла прекрасная, все толпой ходят. Очень эффектен Фонвизин — все с удивлением бегут спрашивать: «Кто это? Кто это?» Живопись уже вся повешена почти сплошь, а с графикой ужасно задерживают стекольщики и окантовщики. Мои собственные впечатления понемногу утрясаются, а то был такой поток нового за этот месяц, что не выдержал бы и мамонт. Многое от неожиданности нравится, но остается в результате все-таки очень определенный отбор «первого сорта» (для меня). Из того, что есть на выставке, мне нравится: Фаворский на первом месте, теперь уж со всеми серьезнейшими основаниями, сравнивать с ним некого. Я очень рад, что могу это теперь говорить с полнейшей уверенностью. (Нравится-то, конечно, все, что есть на выставке, потому что мой же отбор — его только две поправки, с которыми я согласился.)

Шевченко — почти сплошь, особенно те вещи, что мы у него последний раз (когда ты была) видели — «Прохожая», «Женщина с кувшином», потом «Прачка курдинка», «Море», «Батум», «Натюрморт с дыней» и т. д. и все (мой отбор) монотипии: «Две головы», «Пейзаж с домом», «Натюрморт с грушей». Чудесный художник! Мне очень жалко, что нет тут его маленьких акварелей, что мы с тобой видели.

Гончаров — «Портрет жены в белом», «Портрет Гаузнера», «Сен Катаяма», пожалуй, «Портрет брата». Если прибавят «Пудовкина» — очень хорошо выходит. Плюс еще гравюры и рисунки.

Штеренберг — его самые знаменитые (и самые лучшие) «Селедка», «Простокваша», потом зеленый пейзаж из Третьяковки, большой «Старик» на голубом фоне и даже отчасти «Агитатор» (не совсем хорошая вещь) и многие гравюры (тоже мною большей частью отобранные — он добавил две или три).

Я тебе пишу все эти названия, потому что, может быть, ты успеешь приехать в Ленинград, пока еще выставка тут будет. Сегодня Виктор Никитич пришел перед отъездом на выставку и просил ему показать — мы минут сорок ходили (я был рад передышке!) — так он сказал, что устроит тебе командировку обязательно (и Вере Николаевне). Он пришел в восхищение от Шевченки — заявил, что он лучше всего и, кроме него, счел «великим художником» Фаворского (как и раньше всегда), и еще, к моему великому удовольствию, третьим ему понравился

Гончаров — особенно «Гаузнер», — это все лишний раз мне доказало, что у меня вкус и выбор хорошие. Потом: Лебедев — некоторые натюрморты, рисунки и особенно книжные — «Слоненок», «Охота» и др. Очень изысканный и в то же время очень простой и свежий — прекрасный художник. В. Н. остался равнодушен — но в комнате было очень темно, и пропали почти краски.

Лабас — акварели, «Пригородный пейзаж с поездом» (ты его видела) и отчасти некоторые другие картины. Но в целом больше не нравится, чем нравится, хотя художник очень интересный. Сам — очень мне нравится.

Дейнека — «Оборона Петрограда» и «Безработные». Это большие плакаты, а не живопись, как и его замечательная «Интервенция», но на то он и лучший плакатист во всей советской графике. Но большая часть его картин — очень плохие, да и у этих очень большие недостатки (но все же хорошие.) Мне в них чего-то не хватает. А может быть, тут я путаю.

Павлинов — его ты знаешь. Он тут — на почетном месте.

Истомин — коричневая «Девочка», «Читающая девушка». И кое-что еще частично.

Сергей Герасимов — очень хороший художник. Я его буду разглядывать очень подробно — покуда что особенно нравятся его пейзажи.

Чернышев — очень привлекательный художник, хоть и с большими недостатками и срывами. Мне нравятся «Девочка» из Русского музея и «Полоскание белья» из Третьяковки, и рисунки.

Эти два последние — висят в последнем ахровском зале, потому что недавно вошли в АХР (в неразберихе последних годов), Истомин, который вешал эти залы (и который также с ними вместе — с Чернышевым и Герасимовым — вошел в АХР), объясняет это так: «Если по Перельману, это — развитие ахровского движения, от Кацмана до Герасимова; или как на ярмарке Африканский крокодил — от носа до хвоста три аршина, от хвоста до головы три аршина — итого шесть аршин!» Исчерпывающая характеристика положения!

Малевич — супрематические вещи (беспредметные, из мелких прямоугольников и пр.) — очень красивые. Его «архитектоны» я еще что-то не разглядел и не усвоил. Он очень занятный сам.

Потом (покуда что) разные отдельные вещи — моих граверов (Пикова и др., также Нивинского), П. Кузнецова («Сбор хлопка» из Третьяковской галереи), Бруни, Купреянова (который, в конце концов, нравится мне больше как человек, а не художник), Фонвизина, Митурича (литографии), А. Козлова (акварели),

Загоскина (рисунки — это очень интересный ленинградец), скульптуры — Зеленского и Эллонена (это очень хороший ленинградский художник — с ним самим познакомился уже давно). Больше, как будто, ничего не высмотрел пока что, да и из этого (особенно из последнего всего) «разного» многое повычеркиваю. Барто тут, по — моему хуже, чем на самом деле — он плохо выбрал. Тырса меня что-то не трогает. Новое знакомство — Рудаков (очень занятный художник — рисовальщик — к нему нужно присмотреться), Воинов, а потом уже давно разные Лентулов и Осмеркин и пр. малоприятная публика.

Прости, что я так расписался — мне очень хотелось немного вырваться из этой все же одуряющей работы и немножко подумать. А мне еще предстоит идти к десяти или двенадцати граверам — сам не рад. Так что я приеду, должно быть, 15–го, потому что мне очень хочется хоть раза три просидеть в Эрмитаже (да еще В. Н. сказал, что Миллер мечтает меня еще раз увидеть, — желает, должно быть, меняться картинами). Завтра пойду заводить счет в сберкассе. Маме написал, а в музей так и не успел — ведь у меня даже, чтобы подышать воздухом на улице, минуты нет — прямо каторжная работа. Сейчас уже скоро 3 часа — надо ложиться спать. Наташушка милая, мне так одиноко и тоскливо тут одному, я так соскучился без тебя и без Машуриньки. Я так Виктору Никитичу обрадовался нынче. Митьку ведь я почти не вижу — сейчас он давно спит — я пришел в 12, а уходит он раньше меня. Я очень рад, что ты послала посылку — дойдет ли только до праздников? А то последние дни у меня дома ничего нет — Митька и завтракает, и ужинает в своем институте. Обеды каждый день у меня мясные (в столовой музея), но однообразные и невкусные, а уходить куда-либо дальше некогда. Этой стороной я тоже сейчас недоволен.

Машенька милая — мне очень нравится «мама — никуда, никуда» и «Машенька устала» и «полу губой», и «я руками машу!». Она меня и не узнает, верно. Наташенька, милая, милая, любимая, милая Наташушка, маленькая Наташинька! Целую тебя крепко — крепко, Наташенька милая, и Машурушку тысячу миллиардов раз. Поклон Марии Борисовне. А.

В музее скажи, что у меня сумасшедшая работа, — ведь никогда такие выставки не устраивались двумя человеками, как мы тут! Ведь чуть не 1000 экспонатов графики!

7 ноября 1932 г.

Наташенька, милая, милая, любимая! Сегодня музей закрыт,

и я сидел дома, очень грустный. Вчера письма от тебя не было, а сегодня Елизавета Павловна сказала, что видела письмо вчера в ящике и думала, что я его сам вынул, — должно быть, его вытащили ребята, играющие на лестнице, п. ч. он случайно оказался незапертым. Мне это было очень горько, потому что это моя единственная радость тут, я так жду письма, и очень жалко, что пропали какие-то Машенькины слова, которые теперь останутся не записанными.

У меня такая тоска сегодня, Наташушка. Я так устал, что сегодня встал в час и такой разбитый, что никакого отдыха сегодня не получилось и никакого ощущения праздника — точно этот месяц по мне непрерывно бревно катали. Должно быть, все-таки нельзя так работать. Вчера работали только до пяти — вечером музей был закрыт и столовая тоже, так что пришлось идти обедать в Европейскую гостиницу с Купреяновым и Истоминым. Там очень дорого — 16 р., но зато я в первый раз после отъезда из Москвы ел как следует — действительно «по — европейски». Гостиница и ресторан роскошные очень, так что было приятно. Потом часа два сидел у них в номере — где они вчетвером с Дейнекой и Ромовым, слушал их занятные разговоры, а потом поехал к Наташе, когда они все задрыхли. Купреянов и Истомин работают так же, как ломовые лошади. На Неве стояли военные корабли, украшенные цепью лампочек — их самих видно не было, так что получалось странное и причудливое зрелище. У Наташи лег на диван и лежал часа полтора как камень. Она такая хорошая, и вся ее семья тоже, особенно Александр Гаврилович — каждый раз так приятно у них быть. Сегодня ходил к ним обедать по настоянию Наташи. Сейчас весь вечер опять сижу дома, пойти куда-нибудь сил нет. Митька до 6 часов отсутствовал — у него был парад (у них военное обучение), сейчас читает свои американские автомобильные журналы. Решил ничего сегодня не думать и впервые буду читать — взял у Наташи «Сказки для театра» Гоцци (его «Турандот»).

Завтра и послезавтра будет самая бешеная работа — выставка открывается 10–го, а осталось еще очень много. Да еще мне навязали лекцию здешним экскурсоводам о московской графике (гравюра и рисунок), отказываться неудобно. После открытия мне останутся такие дела: составить список и акт на остающиеся здесь гравюры и рисунки, прокорректировать свою часть каталога, собрать новые гравюры и просмотреть экспозицию XIX века в Эрмитаже для доклада о ней, и еще посмотреть внимательно «романтиков» и Домье. На это уйдет дня четыре — уеду обязательно не позже 15–го. Так что последний раз пиши 13–го, т. е. чтобы письмо ушло 13–го. Посылка так еще и не пришла, а

завтра почта закрыта, и до 9–го не смогу справиться о ней.

Очень хотелось бы многое тут посмотреть, но явно ничего не успею. Сейчас обдумывал, что бы хотел видеть — получилась такая уйма, что лучше ничего смотреть не буду! Русский музей (верх — весь низ ведь в запасе), Эрмитаж — галерею, Восток и пр., хотел бы попасть в Пушкинский дом, в Зоологический музей, в Музей антропологии и этнографии Академии наук, во дворцы — музеи и т. д. и т. д. Должен буду пойти к Кругликовой, Лебедеву, Тырсе обязательно и еще другие все зовут… В голове такая груда нового, что надо бы много месяцев, чтобы утряслось — и картины, и люди. Такими порциями не только слон, но и сам Господь Саваоф, думаю, воспринять не могут. Во всяком случае, — несколько новых хороших людей есть — не говоря уж о Купреянове — Лабас, Лебедев, Истомин, Герасимов — может быть, и еще кто-нибудь. Кузнецов мне не нравится — какой-то угрюмый человек, и такие «эстетные» господа, как Конашевич, — тоже. В такой сутолоке и суматохе очень во многом не успеваешь разобраться, но многое от этого особенно ярко и резко обостряется. Так, после московских заседаний жюри я совершенно влюбился в Штеренберга. Сейчас мне хочется, кончив выставку, на месяц дать всему улечься — уйду целиком в своих «романтиков». Тогда все, чему надлежит, отстоится — или вылетит вон. Мне только так хотелось бы, чтобы ты видела то же, что я, тех же людей что я — без этого и для меня от всего только половина. Я так горюю об этом пропавшем письме, Наташушка! Ведь до послезавтра ничего не буду знать о тебе и Машутушке. Что она нового сказала? Я очень соскучился без тебя и Машеньки. Наташушка милая, любимая, Наташушка моя маленькая! Наташенька милая! Я так жду письма следующего.

Передай Юрию Владимировичу, что я не имею никакой физической возможности написать подробно, что я тут делаю, потому что работаю 12–13 часов в день, — расскажи ему, что я тут делаю и что это за каторжная работа. Завтра постараюсь послать в музей номер своего счета, а сегодня мне не хочется думать ни о каких делах. Хоть один свободный день за полтора месяца! Попроси мне послать срочно и заказным письмом 63 фотографии для каталога в двух экземплярах — почему Гальперин не прислал их с Жанной? А Валю (или Иру Кузнецову, если Валя в музей не ходит) вложить в это же письмо счета и выписки из протоколов по списку, который с этим письмом посылаю. Только чтобы срочно и чтобы не напутали.

Наташушка милая, милая, и Машурушка милая, милая! Я так скучаю тут и так хочу скорее вернуться.

Целую тебя и Машеньку тысячу миллиардов раз и еще

столько же. Поклон Марии Борисовне. Митька шлет поклон тебе и племяннице. А.

9 ноября 1932 г.

Наташенька, милая, сегодня опять письма не было, хотя почта работала. Уже семь дней ничего про тебя и Машеньку не знаю, — последнее письмо было от 2/XI, письмо это пришло 4/XI. Следующее потерялось, а ни 6–го, ни сегодня ничего нет. Мне так грустно, и я так беспокоюсь, Наташенька! Ведь семь дней — такое огромное время. Может быть, на почте скопилось много писем и не разобрались еще — не знаю. И посылка до сих пор не пришла, сегодня узнавал — говорят, еще не разобрались.

У меня так пусто, что и писать не о чем. Вчера работали только до четырех, потом музей был закрыт. Ходил в Дом ученых с Жанной, Купреяновым и Истоминым, после обеда вернулся в музей, где должен был быть вечер, походил немного по выставке и пошел к Кругликовой. У нее и просидел вчера до двенадцати. Очень она милая, простая и добрая, и у нее было очень приятно. Показывала мне свои силуэты, начиная с самых старых. Есть прекрасные, например Вячеслав Иванов (не тот, что в изданной книжке), Баратынский. Множество художников, писателей, музыкантов. Гравюры и монотипии у нее не очень интересные. Нарисовала мой силуэт, сказала, что покажет, когда вырежет.

Сегодня весь день работал, устал очень и вообще ужасно устал от работы, от бестолковщины и всеобщего взаимного раздражения, которые вполне естественны при такой сложной работе, но страшно утомляют, когда и без того устаешь как лошадь. Никогда больше не буду участвовать в таких обширных выставках — не стоит той энергии, которую ухлопываешь. Не знаю, успею ли что-нибудь посмотреть тут еще (да, правда, и того что уже видел очень много), а то общий итог этого моего пребывания в Ленинграде пока, пожалуй, резко отрицательный. Скажи это Юрию Владимировичу, чтобы в музее не думали, что я отправился в увеселительную прогулку. Целого впечатления от гравюры (да и от рисунка) ни у какого посетителя не будет, потому что они рассованы по разным углам и, кроме Фаворского и Остроумовой (а в рисунке еще — Лебедева, Тырсы, Бруни и Фонвизина), — на втором плане. Так что эта выставка никак не заменила ту, что нами, в музее, была задумана, и конечный эффект — вдесятеро меньший. Это тоже скажи Юрию Владимировичу, чтобы в другой раз не так охотно подчинялись распоряжениям чиновников из Сектора науки. Все это меня очень

огорчает и отнимает охоту работать — совсем неинтересно и непроизводительно. Это выяснилось окончательно в последние дни. Потом, все так замотались на этой выставке, что огрызаются друг на друга без всякого повода — это тоже не содействует хорошему настроению. Не хочется писать обо всем этом.

Если бы от тебя было письмо! Мне так одиноко тут, Наташушка милая, милая Наташенька! Ведь сколько, наверное, Машенька новых слов сказала. Мне так страшно, что нет письма — сейчас скоро 2 ч. Скорее бы утро, а письма все равно приносят в 12 ч., когда меня нет дома, значит, до вечера ничего не буду знать. Выставка откроется 13–го, но завтра должно все быть закончено, только боюсь, что до 13–го все равно буду все время занят с каталогом и прочими делами все еще по выставке. Не знаю, как быть, потому что на все остальные дела (без каких-либо хождений по музеям и т. п.) нужно не меньше 4–5 дней после полного освобождения от выставки. Буду стараться уехать все-таки 16–17–го.

Единственно хорошее, бесспорно настоящее — это искусство (и лучше, может быть, не знать тех, кто его делает), откуда я выбираю мое собственное. Пока не видел ни того, что в Эрмитаже (один XIX век мельком в темноте — не в счет), ни старого (то есть дореволюционного) русского искусства. Но из советского я могу выбрать довольно много, и настоящего. Я все в свободные промежутки — в трамвае, за обедом, думаю и утрясаю и очищаю от случайно приставшего, тщательно и строго, потому что не должно быть в этом моем мире никакого сору и подделок. И чужих вещей. Ели б не это — никакого смысла не было бы от пребывания на этой работе. Я тебе написал как-то длинный список, я так хотел, чтобы видела это все и проверила. Я его сократил еще на много и еще сокращу все ненадежное. Совсем бесспорно — Фаворский, Шевченко, Штеренберг, Гончаров (со всеми ошибками — целиком), бесспорны отдельные вещи Бруни, Лабаса, Малевича, вероятно, целиком останутся Лебедев и Павлинов. Все остальное, хоть сейчас и не вспомню, — все буду проверять безжалостно.

Ты не сердись, что я это все пишу, для меня это очень важно — это какое-то оправдание работы над советским искусством для меня, т. е. что остается и становится моей кровью и душою.

Наташушка милая, родная, любимая, маленькая Наташенька! Мне так плохо без тебя и без Машурушки! Мне очень плохо. Почему нет писем? Буду ложиться спать — скорее прошла бы ночь. Наташушка милая! Целую тебя и Машурушку тысячу миллионов раз и еще столько же, и еще столько же, и еще столько же. Так жду письма завтра. Поклон Марии Борисовне. А.

11 ноября 1932 г.

Наташенька, милая, вчера пришла твоя открытка от 4/XI, но пришел я домой так поздно, что уже не мог написать. Сегодня тоже работал в музее до начала первого, но все же пишу, хотя 2 часа. Сегодня у меня день хороший: утром получил две открытки и письмо (5, 6–7, 8) и посылку! Я так рад этому. Я рад, что ты едешь в Узкое, но огорчаюсь, что мало тебя увижу: мне не уехать раньше 16–го — 17–го. Совсем вымотался с этой проклятой выставкой. Истомин, который превратился неожиданно в музейного работника, говорит, что месяц после этой выставки писать ничего не будет — столько хлопот другим от этого получается.

Что делал вчера и сегодня, уже не помню, да и не стоит того. Вчера приехала из Москвы целая орава художников — не то 30, не то 50 человек, но их никого не пускают дальше вестибюля, к великому счастью! Говорят, приехал Гончаров, сегодня видел Шевченко, Барто и Лабаса и очень им обрадовался. Они все трое очень хорошие, а Шевченко — просто ангел, как Николай Арсеньевич. Вспомнил вдруг, что в одном письме недавно сделал, кажется, смешную описку, — перечислял «хороших людей», которых тут особенно хорошо узнал, и вместо Лебедева написал Дейнеку — не думай, что я мог восхититься этим самовлюбленным и развязным героем ковбойского фильма. Правда, говорят, у него бывают приступы «самокритики» и разных угрызений, но мне такой тип людей чужд. Вечером вчера у художников был бал, вместе с ленинградскими, но я не пошел, как и Истомин, и Купреянов. Я с ними каждый день обедаю (то в Доме ученых, то здесь, в музее), Истомин очень спокойный, добродушный и остроумный человек. С Н. Н. я уже много раз ссорился — он ужасно вспыльчивый и злоязычный человек, но очень хороший.

Выставка откроется 13–го вечером, чрезвычайно торжественно. Завтра будет сумасшедший день, потому что к 2–м часам надо все совершенно доделать, а потом ехать в типографию делать корректуру каталога (всего), от чего я, наверное, к концу на стенку полезу. Машинистки все переврали, набиралось с почти непроверенных и перечерканных списков, и единственную оставшуюся копию — отослали Бубнову. Так что я завтра буду править гранки по вдохновению. Надоело мне все это до такой степени, что видеть больше ни одной картины не могу. Дня через три посмотрю и разберусь, что мне нравится, что нет. Народу на выставке последние дни, кроме работающих, без конца — весь Изогиз приехал, из Третьяковки — Замошкин, Никифоров и др. и еще всякий народ — толкучка, хотя никого не пускают из

художников.

Малевич сооружает из гипсовых кубиков и цилиндров свои архитектоны, очень занятные — мне он очень нравится. Интересный человек, по — видимому, Раддов (ленинградский художник), хотя я с ним не говорил ни разу. Все-таки главная масса экспонатов — третий сорт, первого — совсем немного.

Очень мне нравятся акварели Лабаса, чем больше их смотрю. Прекрасный художник, так же как и Гончаров, который на этой выставке получается исключительно эффектно и серьезно. Замечательный у него тут, в Русском музее, Сен Катаяма, — маленький старый японец (это одно из крупнейших имен Коминтерна) со скрещенными короткими ногами, сидящий на стуле с очень высокой спинкой. Очень хорошие картины Щипицына — молодого художника, близкого к Лабасу и Гончарову. Вообще хорошего все- таки много (абсолютно, не относительно). Лучше всех — Фаворский (не только мое мнение!), потом Шевченко.

Спроси Марию Борисовну, есть ли у нас кругликовский силуэт Михаила Осиповича? Она говорит, что делала его, и очень удачно, и отдала Михаилу Осиповичу. А я его никогда не видел. У себя она искала и не нашла[10]. Я рад, что выставка в витринах вышла удачно.

Наташушка милая, я так соскучился без тебя и Машеньки, зачем вы ее обижаете, что она плачет? Какая она милая, Машурочка. Наверное, она опять вышла сердитая на фотографии, — надо бы несколько раз снять. Игрушку я обязательно привезу. Не могу представить, как она говорит «пойду в музей» — это слишком замысловато! Машурушка милая! Наташенька, мне так худо тут одному. Надо ложиться — половина третьего, а завтра вставать в 8. У меня просьба: позвони маме (Д-1–16–44), попроси — очень вежливо — позвать ее из соседней квартиры и расскажи, что я тут делаю. Сегодня устроили с Митькой «пир» из кефали — а то уже вечеров десять я ничего не ел, кроме пустого чая. (Митька-то ужинает у себя в Институте.) Я очень устал и мечтаю о Москве. Наташенька милая, милая, любимая Наташушка! Целую тебя и Машукушку тысячу миллиардов раз. Поклон Марии Борисовне. А.

14 ноября 1932 г.

Наташушка, милая, любимая, моя маленькая Наташенька! Два дня не писал — никакой силы не было — вчера было открытие выставки. Еще третьего дня получил два твои письма (9 и 10–го), а нынче утром еще одно (12–го). Сейчас сижу в тихой — тихой гостиной Дома ученых — где- то далеко в углу сидит молча еще человек, тишина полная. Обедал тут, после долгого перерыва

— после отвратительных обедов в музее. Я очень устал. Третьего дня доделывали миллион дел. Вечером пустили приехавших художников смотреть (я удивился, что это люди бегут — оказалось, что каждый мчался смотреть, как повешен) — было несколько сцен и представлений. С утра уже видел Гончарова, которого люблю больше всех, кроме Фаворского, такой он милый и чудесный. Он остался очень доволен. Шевченко — побурчал по поводу каких-то неправильных рамок (не по моему адресу), но добродушие его безнадежное — ворчание очень неубедительное выходит. Барто был тоже и просил себя перевесить, совершенно справедливо, п. ч. его никуда не годно повесили (несмотря на мои неоднократные протесты и попытки вмешаться), и я с большим удовольствием перевешивал его сам (хотя это живопись!) по просьбе Перельмана и Вольтера. С ним вместе окантовали незастекленные темперы и потом, уже около 12, я сделал ему хорошую стену. Ушел из музея в час. Выходя, Гурвич (директор Русского музея, о котором я тебе расскажу — очень занятный человек) сказал — «смотрите, это не Петербург, это совсем Париж». А Нерадовский заметил — «вот точно так же сказал Бенуа, выходя из Русского музея в такую же лунную ночь, без единого облачка». Правда, эта площадь необыкновенно хороша, а погода последних трех дней удивительная.

Вчера с утра возился с этикетками и пр., потом с корректурой каталога. Поехал на открытие с Митькой. Народу было столько, что картины смотреть никакой возможности не было — показывал Мите людей. Страшно обрадовался Фаворскому и Штеренбергу и весь вечер проходил то с Владимиром Андреевичем, то с Барто, его женой и Шевченко, то с Гончаровым и Лабасом. Фаворский и Штеренберг остались очень довольны, и очень занятно было слушать суждения всех сортов о всяких картинах. Шевченко вызывает единодушное восхищение (кроме Корина), так же как Фаворский и Лебедев. Видел такое количество народу, что скучно считать: приятно было слушать поздравления с хорошей выставкой и особенно комплименты за комнату Фаворского. Из Москвы приехали все художники, какие там есть, и все ленинградские пришли. Из музейных людей — только третьяковцы — Бакушинский, Замошкин и др. Когда все залы застелили коврами, украсили парадные комнаты (Ленинскую и др.) зелеными деревцами — при ярком свете выставка стала действительно торжественной. Накуплено множество работ — картин, рисунков и гравюр, Ленсоветом для Русского музея, Третьяковкой и др. У Шевченко — три картины, за «Прохожую» передрались Русский музей с Третьяковкой. И победила последняя. То же вышло из-за большого «Дербента»

Барто, но тут выиграл Русский музей. Русский музей сделал превосходный выбор вещей — снял пенки. А отбор Третьяковки — как всегда случайный и непонятный. Сегодня снова ходил недолго по выставке с Фаворским, познакомил с ним Остроумову — Лебедеву (он ей «объяснял» сам свою комнату) и сейчас отсюда пойду в старое здание университета на Васильевском острове за ним — идти к ней. Завтра пойду к Кругликовой, а сегодня она будет у Остроумовой — Лебедевой рисовать силуэт Фаворского. Сказала, что принесет мой. Она редкостно добрая и хорошая.

Ты видишь, я неисправимо всюду отыскиваю прекрасных людей — но ведь я не пишу тебе о всякой дряни, которой я тоже вижу достаточно. Фаворский, Штеренберг, Гончаров, Купреянов, Лебедев, Шевченко, Лабас, Истомин, Герасимов — все разные, и другие и разные Пунин и Нерадовский, и Тырса — но все мною или давно, или теперь «проверены» и несомненны — хоть они мне совсем по- разному ценны как художники. (Я могу обойтись вполне без Герасимова и Нерадовского. И Тырсы.) А кроме того — я очень люблю Жанну, и очень много есть милых и приятных людей в Русском музее. Это все я пишу потому, что так много было дерганья и неприятностей, и такая усталость. Что мне самому понравилось — расскажу. Митя был очень доволен — и выставкой, и людьми (я познакомил его с Фаворским, с Гончаровым, Шевченко и показал ему всех, кого мог). На всяком вернисаже, даже на этом, интереснее посетители, а не экспонаты. Завтра и послезавтра я кончу все дела по выставке (каталог, акты и др.) и уеду 16–го с Жанной и Купреяновым. Раньше не могу — ничего не могу сделать, потому что сегодня все еще возился с этикетками и пр. На Эрмитаже поставил крест на этот приезд. Хотел бы вырваться на минуту — посмотреть Домье, но боюсь, что и этого не выйдет.

Наташушка милая, мне так хочется скорее вернуться, что я сделаю тут только то, без чего не могу уехать, вроде актов и каталога, а остальное мне все равно. Наташенька милая, я все дни каждую минуту, что не думаю о гвоздях, этикетках и т. д. все время думаю о твоих неприятностях, о которых ты не пишешь. Наташенька милая, как я хотел бы прижать тебя крепко и поцеловать, чтобы тебе хорошо было и не было б дела до всех неприятностей на свете. Наташенька милая, милая, маленькая моя Наташушка! Я так соскучился и истосковался без тебя и Машеньки. Мне так драгоценны все Машурушкины «фразы», такие милые, такие любимые тоже. И «телефон», и «я на тряпочке сидю», и «мама, искни», и все, все. Игрушки я привезу непременно. Поцелуй Машеньку от меня и скажи, что я приеду через три дня — даже, когда письмо придет — на другой день.

Целую тебя и Машурушку тысячу миллиардов миллиардов раз и так хочу скорее увидеть. Наташенька, милая!

Поклон М. Б. А.

Посылку я получил — я уже писал в одном письме.

Я не помню, сколько дней пробыл еще в Ленинграде после того, как написал последнее свое письмо, что в эти дни делал, как и с кем уехал в Москву. Но я во всех подробностях запомнил свой последний визит к Анне Петровне Остроумовой — Лебедевой в обществе В. А. Фаворского, к которому и отправился, дописав письмо в тихой гостиной Дома ученых.

Я вышел на набережную Невы под вечереющим небом, перешел по мосту на Васильевский остров, дошел вдоль Невы до здания Двенадцати коллегий, прошел в самую глубину двора мимо бесконечно длинного бокового фасада этого прекрасного старого дома, и там, в особняке, принадлежащем Академии наук, нашел Владимира Андреевича, остановившегося в Ленинграде у одного из своих двух дядюшек, которые оба были академиками и оба химиками. Мы пошли пешком — вдоль Двенадцати коллегий, мимо дворца Меншикова, Кунсткамеры, Биржи, любуясь тем самым прекрасным старым Петербургом, который Остроумова — Лебедева с таким вдохновением запечатлела в своих гравюрах. Это было хорошее вступление к предстоящему визиту. Но когда мы около Биржи перешли на Петербургскую сторону, то где-то у Кронверкского проспекта сразу попали в другой безобразный Петербург, враждебный первому, — Петербург Достоевского и Добужинского с грязными, обшарпанными домами, с мрачным дровяным складом, приткнувшимся у подножия высокого голого брандмауэра… От этого неуютного контраста мы поспешно погрузились в трамвай и поехали на Выборгскую сторону — на Нижегородскую улицу, ныне носящую имя академика Лебедева. В трамвае В. А. рассказал мне о слышанном им накануне споре художников на отнюдь не новую тему — что важнее в искусстве — «что» или «как»? — этот спор долго слушал В. В. Лебедев, и когда спросили его мнение, сказал: «В искусстве самое важное не «что» и не «как», а «кто», Владимиру Андреевичу — да и мне — очень понравилось это суждение.

Когда мы явились в остроумовский дом, то были очень приветливо встречены Анной Петровной. На этот раз дома был ее муж, высокий и довольно полный человек со светлыми глазами и светлыми вьющимися волосами и бородкой. Узнав, у кого остановился В. А., он сразу начал, немножко бестактно, расспрашивать его — очень длинно и очень нудно — об академических дядюшках Владимира Андреевича. В. А., неожиданно попавший в положение ничем еще себя не

проявившего молодого человека, которого снисходительно расспрашивают о его знаменитых предках, отвечал смущенно и туманно, так как явно знал о делах и планах своих именитых родственников гораздо меньше, чем тот, кто его спрашивал. Во время этого долгого и скучного чаепития под столом при нашем малейшем движении, слышалось угрожающее глухое ворчание низким басом: две безносые китайские собачки, там сидевшие, терпеливо предупреждали нас, что вцепятся в наши ноги при любом покушении пошевелиться или переменить позу. Наконец, Анна Петровна увела нас в соседнюю комнату, увешенную чудесными акварелями Александра Бенуа и других ее товарищей по «Миру искусства», и стала показывать нам все свои гравюры. Я их знал все по превосходной коллекции своего музея, которую сам хранил и пополнял. В. А. знал тоже, но восхищаться этой удивительной вереницей совершенных творений можно было хоть в сотый раз в жизни. Анне Петровне было приятно восхищение Владимира Андреевича, которое было естественным, но к тому же очень уместным ответом на то восхищение его гравюрами, какое было выражено Остроумовой — Лебедевой, когда Владимир Андреевич показывал ей свою комнату на выставке в Русском музее. Могу считать, что мне выпала великая честь стать устроителем знакомства и встречи ***двух эпох истории русской гравюры*** — встречи, преисполненной глубокого взаимного уважения. В. А. спросил, целы ли доски гравюр А. П. Оказалось, что доски пропали, потерялись по дороге в Москву, куда их отправили в 1917 году. «Думали, что в Москве революции не будет», — сказала Анна Петровна и сама рассмеялась своим словам. Перед нашим прощанием она подарила нам по гравюре, по нашему выбору. Владимиру Андреевичу — «Голубую Неву», мне — «Фьезоле». Видимо, это посещение В. А. и этот подарок были важным событием для А. П. — она рассказала об этом в своей автобиографии. Для меня же это стало последним большим и ярким впечатлением столь насыщенных долгих дней путешествия в прекрасный и любимый мною город.

Из многочисленных ленинградских встреч и знакомств выделяются три самых важных и значительных — с Николаем Николаевичем Пуниным, с Казимиром Севериновичем Малевичем и Владимиром Васильевичем Лебедевым.

Пунин был тогда заместителем директора Русского музея, в котором расположилась выставка, фактически он был главным организатором необычайно сложной и трудной работы по ее устройству. Он входил в возглавляемый И. Э. Грабарем президиум экспозиционной комиссии, но решал все дела с размещением всех художественных группировок 1917–1932 годов

и с претензиями и просьбами множества участвовавших в выставке художников не Грабарь, а Пунин. У него был вспыльчивый и яркий темперамент, и хотя мы не раз с ним ссорились («с шумом и криком», как написано в моих письмах) — я не мог устоять против неотразимого обаяния этого блестяще талантливого, причудливого и необычного человека и просто влюбился в него, не обращая никакого внимания на наши мимолетные размолвки. Он был главным организатором петербургского футуризма первых лет революции, под общим именем которого выступали очень разные ярко оригинальные и самобытные художники — Татлин, Малевич, Альтман, Кандинский, Матвеев, Анненков, Карев… Пунин ходил тогда даже с револьвером, такое было время. Полным энергии и изобретательности он остался навсегда, став профессором Ленинградского художественного института (называвшегося тогда Академией художеств) и предметом лютой злобы и ненависти мракобесной критики партийно — номенклатурного толка и подобного же искусства, был арестован по доносу дурного ленинградского художника Владимира Серова и не менее дурного московского искусствоведа Андрея Лебедева и умер в лагере за Полярным Кругом. О моей встрече с Пуниным в Самарканде в военные годы я расскажу в следующем фрагменте моих воспоминаний («Самарканд 1941–1944»), Малевичу меня представил А. В.Шевченко, приезжавший в Ленинград в самом начале устройства юбилейной выставки. Узнав, что я зять Михаила Осиповича Гершензона, Малевич отнесся ко мне чрезвычайно сердечно и дружески. Дело в том, что Малевич был очень дружен с М. О. Гершензоном, настолько, что у Михаила Осиповича до самой его смерти в кабинете висел «Черный квадрат» Малевича и М. О. говорил, что этот квадрат действует очень успокаивающим образом. Малевич писал письма Гершензону; эти письма (более сорока) я отдал ученику Малевича Николаю Михайловичу Суетину (после смерти которого они перешли к его жене А. А. Лепорской, а куда они ушли, когда она умерла, не знаю)[11]. Познакомившись со мною, он тут же предложил прочесть лично мне две лекции, которые назвал «О преимуществах беспредметности», и прочел. На выставке у него был персональный зал, в котором главное место посреди зала заняли его «архитектоны» — абстрактные отвлеченные геометрические модели многих архитектурных сооружений — эти «архитектоны» сыграли важную роль в сложении послевоенной архитектуры Миса ван дер Роэ, Нимейера, Ээро Сааринена и других замечательных архитекторов середины двадцатого века в Америке (как Северной, так и Южной). А на стенах Малевич

развесил свою абстрактную живопись предреволюционных и первых революционных лет, хорошо мне знакомую по московскому Музею живописной культуры, виденную мною в начале двадцатых годов и очень мне понравившуюся.

Владимир Васильевич Лебедев был подтянутый суховатый «ленинградец», с редкими, невзирая на молодые годы, волосами на голове, даже почти с лысиной, но со спортивной внешностью — он и ходил всегда не в каком-нибудь пиджаке и брюках, а обязательно в полуспортивном или просто спортивном костюме. Он был действительно настоящим спортсменом, отличным боксером. Лебедев обладал необыкновенно властным характером, оказывал огромное влияние на всех, кто с ним встречался, не только своим обаянием, но и своей твердостью характера, своей принципиальностью, своей очень большой целеустремленностью и просто своим творческим потенциалом. Ведь он один из создателей нашего плаката, он создатель всей нашей детской книги. Совместно с Маршаком они уже к середине 20–х годов выработали новый тип детской книги, который произвел впечатление на весь мир. У нас его потом, после войны, старательно заглушали, но созданное ими осталось навсегда. Лебедев выражал себя в непрерывном творческом искательстве, как правило, чрезвычайно привлекательном. Рядом с условными, близкими к его плакатам РОСТА, плоскостными книгами 1920–х годов, которые только потом, к 30–м годам, стали немного более реально осязательными, как, например, «Петрушка — иностранец», одна из самых прелестных его книжек, у него были совершенно божественные рисунки с натуры. Его наброски натурщиц и балерин 27–го — 29–го годов — лучшее, что вообще есть в советском рисунке, а может быть, и во всем мировом рисунке XX века. Только Серов так рисовал — другого близкого по времени художника, я, пожалуй, и не назову.

Надо сказать, что в середине 30–х годов с Лебедевым произошла великая катастрофа, просто несчастье. В 1936 году в «Правде» появилась омерзительная, безобразно — хулиганская редакционная статья «О художниках — пачкунах» — о двух прекрасных ленинградских художниках Лебедеве и Конашевиче. Поводом для появления этой статьи было издание издательством «Academia» двух сборников стихотворений для детей Маршака и Чуковского, соответственно иллюстрированных Лебедевым и Конашевичем. Авторство статьи тогда приписывалось разным людям, но я узнал, что ее написал искусствовед Владимир Кеменов, впоследствии известный мракобес и погромщик, — я позвонил в редакцию газеты, и там не стали скрывать имя автора. Через некоторый срок можно было без труда это установить,

сличив статью с последующими выступлениями Кеменова.

Конашевич как-то не обратил внимания на эту статью, а Лебедева она сломала.

Своей статьей Кеменов угодил высшему начальству (всю свою жизнь дальше он занимал только разнообразные высокие посты), но русская художественная культура потеряла одного прекрасного мастера. На следующий 1937 год издательство «Academia», выпустившее в свет великое множество творений мировой литературы, иллюстрированных лучшими художниками, было ликвидировано партийноправительственной комиссией, в которую входил Кеменов.

Со второй половины тридцатых годов у Лебедева были иногда очень большие недостатки, когда он, не сумев перебороть травму от несправедливого разноса его очень хорошей книги, стал перегружать свои, по — прежнему отлично нарисованные, детские книги нарочитой сентиментальной идеализацией, чуждой всему духу его искусства. Но его подлинно большое искусство остается живым и трогающим. Его изобретательность, умение заниматься разными сферами творчества сближало его с Татлиным, Дейнекой и другими ОСТовцами, художниками такого типа.

Выставка в Ленинграде 1932 года свела и познакомила отца едва ли не со всеми сколько-нибудь значительными художниками этих лет. Со многими он сблизился уже тогда, с другими близкие отношения сложились позже, и иногда характеристики, которые он давал им в своих письмах, радикально переменялись в лучшую сторону — в отношении Дейнеки, Осмеркина, Павла Кузнецова, Сергея Герасимова и некоторых других.

Художники 30–х годов

Художники Дейнека, Пименов, Вильямс, С.Герасимов, Куприн, Кончаловский, Лентулов, Машков, Ульянов, Мухина, Кузнецов, Сарьян

С Дейнекой я впервые познакомился в Ленинграде. Он приехал, когда выставка уже была развешана, в самые последние дни перед открытием, снял все свои работы со стены и повесил их по — своему, сокративши очень сильно: были привезены некоторые малоудачные его вещи, и он их убрал. В конце концов, там была «Оборона Петрограда», «Спящий мальчик с васильками», целый ряд первоклассных вещей. Тогда Дейнека на меня произвел впечатление странное и, скорее, негативное. Он был резок, немного груб. Большинство людей его так и воспринимало — как какого-то спортсмена, футболиста или боксера. Но я, к счастью, довольно быстро разобрался в его настоящем характере. Ничего подобного он в себе не содержал, это была манера держать себя с посторонними, с чужими. Я с ним сблизился уже в середине 30–х годов, когда стал работать в Детиздате, об этом разговор будет дальше. И чем дольше шло время, тем он становился мне все ближе и ближе. Последнее наше заочное свидание за два дня до его смерти — это был обмен самыми нежными словами по телефону с обеих сторон.

С другим ОСТовцем — Юрием Ивановичем Пименовым я познакомился не в Ленинграде. В Ленинграде было очень мало его работ, и я первый раз его увидел уже в Москве, когда заместительница директора Русского музея Добычина приехала расплачиваться с художниками за приобретенные у них в Ленинграде работы. Их всех собрали на Волхонке, в один из тех маленьких домиков, которые расположены между улицей Фрунзе и музеем. Все художники сидели в коридоре и болтали, а их приглашали по очереди в какую-то комнату. И вот там я в первый раз увидел и запомнил Пименова. Он показывал, как три художника изготовляют пейзажи на продажу: один раскладывает много одинаковых холстов и заливает их синей краской, изображающей море, второй проходит и проводит черной краской какие-то лодки, а последний ставит единым махом белыми белилами паруса. Он это изображал необычайно темпераментно и очень выразительно.

У нас с ним очень быстро установились отношения, но не на музейной почве, потому что он никакой графикой не занимался

— ни гравюрой, да и рисунком-то не очень, был чистейший живописец. Уже в 1932 году у нас сложилась нежнейшая дружба. Он как раз в этот промежуток, между 1930 годом и 1932–м, перенес очень тяжелую мозговую болезнь, связанную то ли с сотрясением мозга, то ли даже с какой-то душевной болезнью, и она, когда он наконец от нее избавился, совершенно изменила весь его характер. Настолько, что он истребил большую часть своих ранних работ, слишком обостренных, экспрессивных, схематичных, выменял даже в музеях то, что успели у него купить. И стал совершенно другим, таким, каким остался на всю жизнь: сияющим, светлым, солнечным, полным какой-то величайшей жадности до реальной живой жизни. У нас с каждым годом все больше и больше углублялись дружеские отношения, и в конце концов он стал из моих сверстников столь же близким мне человеком, как Шмаринов. Собственно, их двоих я должен называть в первую очередь среди своих самых ближайших друзей моего поколения. Я был года на полтора моложе Пименова и года на полтора старше Шмаринова.

С Вильямсом я тоже подружился в начале 30–х годов. Он тогда был живописцем, и очень сильным, хорошим живописцем. У него были превосходные работы: портрет Мейерхольда, портрет режиссера Барнета, большая картина «Моряки с «Авроры», которую отправили на какую-то выставку в Венецию и там подарили тамошней коммунистической организации. Там она и осталась. Но у меня, правда, есть ее репродукция. Это очень хорошая вещь, я ее прекрасно помню. Но потом он, уже к середине 30–х годов, увлекся театром, имел необычайный успех, делал, например, оформление к «Пиквикскому клубу» во МХАТе с необыкновенно причудливыми декорациями, в которые были введены человеческие фигуры. А потом стал самым модным художником Большого театра и даже завел наряд, подобающий преуспевающему театральному деятелю: какую- то необыкновенную шубу почти до земли с мехом от ворота до самого низа, меховую шляпу вроде жернова на голове, что было предметом величайших издевательств меня и Пименова в особенности. Он только смущенно улыбался. В общем, всецело вошел в театральную среду, театральную жизнь.

С Вильямсом у меня связано одно очень нежное воспоминание. В середине 30–х годов мы с Наташей поехали на Кавказ в Тегенекли — это местечко над рекой Баксан у подножия Эльбруса. Там был дом отдыха, принадлежащий кому — не знаю, но предназначавшийся для творческой интеллигенции. Во всяком случае, путевки туда надо было получать в художественном фонде Московского союза, и когда я туда пришел, мне сказали,

что только что был Вильямс и тоже собирается туда ехать с женой.

В Тегенекли оказалось очень много знакомых. Был там наш с Наташей близкий друг — ученый — географ Лазарь Шоломович Гордонов, с которым мы, собственно, и условились туда ехать. Был там кинорежиссер Александров со своей женой Любовью Орловой. Был поэт Николай Тихонов. Была скучающая переводчица — предполагалось, что там будут иностранцы, но их не было, и она уныло бродила без всякого дела. В один из вечеров она оживилась: должен приехать наконец англичанин мистер Уильямс! Она пудрилась, красила губы, в общем, приготовлялась. Но когда явился этот мистер Уильямс, то оказалось, что это мой друг Петр Владимирович Вильямс, который ни одного слова по — английски вообще не знал. Отец его был, действительно, английского происхождения, по — моему, какой-то крупный сельскохозяйственный ученый, но сам он ни к каким Англиям никакого отношения не имел, так что переводчица была разочарована.

Я вспоминаю, как мы один раз отправились на Эльбрус, не на самый, конечно, верх, а на кругозор, это где- то на полдороги, уже выше облаков — площадка и маленькая гостиница. Мы лезли сквозь облако по крутой тропинке и, вылезши из этого облака, явились туда совершенно мокрые. Дамы отправились в гостиницу переодеваться, приводить себя в порядок, а мы с Вильямсом бродили по площадке. И вдруг кто-то закричал: «Эльбрус открывается!» Он был весь затянут облаками, и вдруг облака разорвались, и на фоне совершенно зеленого неба возник снежный белый конус вершины Эльбруса. Вильямс ринулся в дом за бумагой и карандашом — ничего другого он не захватил с собой — и стал под дождем, который в это время лил сверху, набрасывать все контуры, записывая, какие краски. Я запомнил его с приставшими ко лбу волосами, судорожно рисующего и записывающего эти самые краски. Но, к сожалению, из этого ничего не вышло: когда он мне в Москве показал этюд, сделанный по этому наброску, все оказалось совсем непохожим. Да и сам он это знал прекрасно. Помню, что любоваться на Эльбрус наши дамы вылезли совершенно полуодетыми. «Явление Эльбруса» было мимолетным зрелищем, нам было предоставлено на всё какие-нибудь две — три минуты.

Вильямс был простой, добрый, хороший человек, немножко смешной своими модными театральными увлечениями.

С другими ОСТовцами у меня тоже были добрые отношения — и с Лабасом, и с Шифриным, но они не были такими близкими. Шифрин был прелестный человек, очень хороший театральный

художник, блестящий театральный мастер. Лабас всегда был немножко сумасшедшей и малоорганизованной фигурой. Зато кто, конечно, был совершенно замечательный человек и чудеснейший художник, это Тышлер. Но с ним знакомство и дружба относятся к самым поздним временам, уже послевоенным. Как-то вышло так, что в Ленинграде он не был представлен, и тогда мне не приходилось с ним встречаться. До войны я был знаком с ним, но издали. Только после войны установилась очень нежная дружба, которая все только углублялась и улучшалась. Он одно из самых прелестных существ, которых я встречал в своей жизни.

После ОСТа нужно, конечно, назвать, если говорить о художественных группировках 20–х годов, две, которые доставили мне очень близких друзей. Прежде всего, это «4 искусства», в которые входили и Фаворский, и Ульянов, и Павел Кузнецов, и Сарьян, и еще целый ряд самых близких мне людей. И второе — Общество московских художников — «ОМХ», которое доставило мне одну из самых дорогих дружб — с Сергеем Васильевичем Герасимовым, а также и с Родионовым, с Осмеркиным и другими.

С Сергеем Васильевичем я познакомился впервые в Ленинграде, он был одним из устроителей выставки, был в числе бригадиров и развешивал картины свои и близких к себе художников. Хотя он и преподавал во ВХУТЕИНе рисунок, но с его графикой я познакомился гораздо позже и покупать для музея мне ее не пришлось. Но в Ленинграде нам пришлось сталкиваться каждый день, встречаться на общей работе, а главное, мы ходили вместе обедать компанией: он, я, Купреянов и Истомин. Это было так часто, что я очень быстро узнал его характер, его остроумие, его шутки и насмешки, которые были только обороной от чужих людей. Уже тогда я оценил его удивительный характер и его чудесное искусство. Хотя это был еще очень ранний его период, работы были только 20–х, самого начала 30–х годов, они уже были очень хороши. А дальше это знакомство постепенно переходило во все большую и большую близость, и в послевоенный период это был, конечно, один из самых мне близких людей. И должен сказать с большим удовольствием, что, по — видимому, и я для него был одним из самых близких людей, пользовался его полной доверенностью, выполнял все его поручения, в особенности когда он стал во главе Союза художников СССР. Собственно, он и до этого воспринимался как таковой, всеми признанный, хотя и абсолютно неофициальный глава советского искусства. Но когда в 1957 году произошел Первый всесоюзный съезд художников, то совершенно

естественно, что Сергей Васильевич оказался во главе Союза.

Может быть, более внешними, но очень дружелюбными отношениями у меня отмечено было и знакомство с Осмеркиным, одним из главных участников «Бубнового валета», который к 30–м годам стал очень простым лирическим пейзажистом, тонким и нежным. И сам он был прекрасный человек, привлекательный, тонкий. Но с ним я встречался реже, и это было все-таки периферийной дружбой, а не основной, укорененной.

Говоря о бывших участниках группы «Бубновый валет», нужно помянуть еще одного нежнейшего, милейшего и привлекательного человека, Александра Васильевича Куприна. Куприн был невысокий, с небольшой бородкой, очень молчаливый и застенчивый человек, очень скромно одетый, без всяких внешних эффектов, занятый какими-то своими размышлениями и своим творчеством. Осмеркин и Куприн — это, пожалуй, два самых тонких художника во всей этой группе.

С Куприным у меня, так же как с Осмеркиным, были самые дружеские и, можно сказать, задушевные отношения. Не так, как с Кончаловским, к которому я питал глубокое почтение, который ко мне благоволил, но все-таки между нами была большая дистанция.

Отношения мои с Петром Петровичем Кончаловским были очень дружелюбные, я писал о нем, и ему нравилось, как я пишу. Но близости особенной не могло получиться, уж очень он был другой. Это был прежде всего барин, немножко купеческого стиля, живший на широкую ногу, необычайно темпераментный, с огромным художественным «хозяйством». Один раз, когда я был у него в мастерской, он сказал: «У меня уже идут тысяча восьмисотые номера». Это относилось только к его картинам; акварели и рисунки он даже и не считал. Во всяком случае, отношения у нас были дружественные, которые потом сильно охладились уже по милости его дочери и зятя — Наталии Петровны Кончаловской, поэтессы, и ее супруга Михалкова. Но Петр Петрович тут был ни при чем, так же как он был ни при чем до некоторой степени и к барскому снобизму своего дома — его насаждала его супруга, дама с тяжелым характером, которая, будучи дочерью Сурикова, очень много о себе понимала и чрезвычайно блюла достоинство Кончаловского. Когда я написал статью, по его просьбе, для его последней прижизненной выставки в 1956 году, то с этой статьей получился конфуз. Я ее дал прочесть Петру Петровичу. Он горячо ее одобрил, она ему очень понравилась. А потом ко мне явился Николай Георгиевич Машковцев, старый историк искусств и музейный работник, работавший в это время в Академии художеств и бывший членом

— корреспондентом этой самой Академии, со смущенным видом, что вот-де Ольга Васильевна наложила «вето» на мою статью, потому что я там Кончаловского за некоторые вещи критикую. Петр Петрович на это внимания не обратил, а жена не позволила эту критику печатать. Я сказал, что статью беру назад, давать ее в каталог не буду, как-нибудь уж напечатаю в неисправленном виде. Когда после этого я встретился с Петром Петровичем, он мотал головой, жалел, как так нехорошо получилось. Но я его успокоил, утешил, сказал, что я ее уже отдал в журнал «Искусство» и она будет напечатана в таком виде, в каком я ее написал. Но он во время этой выставки умер, так что моей статьи напечатанной не увидел. А она оказалась настолько удачной, что ее без моего ведома потом перепечатывали, в частности, в громадном томе «Художественное наследие Кончаловского» и даже поместили, меня не спросив, в качестве вступительной статьи. Очевидно, она отвечала своему назначению. Но все-таки, эти отношения были не близкие, хотя и хорошие, дружелюбные.

Фаворский рассказал мне забавный эпизод, связанный с его работой над оформлением поэмы дочери Петра Петровича, Натальи Петровны Кончаловской, «Наша древняя столица». Ему пришлось ходить в дом Кончаловских довольно долго: «Наша древняя столица» состояла из целых трех книг, ему пришлось сделать множество иллюстраций. Наталья Петровна в своих стихах часто просто на него ссылалась: все остальное вам покажет художник.

Пока они с Натальей Петровной работали, в комнату вошел Петр Петрович, посмотрел на разложенные листы и сказал: «Вот уж никогда не думал, что из моей дуры — Наташки получится что-нибудь путное».

С тех пор она в нашем доме так и осталась «дурой — Наташкой». Это название привилось прочно и безнадежно. Что касается Михалкова, о нем разговор будет в свой черед, когда речь дойдет до Детиздата, где он впервые появился и где на моих глазах он возрастал и складывался как преуспевающий официальный поэт времен культа личности.

Другие «бубнововалетцы» были очень разного характера. Лентулов — это была удалая личность; так и можно было себе представить, как он летит на лихаче — извозчике в совершенном веселом виде кутить напропалую до утра в какой-нибудь «Яр». Может быть, это было показное, но он так себя вел — душа нараспашку, широкая натура. По существу, он был очень серьезен и настоящий мастер, хотя начинал, как можно было увидеть на выставке «Москва — Париж» с весьма буйных вещей, где кубизм пополам и с футуризмом, и с наследием русской живописи XIX

века. И все в чрезвычайно буйном виде на огромных холстах. На самом деле при всем этом он был очень тонкий художник. Лентулов был очень дружен с Пименовым, и, собственно, мои отношения с ним складывались в основном через Пименова. Человек он был приятный, хороший.

С Машковым у меня добрых отношений не сложилось. Талантлив он был очень. Но я с первой же встречи с ним стал дивиться, как мог Господь Бог вложить талант в такую дубину стоеросовую, в такого безнадежно глупого человека. Это сказывалось чрезвычайно наглядно, когда он пытался рисовать человеческие фигуры. Он вошел в АХР и рисовал каких-то пионеров с галстуками на берегу Черного моря — это было нечто совершенно невозможное, слюнявая пошлятина, самого вульгарного и глупого вида. А натюрморты, тем не менее, он всю жизнь писал отличные. Никакой близости у меня с ним сложиться не могло. А когда я разругал в одной из своих статей его парадный «Портрет партизан», где партизаны с дрекольем, с винтовками, с патронташами и пулеметными лентами были изображены вокруг великолепного, большущего, роскошно написанного фикуса, словно на лубочной фотографии провинциального фотографа — как будто они всунули свои лица в отверстия готового задника, — Машков, конечно, совсем на меня разобиделся и отношения наши полностью прекратились.

Не сложились у меня отношения и еще с одним бывшим «бубнововалетцем», Фальком. Но о нем я расскажу потом, когда речь дойдет до военных лет — только тогда я с ним и познакомился, в эвакуации, в Самарканде. Это была очень неприятная встреча, и я к нему отношусь весьма прохладно — и к его искусству и, в особенности, к его собственной персоне. Очень самодовольный, очень самонадеянный, чванный и крайне недоброжелательный по отношению к людям человек.

Что касается общества «4 искусства», то я нашел там хороших друзей. Это не только Фаворский, но вслед за ним и Ульянов. Я впервые встретился с Николаем Павловичем Ульяновым, когда я устраивал выставку графики уже в Москве. Там был его стенд, на котором были подобраны очень хорошие его рисунки, в основном портреты. Я помню, там был портрет Машковцева, портрет Эфроса. С тех пор у нас стали устанавливаться все более близкие отношения, перешедшие в конце концов в очень важную для меня дружбу. Я к нему постоянно ходил, он писал мне письма, хотя мы оба жили в Москве. А в Самарканде, где оба мы оказались в эвакуации, я видел его почти каждый день. Его в начале войны отправили в Нальчик, потом в Тбилиси вместе с целой группой именитых писателей, художников, артистов. (Вместе, кстати

сказать, с Александром Борисовичем Гольденвейзером.) Осенью 1942 года их всех перевезли в Среднюю Азию, но большинство проехали в Ташкент, а он остался в Самарканде.

Я каждый день, приходя на Регистан, где располагался Московский художественный институт, заходил его утешать, потому что его в жизнь в Самарканде была очень тяжелая. Ему дали совершенно безобразную, неудобную, полуразрушенную худжру во дворе Шир — Дора, без всякой мебели. А он привез с Кавказа умирающую жену, лежавшую уже без движения. Она и умерла там, в Самарканде.

Николай Павлович Ульянов, а после его смерти его вторая жена Вера Евгеньевна подарили моему отцу множество первоклассных ульяновских работ: портрет Вячеслава Иванова, акварель «Дидро у Екатерины», один из лучших его рисунков Пушкина, — эскизы костюмов к «Мольеру» и ряд других. Хранится у нас и редкая работа — пейзаж его умершей в Самарканде первой жены художницы Глаголевой. С одной большой вещью Ульянова «Модель и конь Силены» связана целая история. Эту вещь молодой Ульянов написал в бытность свою ассистентом Серова в Школе живописи, ваяния и зодчества, — это была учебная «постановка», которую предложил Серов своим студентам. Вернувшись из эвакуации в Москву, Ульянов обнаружил, что этот снятый с подрамника холст соседи употребили, выстлав им корзину для хранения картошки. Картина представляла собой черный потрескавшийся ком, на котором едва можно было что-то различить. Ульянов отдал его отцу, горестно сказав: если сумеете спасти, оставьте себе. Отец дал холст замечательному реставратору ГМ ИИ Степану Чуракову, и тот спас-таки работу! Дублировал на новый холст, отчистил — следов реставрации почти не видно, и «Модель и конь Силены», сияя всей своей истинно «серовской» живописностью, вот уже полстолетия висит над отцовским диваном в его кабинете.

Из этой же группы «4 искусства» явились и другие близкие мне люди, такие как Вера Игнатьевна Мухина, чудесный скульптор и человек замечательный, необычайной силы, властности и энергии, абсолютной независимости, с необыкновенно большим душевным миром и большим душевным размахом. Это выливалось и в грандиозную монументальную пластику, и в лирические вещи — знаменитая группа, сделанная для выставки в Париже 1937 года, сопровождалась такими работами, как «Хлеб», одна из самых поэтичных и нежных скульптур, какие вообще есть в советском искусстве. Она была и замечательной портретисткой.

Из этого же общества, собственно, явилась и Сара

Дмитриевна Лебедева, когда-то бывшая женой Владимира Васильевича Лебедева, одна из самых тончайших скульпторов, какие у нас были, и прелестный человек, очень сдержанная, очень молчаливая, очень спокойная и с каким-то поразительным, обостренным чувством характера и движения в своем искусстве. Что бы она ни делала, будь то большая ее статуя «Девочка с бабочкой», одна из лучших ее работ, будь то портреты, такие, как, например, портрет во весь рост, хотя и миниатюрный по размерам, Татлина, с его раскоряченными ногами, длинной лошадиной физиономией — было необыкновенно значительно и на редкость талантливо. Встреча с Сарой Лебедевой и добрые отношения с ней — это тоже одно из очень дорогих для меня воспоминаний.

Очень хорошие отношения, хотя близости особой душевной никогда не было, сложились у меня и с Павлом Варфоломеевичем Кузнецовым, человеком очень благодушным, немного недалеким. Впрочем, может быть, это была форма поведения, за которой пряталось что-то большее. Купреянов его, правда, обозвал не очень добрыми словами: «тюлень, который пытается прикидываться львом». Возможно, это и соответствовало его характеру.

Он был очень простодушен, и проявлялось это в самых разных формах. К примеру, однажды в зал, где я развешивал гравюры и офорты Нивинского, Кравченко и эстампы других графиков, вдруг является Кузнецов, волоча за собой гигантский холст одного из своих учеников — аморфный, рыхлый, совершенно живописный. И когда я удивленно говорю: «Ну, куда же я его дену?», Павел Варфоломеевич отвечает: «Но ведь это совершенная графика!» Ничего менее похожего на графику нельзя было и придумать. Он очень заботился о своих учениках. Этот холст был, кстати сказать, Давидовича, который погиб в ополчении во время войны. Но с ним я почти не был знаком.

Во время работы в Ленинграде нам с Павлом Варфоломеевичем приходилось обедать иногда в самом Русском музее. Кормили там отвратительно, но ничего нельзя было поделать — не всегда можно было удалиться в гостиницу «Европейская» или в Дом ученых. Я помню, как раз мы сидели с Павлом Варфоломеевичем, и он из супа, который ему подали, вытащил длиннющий рыбий хвост. Он призвал официантку и спросил ее очень спокойно: «Вы что мне подали, уху или щи»? Она сказала: «Щи». Тогда он показал ей рыбий хвост, к ее великому смущению. Мне очень понравилась его серьезная заинтересованность в том, чтобы выяснить, что, собственно говоря, ему подали.

Очень приятной для меня была наша с ним встреча в Гурзуфе в начале 50–х годов, когда он затеял написать мой портрет. Он мне несколько раз это предлагал и в Москве, но в Москве мне было позировать некогда, а в Гурзуфе у меня никаких предлогов отказываться быть не могло. Он меня усадил наверху Коровинской дачи на фоне моря и написал огромную ярко — красную голову, похожую на грандиозных размеров помидор на фоне ослепительно синего моря. Он с великим удовольствием писал этот портрет, и я ужасно жалею, что он куда-то задевался. Недавно мне, правда, сказали предположительно, что после смерти Кузнецова и его жены (у них никаких детей не было) все, что оставалось в мастерской, ушло в Саратов, в Радищевский музей. Очень может быть, что и мой портрет попал туда. Сходства там, пожалуй, было не слишком много, но просто приятна сама память. Я так и вижу его, как он сидит и с великим удовольствием пишет этот самый контраст яркокрасного с ярко — синим. Но, правду сказать, мне сидеть было трудно, потому что его жена Бебутова, тоже художница, решила меня во время этого сидения развлекать учеными разговорами. Разговоры, при всех ее потугах на ученость, были такие, что я еле — еле удерживался от хохота. Она тоже была человеком бесхитростным и простодушным.

С Кузнецовым близкая дружба вряд ли могла сложиться — уж очень мы были разные люди. Но вспоминаю я его с большим уважением. А художник он очень хороший, что показала его недавняя выставка совместно с Матвеевым.

А вот Матвеев, знакомство с ним, перешедшее в очень добрые отношения, — это было одно из самых главных моих «достижений». Человек он был очень суровый, очень молчаливый, очень сдержанный, замкнутый, медленно и мало работавший, вынашивавший каждую свою работу долгими годами. После него осталось совсем не так уж много вещей, но они замечательные.

Примерно в это время, не позже середины 30–х годов, я познакомился с Сарьяном. Это одно из очень важных событий в моей художественной биографии. Когда и где я его встретил, я совершенно не помню, потому что в музей он ко мне не приходил, поскольку никакой графикой особенно не занимался, и в выставках, которые я устраивал, не участвовал. А в Ленинграде в 1932 году сам он не был. Там была его стена, довольно случайная по своему составу, в общем не отвечающая его уровню и значению, хотя и красивая. Но по сравнению с тремя другими, блистательными стенами того же зала — Петрова — Водкина, Шевченко и Кузнецова, он выглядел скромнее, хотя в результатах своего творческого пути превосходил всех трех на много голов. Я

написал о нем очень хвалебную, просто восторженную статью в 1936 году, уже его зная, и эта статья положила начало прочной дружбе, которая сохранилась до конца жизни Сарьяна. Кстати сказать, эта статья в «Литературной газете» 1936 года вызвала очень большое неудовольствие Кеменова, который тогда тоже, как и я, подвизался в «Литературной газете» в роли критика. Мы печатались с ним чуть ли не по очереди, стоя на диаметрально противоположных позициях и очень не одобряя взаимно друг друга.

После войны я часто виделся с Сарьяном — всякий раз, как он являлся в Москву. Я о нем несколько раз писал впоследствии, уже в 60–е годы и позже. Сарьяна описывать нечего — все его знают, но меня всегда поражали какая-то детскость этого человека, его открытое, простодушное восхищение красотой реального мира, его бесконечное добродушное отношение к людям, хотя он великолепно разбирался, кто как к нему относится. В 1952 году на обсуждении юбилейной выставки выступил Борис Веймарн с необыкновенно пылкими тирадами, очень возмущенными в адрес беспринципного жюри, которое взяло на выставку ужасные картины Сарьяна. Потом, лет через пять всего- навсего, эти самые картины доставили Сарьяну Ленинскую премию, так что Веймарн заработал только то, что Сарьян до конца своих дней не выражался иначе, как «этот мерзавец Веймарн». И это при всей его доброте и солнечности, которая была не только в живописи Сарьяна, но и во всем его поведении, во всем его облике — олицетворение солнца, да еще солнца Армении. Это ведь совсем особое солнце. Одна из самых прекрасных стран, какие есть на земле, — Армения. Я это узнал в послевоенные годы, когда был там два раза.

Я хорошо помню, как мы с отцом были у Сарьяна в его мастерской в Ереване на «улице Сарьяна», как он показывал нам свои работы — и ранние, и совсем недавно сделанные очень трагические и сильные станковые рисунки. От жары у отца началось сильнейшее носовое кровотечение, — Сарьян страшно взволновался, уложил отца на кушетку, ухаживал за ним с трогательной заботливостью. Он был уже очень стар и хотя по — прежнему светел, очень грустен, — незадолго перед тем в автомобильной катастрофе погиб его сын.

Художники «другого плана»

Художники «другого плана». И.Бродский, Е.Кацман, Ф. Модоров, П. Родимов, В.Яковлев

Я хочу здесь несколько слов сказать о художниках другого плана, противоположного мне по всем статьям лагеря, с которыми я никаких дружб не водил, но знакомство волей — неволей состоялось. Это были, собственно говоря, основные деятели АХРа: Бродский, Кацман, Перельман, Вольтер, Модоров, Родимов, Василий Яковлев. Их стоит описать.

Бродский предстал перед моими очами в качестве члена жюри в Ленинграде, когда жюри это ходило по залам, смотрело приставленные к стенам картины. Ничего они не отсеяли, но возни было очень много. Важен Бродский был необычайно. Он ходил, выставив вперед пузо и подняв нос кверху. Ко мне он отнесся с абсолютным пренебрежением, поскольку я был лицо, совершенно незначительное с официальной точки зрения. Но я видел, как он вилял хвостом перед Бубновым, — это был совсем другой Бродский. Маяковский его изобразил с абсолютной точностью под именем Исаака Бельведонского в своей пьесе «Баня», где он собирается писать портрет Победоносикова в ракурсе «как утка на балкон». Кстати сказать, прототип был весьма прозрачный — Бродского звали Исаак Израилевич. Это был делец, абсолютно циничный делец, без малейших стеснений. Он укрепил свое положение тем, что вовремя начал писать не светских красавиц, чем он занимался до революции, а разных руководителей революции. Его известная картина «Ленин в Смольном», где Ленин сидит склонившись, у краешка стола, написана просто по фотографии, без малейших от нее отступлений. Такая фотография сушествует, и существует другая фотография, где запечатлен Бродский, пишущий Ленина в его кабинете. Но он стоит не перед столом, а в его конце, откуда он в ' аком ракурсе, как на его картине, видеть Ленина никак не мог. Он воспользовался готовой фотографией, абсолютно точно ее увеличил и раскрасил. Таким он был и дальше всегда. Деловые его таланты привели к тому, что он даже из АХРа был исключен за чрезмерное делячество. Это уж, очевидно, был крайний случай. Я очень счастлив, что мне не пришлось больше встречаться с этим человеком. Все, что с ним связано — полнейшая профанация искусства. При всем его самомнении и важности, он был полнейшим ничтожеством[12].

Кацман был художником даже не передвижнического типа, а, скорее, эпигоном выродившейся академической школы середины прошлого века, писал замусоленные, зализанные картинки и пастельные изображения каких-то ангелоподобных девочек с бантиками. Вообще, его «искусство» было весьма невзрачного вида. Он тоже был исключен из АХРа за свои деловые «таланты». Но он был человеком совсем другого характера, нежели Бродский: с необычайным темпераментом, все время вылезавший со всякими пылкими речами, пропагандировавший собственные «принципы». Несмотря на свое еврейское происхождение, он был крайним антисемитом и до революции входил в качестве члена в состав черносотенного «Союза русского народа». Так что его «принципы» приспосабливались ко всему, чему угодно, шокируя даже его соратников по АХРу. Во всяком случае, когда из АХРа вырос в конце концов РАПХ (Российская ассоциация пролетарских художников), куда вошли самые крайние, мракобесные из членов АХРа, Кацмана туда не взяли. Когда РАПХ был ликвидирован в феврале 1932 года, состоялось большое собрание художников в Третьяковской галерее. Я был на нем. Кацман вылез на трибуну и с необычайным пафосом начал свою речь: «Что такое РАПХ?» Чей-то голос из зала ему ответил: «Это продолжение АХРа». Поднялся невообразимый хохот, и Кацману пришлось уйти с трибуны, так и не объяснив, что такое РАПХ с его точки зрения.

Могу добавить и собственное впечатление. Кацман был сумасшедший — в самом прямом смысле, постоянно отправлялся в соответствующее заведение, но временами ему становилось лучше, и его выпускали на волю. Однажды в Академии художеств очень торжественно вручали медали Академии, в том числе очень слабенькому, вполне официозному плакатисту Виктору Иванову. Кацман вылез с поздравлениями, но спутав плакатиста с прекрасным, очень сильным живописцем Виктором Ивановым, принялся отчитывать награжденного: зачем он, будучи таким прекрасным плакатистом, пустился писать никуда негодные картины. Зал давился хохотом; Иванов сидел красный как рак; президиум шипел, дергал Кацмана за полы пиджака — он нес свое, ничего не замечая. В другой раз мне довелось слышать гневные филиппики Кацмана в адрес «этого жида Тышлера»…

Бродский и Кацман — наиболее агрессивная, наиболее циничная часть ахровской публики. Вольтер, несмотря на свою пышно звучащую фамилию, был просто круглый дурак, абсолютный тупица. Это был высокий, усатый дядя в очках, весьма глупого вида, с какими-то длинными сальными волосами, спускавшимися на плечи, и абсолютно ничтожный художник. Тем не менее, когда образовался первый в советской истории

Московский союз художников, именно он был назначен его председателем. Правда, его сменили довольно быстро, но он успел выступить и в качестве председателя жюри юбилейной выставки 1932 года.

Перельман — тот был в АХРе основным идеологом и организатором. Это был маленький, низенький человечек, очень ярко выраженного, в самом дурном смысле еврейского типа — таких пронырливых одесситов изображали Ильф и Петров. Он был устроителем всех ахровских дел, большей частью не творческого, а вполне коммерческого порядка.

С Модоровым я встретился в первый раз при курьезных обстоятельствах — познакомился я с ним гораздо позже.

Когда я был еще студентом, но уже работал в музее, т. е., очевидно, в 1927–м или 1928 году, издательство АХР (а у него было свое издательство) решило издавать репродукции классических картин, в том числе и западных, и студентам, будущим искусствоведам, заказало по дешевке тексты для сопроводительных листов. Я помню, что Наташа писала такое сопроводительное объяснение к «Эсфири» Рембрандта; я — к каким-то французам. Именно в связи с этим мне пришлось поехать в издательство АХР и разговаривать с его директором Щекотовым, который потом был долгое время директором Третьяковки. Это был довольно бесталанный деятель, но много писавший об искусстве. Издательство АХР помещалось там, где потом полвека находилось издательство «Искусство», на Цветном бульваре, в самом дальнем конце глубокого двора[13].

Мы стояли со Щекотовым у окна и разговаривали, глядя на этот самый двор. В дальнем его конце виднелась подворотня, выходящая на Цветной бульвар. И вдруг, пока мы стояли у окошка, во двор въехала роскошная открытая машина, по тем временам самая шикарная и дорогая, какие только были, и из нее вылез господин в шубе (так как это была глубокая осень), такой, какие носили тогда старые актеры Малого театра — с мехом не только на воротнике, но и вдоль всего края шубы до самого низа, в меховой котиковой шапке, с большой толстой тростью с набалдашником, с двойным подбородком, с щеками, как у бульдога, спускающимися вниз к плечам и с необычайно важным видом. Я удивленно спросил: «Кто это такой?» «А вы не знаете? — удивился Щекотов. — Это же Модоров, председатель художественного фонда». Я знал, что Модоров — ахровский живописец, довольно второсортный даже по отношению к ним, писавший в основном слюнявые пейзажи.

Видимо, деятельность его в художественном фонде кончилась не слишком весело, потому что, как написал его позднейший

биограф уже в послевоенные времена, когда Модоров стал членом — корреспондентом Академии художеств и директором Суриковского института, — так вот, в книге о нем было сказано, что в конце 20–х годов Модоров поехал изучать быт народов Севера и два года занимался этим изучением. Сильно подозреваю, что интерес к северным народностям вдруг возник не по его личному желанию. Это вполне подходило к его облику. Таким он был и потом в роли директора института, и тут мне уже пришлось познакомиться с ним весьма близко.

Модоров был директором Художественного института имени Сурикова в пору моего студенчества. Абсолютно некультурный, очень грубый, он в основном занимался тем, что вытравлял из института «дух» его прежнего директора Сергея Герасимова, выгнанного в 1948 году, в эпоху борьбы с «формализмом» и «импрессионизмом». Отцу, читавшему историю западного искусства, приходилось чуть ли не тайком демонстрировать нам на лекциях работы Эдуарда Мане, Дега, Ренуара… Об «изучении народов Севера» нам сообщалось при всяком удобном случае. А ребята из Иванова, откуда Модоров был родом, рассказывали, что Модоровы были известными «мироедами», державшими в полной от себя зависимости палехских иконописцев, бессовестно наживались на их искусстве. В 1918 году модоровская контора со всеми кабальными записями очень кстати сгорела, причем Модоров кричал: «Держите меня, а то я брошусь в огонь!» «Из огня» Модоров вышел как феникс — крестьянином — бедняком пролетарского происхождения.

Родимов, это был дядя с какой-то более горизонтально, чем вертикально расположенной физиономией, с кудрявыми волосами, завивающимися вокруг головы во все стороны, с сонными глазками и с всегда красным носом. Я его ни разу не встречал в трезвом виде. Специализировался Родимов на русских пейзажах с церквями в позднепередвижническом стиле, но слава его удержалась в истории вовсе не благодаря его живописи.

Он был главным посетителем одной, весьма замухрышной забегаловки на Верхней Масловке, которая ютилась в деревянной хибаре. В ней на прилавке для вида лежали засохшие бутерброды с уже свернувшимся в трубочку застарелым сыром, а потолок был украшен длинными клейкими лентами, на которых жужжали приклеившиеся к ним мухи. Хозяйка заведения, некая благодетельная тетя Мотя, давала художникам в долг водку, и поэтому забегаловка пользовалась необычайной популярностью на Верхней Масловке среди живших там многочисленных художников. И так как Родимов был одним из главных посетителей этого места (настолько, что однажды сделал там

свою «выставку» — развесил по стенам свои пейзажики), то эта забегаловка получила название «Родимовки» и прославилась под этим именем уже навечно. Когда ее некоторое время тому назад вздумали снести, то был «плач» по всей Масловке и даже были ходатайства, чтобы ее сохранить как исторический памятник. Это не помогло, и «Родимовку» снесли. Но с Родимова достаточно и такой славы. «Родимовка» его пережила.

Еще одно воспоминание: я работала в литографской мастерской, располагавшейся на Верхней Масловке как раз напротив «Родимовки». Однажды дверь мастерской распахнулась, и на порог повалился ничком, заливаясь горючими слезами, в дребезину пьяный художник с рыданиями: «Родимовку закрыли!»

Самой, пожалуй, омерзительной фигурой, какую я встречал в этом круге, был Василий Яковлев. Я даже не знаю, все ли время он входил в АХР, — он организовывал какой-то свой особый союз, еще более мракобесный, чем АХР[14]. Я-то с ним познакомился в музее, где он был главным реставратором. Это был упитанный дядя боксерского типа, чрезвычайно наглой внешности с усиками на манер Дугласа Фербенкса, пользовавшийся необыкновенным успехом у дам соответствующего сорта. И как живописец и как реставратор он являл собой предел цинизма, какой только возможен в человеческом характере. Как живописец, он приобрел себе известность в двадцатые годы большой картиной «Красные командиры» — групповым портретом, где он в натуральную величину изобразил в стоячем и сидячем виде пятерых этих самых командиров. Но он не постеснялся двух из этих командиров, толстых, низеньких, пожилых, сидевших у стола, написать с одного и того же натурщика без малейших отступлений, только с двух боков. А три остальных сонных дяди, некрасивые, с постными физиономиями, стоящие за столом позади, были написаны с его приятеля художника Шухмина, тоже с абсолютной точностью, все трое. Потому-то он не упомянул в названии никаких имен. Это были просто «Красные командиры». Тогдашняя невзыскательная критика этого не заметила. Но это была все-таки хоть и циничная, но сравнительно безобидная вещь. Другое дело были его картины, писавшиеся им для собственного удовольствия. В начале тридцатых годов, где-то в 1931–м или 1932 году, не позже, он устроил в музее свою выставку наверху, в том зале, где теперь импрессионисты, а тогда размещались греческие слепки. Слепки были вытащены, а по стенам развешаны его картины. Еще до открытия Яковлев привез на выставку Максима Горького, но, тем не менее, открыть ее не разрешили. Это была сплошная порнография самого гнусного вида. Как заметила моя жена совершенно точно, даже его

натюрморты выглядели порнографией. Центральное же место занимала гигантских размеров картина, изображавшая пьяную оргию с толстыми голыми дамами, даже не рубенсовского, а йордановского вида, и с совершенно пьяными мужчинами. Он изобразил там среди других опять- таки совершенно осовевшего Шухмина и себя на первом плане с вытаращенными глазами, так как не нашел ничего лучше, как представить себя во время рвоты.

Ничего более гнусного я не видел. Живопись походила на крашеную жесть, была доведена до абсолютного физиологического натурализма и совершенной законченности. Дальше уж заканчивать было действительно некуда. Тогдашнее начальство, в общем даже благоволившее к такого типа живописи, все-таки эту выставку открывать не позволило.

Как реставратор Яковлев вел себя нисколько не лучше. Я уже упоминал о том, как он написал заново рембрандтовского «Христа», от которого осталась хорошо если одна десятая доля. Раз он написал на большом, очень облезлом голландском натюрморте, большущего сома, приписал от себя, никакого сома там не было. Этот натюрморт отдали куда-то в провинцию. Он сам хвастался, что во многих европейских музеях висят голландские картины его изготовления. Он нисколько не стеснялся этого. Он был таким ловким техником благодаря своей реставраторской специальности, что вполне мог подделывать какие угодно картины второсортных голландцев. Для своих реставрационных работ он требовал очищенный спирт, и Полонский с великим трудом добывал его. Полонскому Яковлев был настолько противен, что он не хотел с ним разговаривать и всегда, к моему великому неудовольствию, посылал меня объясняться с этим человеком. Я ничего не мог поделать — по моему тогдашнему чину ученого секретаря я не мог отказываться. Но когда выяснилось, что этот самый высоко очищенный спирт употребляется для оргий (вроде той, что он изобразил на своей картине), ночью с соответствующими дамами, тогда Полонский предложил Яковлеву из музея удалиться, что ему и пришлось сделать. Его преемником стал Павел Дмитриевич Корин.

Детиздат

Последние годы в ГМИИ. Выставка художественной Иллюстрации 1936 года. Уход на работу в Детиздат. Чуковский, Андроников, Маршак

Но вернусь к выставке 1932 года. Через некоторое время мне пришлось поехать в Ленинград за всей графикой юбилейной выставки, а затем устраивать отдельную выставку русской графики за 15 лет в Белом зале и колоннаде Музея изобразительных искусств в Москве: наученные горьким ленинградским опытом, художники — графики получили у Наркома А. С. Бубнова согласие на устройство самостоятельной и очень обширной графической выставки, которая и открылась осенью 1933 года. К Бубнову ходила делегация, включавшая и Фаворского, и Гончарова, и меня. Главою жюри стал Фаворский, главой экспозиционной комиссии — А. М.Эфрос, а мне пришлось быть ответственным секретарем Выставочного комитета, жюри и экспозиционной комиссии сразу — работы досталось не меньше, чем в Ленинграде. Но для советской графики московская выставка 1933 года стала еще более важным и этапным событием, чем ленинградская. Для моей личной биографии — тоже.

Очень тяжелый труд по устройству выставки 1933 года оценен не был — во второй половине этого 1933 года началась официальная партийно — правительственная кампания борьбы с «формализмом» в искусстве и первые громы и молнии этой дурацкой кампании обрушились на большую графическую выставку 1933 года. Я был абсолютно не согласен с этой кампанией, как и большинство художников- графиков, и очень оскорблен несправедливыми нападками на прекрасную выставку.

Советская графика продолжала развиваться широко и плодотворно, невзирая на нападки, так как в ней не было никакого «формализма», усмотренного недоброжелателями в выставке 1933 года, и мне хотелось защитить ее и доказать ее высокое художественное совершенство и ее важную роль в развитии настоящей, не показной русской художественной культуры. Особенно ярко и сильно расцвет советской графики тридцатых годов выразился в книжной иллюстрации — можно сказать, что никогда в истории русской книжной графики не было такого изобилия прекрасных работ очень сильных художников, как в первой половине тридцатых годов двадцатого века.

Посоветовавшись с Марией Зосимовной и получив

благословение Виктора Никитича Лазарева, я начал собирать выставку книжной иллюстрации за пять лет. Это вызвало большое оживление среди художников, а также издательств, печатавших художественную литературу с иллюстрациями. Мы отбирали вещи для выставки вдвоем с Марией Зосимовной, без всякого специально собранного жюри; нам очень помогали художники — Сергей Васильевич Герасимов и Михаил Семенович Родионов. Когда выставка была готова, Комитет по делам искусств поспешно пристроился к этой выставке в качестве ее организатора, хотя ни малейшего, даже микроскопического, участия в ее устройстве не принимал. В напечатанном каталоге торжественно названы и «председатель оргкомитета выставки» (Я. Д.Янсон), и его заместитель (А. И.Замошкин), и пышное «жюри» на двадцать персон, но это была чистейшая показуха, так как перечисленное «жюри» ни разу не собиралось. Ничего не делали и «председатель оргкомитета», которого я даже своими глазами не видел, и его «заместитель». Слава Богу, хоть назвали меня (в качестве ответственного секретаря оргкомитета и жюри) и Марию Зосимовну Холодовскую. Вся деятельность тогдашнего Комитета по делам искусств во главе с председателем Керженцевым была такой же фиктивной и только мешала всем родам искусства нашей страны.

Выставка разместилась в Белом зале музея и в колоннадах по сторонам парадной лестницы. Я предложил развесить работы не по художникам, а по писателям, и это сразу раскрыло огромную культурную ценность работы художников.

В середине 1936 года я пришел в качестве художественного редактора в Издательство детской литературы и проработал в нем до 6 июля 1941 года — до моего ухода в Ополчение.

Я не помню, кто пригласил меня в Издательство детской литературы. Стал ли я там известен своими лекциями по мировой истории искусств или своими статьями об искусстве, или этому приглашению способствовала выставка советской книжной иллюстрации, устроенная мною в музее в этом самом 1936 году, — не знаю. Но я глубоко благодарен тому, кто меня пригласил, потому что пять лет, проведенных в издательстве, стали одним из самых увлекательных и очень важных для меня периодов моей жизни. Кроме сложной и интересной работы, эти годы именно через Издательство детской литературы дали мне очень близкую и сердечную дружбу с тремя замечательными людьми — Самуилом Яковлевичем Маршаком, Генрихом Леопольдовичем Эйхлером и Ираклием Луарсабовичем Андрониковым.

Издательство детской литературы незадолго до 1936 года

выделилось из Госиздата, стало самостоятельным и было перепоручено ЦК комсомола, получив сокращенное наименование «Детиздат ЦК ВЛКСМ». Оно делилось на три раздела: литературой для детей старшего возраста ведал Эйхлер, литературой для младшего школьного возраста — Константин Федотович Пискунов, дошкольной литературой сначала Е. Оболенская (не помню ее имени и отчества), в конце 1937–го ее сменила Белахова, а с 1940 года дошкольной редакцией стала заведовать Эсфирь Михайловна Эмден, потом проработавшая в Детиздате больше двадцати лет. В дошкольной редакции редактором работала Лидия Феликсовна Кон, у Эйхлера редактором классической литературы был Кирилл Андреев. Всей художественной редакцией ведал Виктор Васильевич Пахомов. Техническим редактором почти всех делавшихся мною дошкольных книг была Зина Тышкевич. Со всеми этими людьми (кроме Белаховой) у меня были самые прекрасные отношения.

Мне были поручены два самых интересных, как я думаю, раздела работы — дошкольная книга и классическая литература для старшего возраста.

Чуть ли не в самые первые дни моего пребывания в Детиздате я познакомился с Самуилом Яковлевичем Маршаком, который только что переселился в Москву из Ленинграда. И первой книгой, которую я должен был снабдить иллюстрациями, была книжка Маршака — сделанный им перевод стихотворения Льва Квитко «Письмо Ворошилову». Я посоветовался и с Маршаком, и с Квитко и заказал иллюстрации Михаилу Семеновичу Родионову, тонкому и изящному лирику, художнику с отменным вкусом и мастерством. Эта книжка оказалась подлинной революцией в московской дошкольной книге, притом революцией двойной. Она означала вторжение в дошкольную книгу реальной современной жизни, а появление в качестве иллюстратора Родионова, художника глубоко реалистического и высоко профессионального, было небывалой новостью, менявшей весь облик дошкольной книги. В Ленинграде уже в двадцатые годы была создана замечательная школа иллюстрирования дошкольной книги, возглавляемая Владимиром Васильевичем Лебедевым — Конашевич, Лапшин, Пахомов, Чарушин, Курдов, Юрий Васнецов, а положил начало этому расцвету иллюстрации в дошкольной книге прекрасный художник Юрий Анненков. В Москве долгое время положение было совсем иное и весьма малоприглядное: дошкольную книгу иллюстрировали исключительно мнимые специалисты — какие-то еще сытинские старики, рисовавшие умильных девочек с бантиками, кошечек с бантиками, овечек с бантиками и целая толпа мультипликаторов,

очень плохо подражавших Уолту Диснею. Я безжалостно прогнал всю эту публику, невзирая на неудовольствие некоторых редакторов и даже комсомольского начальства в лице секретаря ЦК ВЛКСМ Файнберга, выразившего мне свое недоумение. Но я твердо решил держаться принятого мною курса, нашедшего полную поддержку и Маршака, и Пахомова, и Эйхлера, и других разумных людей.

Тот же Родионов выполнил иллюстрации и к другой книжке Квитко — «Когда я вырасту», переведенной Михаилом Светловым. Там шла речь на аналогичную тему, что и в «Письме Ворошилову», — о мечте мальчика стать военным — кавалеристом. Родионов очень любил рисовать лошадей, и эта книжка предоставила ему полное раздолье в изображении чудесных породистых лошадей, бегущих или спокойно стоящих. Книжка вышла очень красивая, а стихи Михаил Светлов перевел с особенной нежностью. Я рад, что имел возможность познакомиться с этим прекрасным поэтом и очень тяжело больным и грустным человеком. Несмотря на свое тяжелое физическое состояние, он старался шутить — раз он мне рассказал, как у него зазвонил телефон и незнакомый взволнованный голос спросил: «Это родильный дом?» — а он ответил: «Нет, это старое еврейское кладбище».

В обеих своих книжках Квитко с глубоким уважением обращается к советским военачальникам — Ворошилову и Буденному (Родионов очень хорошо их нарисовал). Не мог Квитко предвидеть уготованную ему в послевоенные годы трагическую судьбу, которую он разделил с Михоэлсом, Зускиным, Перецем Маркишем и другими. Не мог он знать, что Ворошилов и Буденный не заслуживают ни малейшего уважения и что они вовсе не военачальники, как показали первые недели Великой Отечественной войны. Вся тогдашняя интеллигенция была еще в полной власти фантастических иллюзий.

Реальная современная жизнь входила в дошкольную книгу почему-то прежде всего через военную тематику. Вряд ли это было придумано самим Детиздатом, скорее всего в неких высших педагогических сферах решили воспитывать воинственный героический дух с младенческого возраста или решили, что военная романтика будет доступнее и притягательнее для малых ребят, во всяком случае для мальчишек. Но дошкольные книги на военные темы появлялись неоднократно как нечто естественное. «Рассчитавшись» с пехотой и кавалерией, Оболенская вспомнила о моряках и попросила меня найти художника, который мог бы сделать книгу о нашем военно — морском флоте. Я сразу нашел самого подходящего и отличного художника — Георгия Нисского

— и заказал ему такую работу. Нисский сделал серию очень хороших маленьких картин маслом (горизонтального формата). На этот раз иллюстрации опередили текст, и нужно было его сделать. Оболенская заказала написать стихи к картинам Нисского Сергею Михалкову, только что появившемуся на небосклоне поэзии для детей. Он написал стихи, принес и отдал Оболенской. Я стал свидетелем его ранних, не слишком удачных опытов в сочинении стихов для дошкольников. Оболенская читала с очень недовольным видом и сказала лишь одно слово: «Не годится!» Михалков сел за стол, склонил голову на бок, высунул язык, как первоклассник, и стал трудиться над своими стихами, не могу сказать, чтобы уж очень долгое время. Кончив, он отдал снова стихи Оболенской, сказав заикаясь «во — от, я написал». Но она вновь повторила свое жестокое определение «Не годится!», и Михалков покорно сел править свои несчастные произведения. Дальше он перешел на младший школьный возраст, и мне больше не пришлось иметь с ним дело, но книжка Нисского, невзирая ни на какие стихотворные сопровождения, получилась красивой и впечатляющей.

По существу опять о войне шла речь и в лучшей дошкольной книге Родионова — «Я с тобой» Агнии Львовны Барто о гражданской войне в Испании. Особенно хорошо получилась обложка с изображением героини этих стихов — нежной девочки с маленьким братом на руках. Все свои книги Родионов выполнил в технике литографии.

Однажды в конце 1937 года Оболенская не пришла на работу и больше никогда в Детиздате не появилась. Я не знал ее судьбу, но боюсь, что она вместе со своим мужем, старым большевиком Ольминским, попала в волну репрессий, с особенной силой разлившихся в 1937 году. Не один я ничего не знал о судьбе Оболенской — никто в Детиздате этого не знал, а руководство издательства просто боялось узнать, чтобы не быть заподозренным в сочувствии и согласии с исчезнувшим сотрудником. В те страшные годы это было очень частым, просто обычным рядовым явлением — не пришел человек на работу и исчез бесследно неведомо куда. Ушла почему-то из дошкольной редакции и Лидия Феликсовна Кон — может быть, из-за отца. Но о ней я знаю, по крайней мере, что она осталась цела и невредима — в ряде книг, вышедших в издательстве детской литературы (Детгизе) после войны, я встречал ее в качестве редактора.

Оболенскую сменила малокультурная, очень самоуверенная и высшей степени «ортодоксальная» молодая дама, по имени Белахова, по внешности — в духе самых банальных кустодиевских «красавиц». Иметь с ней дело мне было неприятно, хотя в конце

концов она ничем мне не мешала. Она подхватила идею вводить в дошкольную книгу реальную современную жизнь, но обращалась не к профессиональным писателям, а к «бывалым людям» — Папанину, летчикам Байдукову и Мазуруку. Байдуков по ее заказу написал книгу «Через полюс в Америку» — он был членом экипажа этого знаменитого перелета Чкалова. Я заказал иллюстрации к книге Александру Александровичу Дейнеке — одному из самых больших и замечательных советских художников. Дейнека сделал большую серию красивых и смело обобщенных иллюстраций, стиль которых хорошо отвечал величию и смелости чкаловского подвига. У Дейнеки не удалась только последняя, заключительная иллюстрация — возвращение в Москву: у него никак не получалось достаточного сходства в лицах трех летчиков (он вообще не занимался портретной живописью). Пришлось попросить художника Дехтерева врисовать в акварель Дейнеки эти три лица, но сразу видно, что здесь прошлась чужая рука.

Книжка получилась выразительная и завлекательная (хотя отпечатана была плохо), она имела успех, так что Детиздат переиздал ее на разных языках народов Советской страны: у меня сохранился экземпляр этой книги на якутском языке.

Дейнека сделал иллюстрации и к аналогичной книге летчика Мазурука «Наша авиация», вышедшая в свет уже в 1940 году (кажется, это была последняя книга, редактировавшаяся Белаховой). Но эта серия иллюстраций Дейнеки получилась неровной по качеству, рядом с очень хорошими иллюстрациями некоторые вышли грубыми и невыразительными.

Белахова, к сожалению, придала этой серии книг на темы современной жизни опасный и неприятный крен: она вздумала ввести в дошкольную книгу откровенный культ Сталина. Тот же Байдуков по ее заказу написал книжку о своих встречах со Сталиным, где этот последний был подан в самом благолепном и абсолютно мирном, уютнодомашнем виде. Я не сомневаюсь в искренности Байдукова, но появление подобных книг, картин, фильмов в то время, когда толпы обывателей под окнами Дома Союзов вопили хором «Смерть врагам народа», было для Сталина и его ближайшего окружения крайне необходимым камуфляжем. «Мудрый вождь» отстранялся от чудовищных репрессий, делался вид, что он ни при чем, что это делается не им, а какой-то таинственной зловредной силой, и до поры до времени удавалось убедить народ и даже интеллигенцию, что неведение Сталина — сущая правда.

Я не мог предложить иллюстрировать такую книгу ни одному художнику моего круга и пригласил глубоко мне чуждого

Дехтерева, который не возражал поучаствовать в этом дошкольном культе личности.

Дехтерев сделал корректные и простые иллюстрации, без всякой «показухи», а на обложку выполнил совсем неплохой портрет Сталина в рост на прогулке в саду. Мне стыдно, что эта книжка подписана мною в качестве художественного редактора. В работу Дехтерева я не вмешивался, но устраивать в 1938 году какую-то демонстрацию несогласия с этой книгой было весьма опасно. Я, как и вся тогдашняя интеллигенция, совершенно не подозревал о действительных грандиозных масштабах сталинских преступлений, но все-таки знал от отца о реальной ситуации в стране немного больше других. В частности, я знал твердо, что все процессы, организованные Вышинским, сплошная ложь. Но приходилось держать это про себя.

Второй книгой, близкой к культу личности, явилась книга Папанина о его романтической эпопее на льдине с тремя товарищами. Я познакомился с Папаниным — он был очень далек от всякого литературного творчества. Вероятно, книгу по его рассказам написал за него какой-то бойкий журналист. Кульминацией этого повествования было не опасное сидение на дрейфующей льдине, а прием вернувшейся в Москву четверки Сталиным. Тогда ведь было в моде говорить: наши пианисты прекрасно играют — «спасибо товарищу Сталину», такой-то завод хорошо работает — «спасибо товарищу Сталину», папанинцы сидят на льдине — «спасибо товарищу Сталину». На этот раз я откровенно пригласил делать иллюстрации совершенно безликого «делового» художника Щеглова, готового иллюстрировать что попало. Он и сделал все «как надо» — книга получилась эффектная, а уж последняя сцена особенно: Сталин принимает папанинцев в роскошном кремлевском зале. Из «моих» книг, сделанных в Детиздате, две последние резко выпадают по характеру, стилю и качеству.

Неудачи у меня бывали и по другим причинам, не идеологическим. Так, уже в первый год работы в Детиздате я потратил очень много труда на большой толстый альманах, названный «Детям» и составленный из весьма разнородных и несоизмеримых по своему литературному качеству стихов и рассказов многочисленных современных авторов. Я вздумал пригласить для иллюстрирования этого альманаха очень обильных в то время учеников Фаворского и Бруни — и промахнулся. Над иллюстрациями к альманаху работало чуть ли не двадцать художников, но среди них оказалось порядочное количество людей, которым детская психология была чужда и которые вообще не годились для работы в детской книге. Лучшие

и настоящие ученики Фаворского — Гончаров, Ечеистов, Пиков — в этой работе не участвовали, а некоторые художники, называвшие себя учениками Фаворского, усвоили не глубины Фаворского, а выхваченные из контекста и потому ставшие пустыми и чисто внешними формальные приемы. Например, один из самых фанатичных (и, как оказалось, самых тупых) псевдоучеников Фаворского, Гершон Кравцов, сделал рисунки к стихотворению Барто об игрушечном деревянном бычке. Глядя на то, что у него получилось, я спросил: «О чем вы думали, когда делали эти рисунки?» Кравцов гордо ответил: «Я думал о том, как предмет граничит с пространством». Я возразил: «И нарисовали такое страшилище, что дети могут только испугаться, на него глядючи». Кравцов обиделся. Смысл, назначение и качество рисунков в его мыслях отсутствовали. Ученики Бруни — Эльконин, Павловский, Эдельштейн — оказались иными, просто хорошими художниками, понимающими специфические особенности книги, предназначенной для детей. В общем, получился разношерстный и разнокалиберный набор иллюстраций, такой же, как литературный текст. Вышел не оркестр, как было задумано, а какофония. Этот альманах доставил мне большое огорчение. И все же при всем своем несовершенстве он резко отличался от набившего оскомину мультипликационного схематизма и сладкой сентиментальности сытинских старичков и получил хоть сдержанные, но похвалы.

В 1938 году я редактировал действительно великолепную книгу, с большой силой противостоявшую белаховским попыткам внедрить культ личности в дошкольную книгу, а также и стремлениям думать только о том, как «предмет граничит с пространством». Это была антифашистская сатира Маршака «Акула, гиена и волк. Сказка для маленьких и больших». Эта книга делалась вне дошкольной редакции — ее литературным редактором был Эйхлер. Я заказал иллюстрации Кукрыниксам, и они постарались — сделали лучшую из своих серий сатирических книжных иллюстраций. Маршак написал очень злую и в то же время насмешливую и веселую сатиру на Гитлера, Муссолини и их японских единомышленников. Маршак сам решил или ему кто- то посоветовал не обнажать слишком откровенно и без того совершенно ясный и прозрачный смысл сказки. А первоначально он был выражен просто словесно:

Акула жила в океане,
Гиена у моря в песке,
А волк по дорогам Германии
Бродил, завывая в тоске.

Маршак изменил строчку «А волк по дорогам Германии» на нейтральную «А волк по дорогам в тумане».

В его сказке было очень много остроумного. Например, акула говорит:

Сожру половину кита я
И буду наверно сыта я
Денек или два, а затем
И все остальное доем.

Япония была в то время настроена очень воинственно и агрессивно, стремилась подчинить себе Китай. «Половину кита я» даже нельзя произнести так, чтобы не получилось «половину Китая». Книжка получилась очень яркой. К сожалению, на следующий 1939 год неожиданно появился пакт Риббентропа — Молотова, и мою книжку стали изымать из школ и библиотек и уничтожать. Не знаю, видел ли эту книжку Сталин, или его «оберегали» от неприятного впечатления, а может быть, и от некоторого стыда.

Последние годы перед войной мне пришлось редактировать и другие книги Маршака — «Мы военные», «Хороший день», «Вот какой рассеянный». Не помню точно, в каком году Маршак дал мне рукопись своей не слишком удачной книги «Мы военные» (опять на военную тему). Это была, так сказать, презентация читателям и зрителям вереницы маленьких детей, играющих во всевозможные военные профессии — артиллеристы, моряки, летчики и т. д., без всякого связывающего их действия. Маршак сам попросил заказать иллюстрации к этой книге Владимиру Васильевичу Лебедеву. Я написал Лебедеву в Ленинград, он согласился и сделал рисунки. Они оказались неожиданными для Маршака и меня и очень нас насторожили. Сделав рисунки виртуозно (иначе он и не умел), он испортил их неприятной трактовкой детских образов — они вышли слащаво кукольными, банально «салонными». Маршак и я тщетно пытались уговорить Лебедева вернуться к своей прежней свободной, причудливой, остроумной, подлинно реалистической манере его книг 1920–х и первой половины 30–х годов — книг того же Маршака, от «Цирка» до «Петрушки — иностранца». Но он уперся и решительно отказался что-либо переделывать.

С книгой «Хороший день» все получилось прекрасно. Стихи Маршака — рассказ мальчика об увлекательной прогулке по

Москве с отцом в выходной день — давали благодарный материал для художника. Им стал Юрий Иванович Пименов, чудесный живописец, влюбленный в Москву — тема книги была вполне в его духе. Он сделал книжку яркую, увлекательную, солнечную, от начала до конца, до последнего и лучшего акварельного рисунка, изображающего возвращение домой:

Мы вернулись на трамвае,
Привезли домой сирень,
Шли по лестнице хромая,
Так устали в этот день.
Я нажал звонок знакомый,
Он ответил мне, звеня,
И затих. Как тихо дома,
Если дома нет меня!

Это одна из лучших, самых удачных и самых любимых мною дошкольных книжек, сделанных мною в Детиздате.

Книжку «Вот какой рассеянный» иллюстрировал Аминодав Моисеевич Каневский — неистощимо остроумный и изобретательный художник, всегда необычайно точно и смело развивающий образ, данный автором книги. К великому сожалению, сделанные им акварельные иллюстрации к этой книге, сделанные совсем незадолго до начала войны, пропали в типографии. Но после войны (уже без моего участия) Каневский восстановил более или менее вольно пропавшие рисунки, так что его отличная работа не исчезла бесследно. Он сделал Рассеянного не стариком, как когда-то решил Конашевич, а вполне молодым, погруженным в свои глубокомысленные размышления человеком, явно ученым. Я люблю больше всего ту иллюстрацию, где Рассеянный приехал на вокзал: он тащит на себе целую кучу разнообразных предметов — клетку с птицей, раскрывшийся чемодан, все содержимое которого высыпалось, и т. д., а толстый здоровенный носильщик очень осторожно и с явным страхом несет обеими руками крохотного щенка, почему-то тоже взятого с собой в путешествие. Вещи, взятые Рассеянным в тексте Маршака, не называются, но выдумка Каневского делает нелепость этого путешествия особенно выразительной.

Тоже к великому сожалению, пропали в типографии и иллюстрации Давида Петровича Штеренберга к книжке Алигер о разных фруктах и ягодах. Штеренберг сделал серию маленьких прелестных натюрмортов, в которых словно чувствуется не только форма и цвет, но и вкус, и запах соблазнительных творений природы. Эта потеря обидна — не так уж много детских книг

иллюстрировал такой тонкий и значительный мастер.

Мне особенно легко и приятно было работать в Детиздате в последние полтора года до войны. Дошкольной редакцией стала заведовать Эсфирь Михайловна Эмден, прекрасный высококультурный человек. Детиздат наконец получил вместо случайных малокомпетентных директоров настоящего хорошего директора в лице Дубровиной и такого же хорошего главного редактора в лице Петра Матвеевича Сысоева, до того бывшего создателем и главным редактором хорошего детского журнала «Юный художник» (для которого я писал некоторые свои статьи). Война прервала деятельность Детиздата в пору его подлинного расцвета.

Чтобы покончить со своим рассказом о работе над дошкольными книгами, я особо скажу о своих взаимоотношениях с Корнеем Ивановичем Чуковским. Эти взаимоотношения были достаточно причудливыми и сложными. Для дошкольной редакции за пять предвоенных лет он дал очень мало, будучи занят другими литературными трудами. Но почти с каждой его книгой непременно связывались какие-то странные и непредвиденные приключения.

Чуковский был благородный человек, что особенно показала впоследствии его защита Солженицына. Но характер у него был трудный и прихотливый, к которому я так и не привык. Вот, например, замысловатая история с художником Радловым, который сделал иллюстрации к одной из книг Чуковского. Я спросил Чуковского, когда получил его рукопись, не возражает ли он против приглашения Радлова? О нет, нисколько! Радлов сделал иллюстрации, и мы пошли с ним к Чуковскому. Чуковский в восхищении, просматривает рисунки, расточая Радлову самые выспренние похвалы. Радлов уходит, очень довольный, я остаюсь. «Зачем вы заказали рисунки этому Радлову? Я знаю, вы прекрасный художественный редактор, но вы могли бы сообразить, что у него ничего не получится». «Корней Иванович, ну как же я скажу ему это, когда он собственными ушами слышал ваши похвалы?» «Ну, что-нибудь надо придумать, как выйти из этого положения». Я ухожу, возвращаюсь в Детиздат, не успел войти в дверь, мне спешно говорят: «Вас зовет к себе директор». Иду, директор слушает кого-то по телефону. Он передает трубку мне и тихо говорит: «Звонит Чуковский, на вас жалуется». Беру трубку, слушаю — Чуковский скучным нудным голосом жалуется: «Он заказал неподходящему художнику, тот сделал совсем не соответствующие моему замыслу рисунки и плохие» и т. д. Когда он на секунду остановился, я говорю: «Корней Иванович, это ведь я вас слушал, Чегодаев». Слышу, как он поперхнулся и начал меня

расхваливать. Я не помню, как выпутался из создавшейся ситуации. И каждой книге Чуковского (к счастью, их у меня было немного) обязательно сопутствовала какая-нибудь нелепая история, каждый раз совсем другая, но одинаково неприятная. Зачем он так держал себя — не понимаю. Я могу многое ему простить, хотя бы за его прекрасные переводы любимого мною Уитмена, но тогда, в Детиздате, мне было с ним тяжело. Неприятно и вспоминать об этом.

В последний раз я встретился с Чуковским в 1963 году. Издательство детской литературы праздновало свое тридцатилетие, и меня по старой памяти пригласили на этот юбилей. Я пришел в театр, где должен был состояться большой концерт, меня провели в главную ложу, где почти все оказались моими добрыми знакомыми, которые приветливо меня встретили. Пришел Чуковский, поздоровался со всеми, а на меня уставился с недоумением, соображая, кто я такой. Я сказал: «Корней Иванович, вы меня не узнаете, — я профессор Чегодаев». Он молча покрутил рукой вокруг своей седой головы и указал на мою седину. Бог с ним, он сделал за свою жизнь много хорошего.

Параллельно с работой над дошкольной книгой шла моя работа для редакции старшего возраста. Классическая литература в большинстве случаев требовала лишь внешнего оформления — переплета, титульного листа, каких-нибудь орнаментальных украшений. Когда нужно было книгу иллюстрировать, я использовал широкий круг известных мне художников. Так, сборник рассказов Коцюбинского мне иллюстрировал прекрасный украинский художник Гавриил Пустовийт, с которым я подружился. Но каких-либо капитальных серий новых иллюстраций большого мастера я не помню. Эйхлер давал мне иногда книги современных советских писателей, предназначенные для детей старшего возраста. Так, в 1938 году он дал мне две небольшие книжки Паустовского — о Кипренском и Левитане. Я с большим удовольствием сделал эти книги, сам подобрал произведения художников (особенно любимого мною Кипренского), и эти книги вышли нарядными и привлекательными. Я познакомился с Паустовским и отнесся к нему с большим уважением. Но должен, к сожалению, прибавить, что в нем ошибся. Я тогда не знал, что в 1937 году он написал две возмутительные, позорные статьи о двух прекрасных писателях — Киплинге и Оскаре Уайльде, аккуратно повторив вздорную и грязную клевету, которую нагородили вокруг этих справедливо прославленных имен наши вульгарные социологи, защищавшие твердыни социалистического реализма. Не понимаю, как Паустовский позволил себе так опуститься. Он, видимо, до конца

своих дней не понял своей грубой ошибки, так как дважды напечатал эти статьи в двух собраниях своих сочинений, разделенных порядочным промежутком времени. Когда в восьмидеся тые годы я обнаружил и прочел эти две дурные статьи, я выбросил оба собрания сочинений Паустовского из своей библиотеки.

Из книг, сделанных мною для редакции старшего возраста, я особенно люблю два толстых тома небольшого формата — первый и второй тома антологии русской поэзии (уже приготовленные третий и четвертый тома не вышли из-за войны). Полное название этой замечательной книги — «Русские поэты XVIII–XIX вв. Антология». Редакция текста, статьи и примечания — Цезаря Вольпе, Г. Гуковского, Вл. Орлова и И. Ямпольского. Ответственные редакторы — Г. Эйхлер и К. Андреев. Художественный редактор — А. Чегодаев. Переплет — М. Ильина. Технический редактор — З. Тышкевич. Подбор иллюстраций — И. Андроникова (во втором томе подбор иллюстраций — И. Андроникова и А. Чегодаева). Когда Андроников и я стали совсем старые, он глубоко тронул меня, сказав, как он бережет эти томики, где наши имена стоят рядом.

Ираклий Андроников тогда еще не выступал со своими «устными рассказами» — в Детиздате он играл скромную роль подборщика иллюстраций — в данном случае, портретов писателей, их родных и друзей, персонажей, к кому обращены стихи, рисунков некоторых поэтов, особенно Пушкина, видов мест, о которых идет речь в стихах, и пр., — что требует превосходного знания истории литературы, да и общей истории. Во втором томе я добавил от себя работы западных художников — Дюрера, Делакруа, Констебля и других. Делали макет этих двух томов вместе с Цезарем Вольпе, с которым, как и с Андрониковым, я очень подружился. Я неплохо знал русских поэтов, но не всех — еще раньше Эйхлер обратил мое внимание на поразительной силы песни Сумарокова —

Тщетно я скрываю сердца скорби люты…

а работая над этими томами, узнал этого замечательного поэта как следует. Для второго тома Цезарь Вольпе написал превосходную статью о Пушкине. Хоть и неоконченная из-за начавшейся войны (первый том вышел в 1940–м, второй в 1941 году), это прекрасная книга не только для детей старшего возраста. Моя работа над ней — одно из самых дорогих моих воспоминаний о времени, связанном с Детиздатом.

М. Ильин, сделавший красивый переплет для «Русских поэтов», — это Михаил Андреевич Ильин, тогда доцент отделения

истории искусств Московского университета, для собственного удовольствия занимавшийся книжным оформлением. К его услугам я прибегал не раз.

Мне выпала честь готовить к изданию самую первую, еще очень маленькую книгу о Лермонтове Ираклия Андроникова. В тогдашнем моем общении с ним было очень много веселого. Он приходил в Детиздат, затаскивал меня и Эйхлера в отдаленный кабинет Кирилла Андреева и предлагал нам, скажем: «Хотите послушать, как Георг Себастьян дирижирует Героической симфонией Бетховена?» Мы отвечали: «Хотим», — и он начинал. Он пел наизусть всю Героическую симфонию, попутно изображая все инструменты, включая ударные. При этом он полностью превращался в Георга Себастьяна. А тот, когда дирижировал, весь извивался, вертелся, приседал (я был на его концерте), у него падали на глаза волосы, а когда он их смахивал, с его лба летели очень крупные капли пота. Как это ухитрялся в точности воспроизвести Андроников — уму непостижимо, но и у него волосы падали на глаза, а когда он их смахивал, у него со лба летели огромные капли пота!

В другой раз он, скажем, предлагал: «Хотите послушать, как Алексей Толстой, пьяный, приезжает в Дом писателей, является на заседание, которое ведет Маршак, и уговаривает его бросить заниматься глупостями и ехать с ним веселиться?» Мы, конечно, отвечали: «Хотим!» — и Андроников садился на диван, закрывал лицо рукой и потом медленно опускал руку. И на диване сидел Алексей Толстой! Андроников точно повторял все его интонации, все ужимки, выражения лица, жесты рук — я бывал у Алексея Толстого дома и был совершенно потрясен силой андрониковского перевоплощения. И другие его представления были не хуже. После войны я встречался с ним постоянно, ездил к нему с женой и дочерью в Переделкино, помогал его дочери Манане, так трагически кончившей свою жизнь, когда ее затравили недруги.

Самой интересной и самой важной работой для редакции старшего возраста было мое участие в большой коллективной работе для редакции старшего возраста, в которой я выступал в качестве не художественного редактора, а редактора литературного. Мне эту работу предложил Самуил Яковлевич Маршак еще в первый год моего пребывания в Детиздате. Во время наших постоянных встреч он расспросил меня о всей моей жизни, о моих родных, о научной работе. Узнав, что я особенно усердно и пристально занимаюсь историей французского и английского искусства последних трех веков, он сказал мне, что намерен создать для ребят старшего возраста обширную (не в

одном томе) антологию английской поэзии в лучших русских переводах, что он уже создал редколлегию этой антологии из себя самого, Генриха Эйхлера и Кирилла Андреева, а в качестве секретаря пригласил сотрудницу Детиздата Живову, что эта редколлегия в ближайшее время приступит к своей большой работе, и предложил мне для этой будущей антологии подобрать параллельный ряд произведений английского искусства. Я, конечно, с радостью согласился и стал ездить на заседания редколлегии раз в неделю по пятницам к Маршаку, на Земляной Вал. Но когда Маршак убедился, что я хорошо знаю английскую литературу в подлиннике, он включил меня в литературную редколлегию этой антологии. Мы проделали огромную работу: просмотрели (вернее, прослушали) все существующие переводы английских (и американских) поэтов на русский язык и отобрали достойные почтения и уважения, затем прослушали (в чтении Маршака на чистейшем английском литературном языке) всех поэтов — от Чосера до наших дней, отобрали те стихи, которые нужно было впервые перевести на русский язык, заказали эти переводы Пастернаку, Цветаевой, Лозинскому и другим, а когда получали эти переводы, то обсуждали их и решали их судьбу. Маршак сам увлеченно работал над переводом сонетов Шекспира и лирики Роберта Бернса.

Ничего более увлекательного, чем эти заседания, нельзя было себе представить! Мы составили примерный план антологии — длинный — предлинный список. И каждое заседание начиналось одними и теми же словами Маршака: «Ну, давайте пересмотрим наш список». Этот список постепенно «материализовался», но работы все еще оставалось чрезвычайно много. Мы проработали пять лет до начала войны и так и не окончили свою работу. Она в важнейшей своей части не пропала — все новые переводы были изданы — Маршак напечатал (и не один раз) свой перевод сонетов Шекспира (в антологию предполагалось включить лишь несколько) и перевод лирики Бернса; Пастернак издал том своих переводов, были изданы и переводы Марины Цветаевой — народные песни о Робине Гуде и другие. Но за время нашей работы происходило много интересного и даже забавного. Так, например, мы прослушали (в маршаковском чтении) все самые знаменитые стихотворения Вордсворта и решили перевести три из них («К Люси», «Агасфер» и еще третье, не помню как называется), решили также заказать эти переводы Лозинскому. Приходим через неделю, Маршак встречает нас очень смущенный: «Я не удержался и сам перевел эти три стихотворения Вордсворта».

Незадолго до войны ему пришло в голову: «А почему не дать

несколько фрагментов из пьес Шекспира?» И он, наметив пять наиболее ярких фрагментов из «Гамлета», засадил меня за работу, велев взять и посмотреть эти места в четырех наиболее известных переводах и выбрать лучшие. Я прочитал эти четыре перевода: старый, середины прошлого века Кронеберга; перевод Лозинского, сделанный для изданного «Academia» в начале 30–х годов собрания сочинений Шекспира; вышедший в середине 30–х годов перевод Анны Радловой и еще не изданный перевод Пастернака. Мои суждения об этих переводах были весьма разнообразны. Перевод Кронеберга оказался очень приблизительным, но очень эффектным, словно написанным для провинциальных актеров, с пышными «выходами к рампе», со всякими отсебятинами («О женщины, ничтожество вам имя» — это Кронеберг, а не Шекспир). Перевод Лозинского оказался глубоко профессиональным и точным, но с некоторой странностью — и Гамлет, и король, и солдаты, и могильщики говорят совершенно одинаковым приподнято — торжественным языком, нивелирующим разницу между теми, кто говорит. Перевод Анны Радловой поверг меня в изумление — эта толстая, очень важная и чванная дама с черной бархаткой на шее наполнила свой перевод грубейшей извозчичьей бранью, которой у Шекспира нет! Я ведь сличал все переводы с английским оригиналом. Перевод Пастернака, который я читал по рукописи, данной великим поэтом, совершенно затмил все прочие и поразил меня своим совершенством. Разницу с лучшим из других переводов — Лозинского — можно ощутить при сравнении самых ярких фраз. Например, у Лозинского в первом акте Марцелл говорит:

Не ладно что-то в датском королевстве —

эпически спокойно, даже торжественно. А у Пастернака эти же мысли Марцелл выражает со страстью и злостью:

Какая-то в державе датской гниль.

Я все свои предпочтения отдал Пастернаку, и Маршак и другие члены редколлегии со мною согласились. Перевод Пастернака был напечатан почти накануне войны, с прекрасными гравюрами Фаворского.

Только с глубокой благодарностью я могу вспомнить о некоторых людях, связанных с Детиздатом. Особенно достоин глубочайшего уважения заведовавший всей художественной редакцией Виктор Васильевич Пахомов, сущий ангел по своему характеру, человек редкой деликатности и доброжелательности.

Я относился к нему с полной преданностью, слушался малейшего его замечания или совета. Я обязан ему тем, что чувствовал себя в Детиздате как дома и любая работа казалась легкой.

Я благодарен постоянному техническому редактору делавшихся мною книг — Зине Тышкевич, молодой милой и красивой девушке, отличному мастеру своего дела.

Я благодарен Эсфири Михайловне Эмден, прелестному, высококультурному и тонкому человеку, заведовавшей дошкольной редакцией последние полтора года перед войной.

Я с глубокой признательностью и нежностью вспоминаю своего близкого и доброго друга Генриха Эйхлера. Наряду с Виктором Васильевичем Пахомовым он в наибольшей степени содействовал тому, чтобы работать в Детиздате мне было легко, спокойно и увлекательно. Неслучайно, самые мои любимые книги из тех, что мне пришлось редактировать в Детиздате — «Акула, гиена и волк» Маршака и антология «Русские поэты», делались мною вместе с Эйхлером. Он был широко образованным человеком, и наши беседы были всегда содержательны и интересны. Он был очень добрым человеком. Я очень жалею о его печальной судьбе: он был латыш, но когда началась война, его по ошибке сочли немцем и, не пожелав слушать его доводы, что он вовсе не немец, сослали в Среднюю Азию. И там он вскоре умер, не знаю от чего, но, по всей вероятности, могу предположить, что он умер от одиночества, тоски и обиды, а может быть, и истощения. Я посвящаю его памяти этот фрагмент моих воспоминаний.

В Детиздате всегда было много народу, приходившего по своим делам или без дела. Работая в нем, я перезнакомился с большим числом писателей, детских и недетских. Среди них были очень яркие и привлекательные люди — как Аркадий Гайдар или упоминавшийся мною Михаил Светлов, были занятые собой, важные, не нисходившие до простых смертных — как Алексей Толстой, были очень неприятные — как Безыменский или, особенно, Пришвин. Познакомившись с последним, я понял, почему мой тесть Михаил Осипович Гершензон прогнал Пришвина из своего дома, когда тот в начале двадцатых годов повадился к нему ходить.

По правде сказать, Детиздат очень сильно мешал моей научной работе. За пять лет пребывания в нем я напечатал совсем мало статей и ни одной книги. Об этом очень беспокоился мой учитель и наставник Виктор Никитич Лазарев. 31 декабря 1941 года, когда мы с женой, как обычно, пришли к Лазареву встречать Новый год, пришедший туда профессор Михаил Владимирович Алпатов, с которым я тогда дружил, принес сочиненные им на

всех присутствовавших эпиграммы (я уже приводил его эпиграмму на мою жену Наташу), и на меня там была довольно злая, но, по- видимому, справедливая эпиграмма:

Пред ним перо и чистая страница,
За ним маячит шумный Детиздат.
Куда спешить? Зачем всегда стремиться,
Когда поэт сказал: «Князь, князь, назад!»

Я действительно князь, но большую часть своей долгой жизни прожил в эпоху, когда этот титул уважением не пользовался. Некоторые друзья знали об его существовании и употребляли в шутках надо мной, как в данном случае Алпатов. Я понял эту эпиграмму правильно, и когда вернулся в 1944 году из Самарканда (куда уехал после возвращения из ополчения вместе с Московским художественным институтом), то принял приглашение вернуться на работу не в Детиздат, куда меня звали, а в Музей изобразительных искусств имени А. С.Пушкина, куда меня пригласил новый директор музея Сергей Дмитриевич Меркуров. Там я вернулся к своему исконному материалу, которому были посвящены самые значительные из моих последних тридцати книг.

С Маршаком моя дружба продолжалась до конца его дней — до 1964 года. Он интересовался моей научной работой, в частности моей медленно двигавшейся большой книгой о великом английском художнике Джоне Констебле. Но эта книга вышла только в 1968 году, и я очень жалел, что не могу показать Самуилу Яковлевичу, что у меня получилось.

Война

Ополчение. Письма А.Ч. с фронта. Возвращение, путешествие в Самарканд

Я знаю ополчение не с чужих слов, а «в натуре», «изнутри», и в моем рассказе будет как в капле воды отражена вся странная и глубоко печальная история и судьба этого, безусловно, исторического явления (или события), каким ополчение было.

Великая Отечественная война, навязанная нам фашистской Германией, породила в советском народе высочайший взлет героизма и самоотверженности от рядовых солдат до высших руководителей обороной. А потом и победой — Жукова, Рокоссовского, Конева… Об этом написано великое множество поэтических и прозаических литературных произведений, создано великое множество фильмов, театральных спектаклей, музыкальных сочинений, об этом написаны бесчисленные ученые труды. Смысл и реальный облик войны в достаточно верном виде прочно вошел в сознание последующих поколений, хотя реальный смысл и реальный облик войны пытались использовать в свою пользу и в своих надобностях разные «власть предержащие» (власть преходящие): приписать победу не советскому народу и его подлинным руководителям Жукову или Рокоссовскому, а людям, на самом деле бывшим виновниками возникновения этой страшной войны — Сталину, Ворошилову или Молотову; немало было внесено «сверху» и поправок, и искажений в реально бывшую историю. Уже в ходе войны стали внушать миллионам людей, что войну надо воспринимать только под лозунгом «гром победы раздавайся, веселися, храбрый Росс!»; ко времени начала войны обитателей страны так приучили лгать, что и во время войны, и после ее окончания очень многие лгали, вероятно, искренне думая, что говорят правду. Так, когда Кармен задумал создать большой документальный фильм о войне на основе бесчисленных фотографий и кадров, снятых на разных фронтах военными корреспондентами, то оказалось, что не нашлось ни единой фотографии, ни одного кадра, где был бы убитый советский солдат, убитыми были только немцы, и Кармену пришлось отказаться от своего замысла. Когда Г. К. Жуков написал честные и правдивые воспоминания, то их разрешили напечатать, только «поправив» и «отредактировав» его чересчур правдивые сообщения, убрав все «неподходящее» к заботливо созданной о войне идиллической легенде, насильственно искажая

«опасный» для мозгов миллионов читателей замечательной книги смысл суждений великого полководца.

Все это — банальные, всем сейчас известные вещи. В годы перестройки в большой степени удалось навести порядок в представлениях о реально бывшей истории, рассеяв не один туман, разрушив не одну приятную легенду. Но меня очень волнует, что реальный смысл и облик Великой Отечественной войны все же далеко не во всем прояснены в должной степени, что еще очень многое остается забытым, несобранным, не разобранным, хотя для очень большого числа советских людей (во всяком случае, не для одного миллиона) именно это забытое и обойденное является кровью сердца, незаживающей раной.

Это касается прежде всего Народного ополчения, столь торжественно и пышно провозглашенного в последних числах июня 1941 года, а когда девять десятых (если не больше) этого ополчения, состоявшего целиком из высококвалифицированной интеллигенции и высококвалифицированных рабочих, погибли, молчаливо (вероятно, от очень большой стыдливости) позабытого. Чего же о нем вспоминать, когда оно погибло, ничего не совершив, не успев проявить ни героизма, ни самоотверженности, ни даже чувства исполненного долга!

Я что-то не замечаю за последние пять лет, чтобы газеты и журналы сколько-нибудь интересовались ополчением и его трагической судьбой. Может быть, что-то было напечатано в специальных военно — исторических журналах — не знаю, я их не видел. Я слышал, что наши военные историки все-таки установили (без особых подробностей), что ополчение фактически, одним своим присутствием на фронте, спасло Москву и всю страну. Немцам, сталкивавшимся с ополчением, даже в голову не могло прийти, что перед ними вовсе не армия, а необученная и невооруженная толпа, и они занимались усердным истреблением этой непонятной толпы, зря тратя драгоценное время в своем стремительном продвижении к Москве и Ленинграду, дав зато время Сталину понять наконец, что нужно немедленно передать Жукову единоличное командование всеми военными действиями, а Жукову — успеть подтянуть к Москве свежие сибирские части. Может быть, это и так, но не слишком ли велика цена за такой небывало оригинальный способ спасения отечества? Ворошилов бросил под фашистские пули все огромное ленинградское ополчение. Летом 1941 года немцы уничтожили к северо — западу от Москвы полмиллиона участников ополчения (не могу называть их солдатами или бойцами, или воинами — ни под одно из этих понятий они не подходят). В то же лето 1941 года, к юго — западу от Москвы, в ополченской дивизии, в

которой я был, из трех составлявших ее полков два были полностью уничтожены немцами, из трех батальонов третьего, последнего полка два были уничтожены, и вот остатки третьего, последнего батальона с великим трудом добрались до наших частей, охранявших самые ближние подступы к Москве.

Я остался жив чудом, явно по решению неведомой верховной богини Судьбы, но и по двум вполне реальным причинам: потому что я находился не к северо — западу, а к юго — западу от Москвы, где от ополчения все же кое-что осталось, и потому, что со мной были мои студенты, которые меня оберегали — и спасли. Не могу сказать, что я остался цел: в сентябре этого года начались двадцатиградусные морозы, много раз приходилось спать на снегу, и я отморозил правое бедро — прошло без году пятьдесят лет, а оно все болит.

Но расскажу все по порядку.

Накануне войны я работал в двух местах: был доцентом в Московском художественном институте, где читал (одновременно на всех четырех курсах) всеобщую историю искусств, и в то же время был художественным редактором в Издательстве детской литературы. Когда было провозглашено (явно необдуманно, с чисто показушными целями) Народное Ополчение и в него добровольно и абсолютно бескорыстно пошли ученые, писатели, художники, режиссеры, актеры, студенты, первоклассные рабочие (все — имевшие право на бронь или не подлежащие призыву по возрасту), парторг Детиздата Камир очень волновался, чтобы я непременно записался в ополчение. Я сказал ему, что буду записываться в Художественном институте, он звонил туда — проверял, записался ли я на самом деле. После войны я узнал, что в то же лето этот Камир благополучно уехал в Вятку (Киров) и пробыл там до конца войны.

В Художественном институте в самых первых числах июля состоялся многолюдный митинг, на котором не было директора института И. Э. Грабаря и ряда профессоров, успевших уехать в отпуск, а также студентов младших курсов, которых уже отправили рыть окопы к западу от Москвы. Пламенные речи, пылко и очень убедительно призывавшие записываться в ополчение, произнесли заместитель директора института профессор Горощенко, член партии профессор Покаржевский, член партии профессор Лейзеров, член партии профессор Дурыкин, парторг института. Они первые и расписались торжественно на большом листе, приготовленном для данного случая. Следом за ними расписался и второй заместитель директора Денисов, речей не говоривший, а за ними и все присутствовавшие. В их числе записался и я, ни на секунду не

задумываясь о бесспорном значении этого шага. Я немедленно отправил из Москвы жену и дочь — помог дядя жены А. Б. Гольденвейзер. Он устроил, что мою жену и мою дочь взяла с собой уезжавшая в Пензу Центральная музыкальная школа при Московской консерватории. За эту помощь ему глубокая благодарность. Но ничего хорошего из этого не вышло: тогдашняя директриса этой музыкальной школы отнеслась к моей жене и дочери как к чужим, посторонним людям, о которых она нисколько не обязана не то что заботиться, но даже помнить. И оставила их на произвол судьбы, дорого им обошедшийся.

Мой друг, ленинградский историк литературы Цезарь Вольпе, с которым я сблизился, работая в Детиздате, предложил мне, пока окончательно не выяснилось с ополчением, перебраться к нему в дом у Красных ворот, где он жил, приезжая в Москву — чтобы мне не оставаться в полном одиночестве. Я не мог тогда подумать, что этот наш разговор будет последним в жизни. После войны я узнал, что Вольпе, вернувшись в Ленинград, зимой, во время блокады города немцами, решился на безумный шаг: ушел один по льду замерзшего Ладожского озера — и исчез бесследно.

Но перебираться к Цезарю не понадобилось: чуть ли не в тот же день мне позвонил Денисов, заместитель директора Художественного института, и сказал, что завтра, в четверг 6 июля, нужно явиться к 8 утра в здание школы на Новой Башиловке, у стадиона «Динамо», и оттуда уходить на фронт. Я положил в рюкзак немного белья, бумагу и карандаш и явился в 8 часов в школу на Новой Башиловке. Там было полно народу. Очень скоро обнаружилось, что из всего профессорско — преподавательского состава Художественного института явился я один — и со мной тридцать студентов старших курсов и дипломников. Из хозяйственного персонала института явился пожилой бригадир натурщиков Мещерин. Пламенные ораторы, так пылко призывавшие записываться в ополчение и записавшиеся первыми, не явились: они каким-то удивительно ловким (и даже изящным) манером растворились в воздухе и испарились. Студенты отнеслись к этому необыкновенному «явлению природы» без всякого уважения: не стесняясь многочисленных посторонних, высказались по поводу этого громогласно и весьма неизящно. Но Горощенко, Дурыкин и прочие, хоть и оказались презренными обманщиками и трусами, вероятно, полагали, что поступают вполне честно: они ведь в своих речах вовсе не призывали ***уходить*** в ополчение, а призывали ***записываться*** в него! И записались же, все видели! А может быть, Денисов до них не дозвонился (включая себя самого)? Никакой самый злобный и изобретательный враг не мог

бы придумать такую низменную и позорную дискредитацию коммунистической партии, какую с таким необыкновенным успехом устроили почтенные партийные руководители Московского художественного института!

Позже я узнал, что партийным руководством института была спешно организована «плакатная мастерская», якобы насущно необходимая в интересах обороны, в которую все оно, руководство, и вошло, тем самым избавившись от ополчения. Позже, они первыми, бросив институт, уехали в эвакуацию, в Самарканд, о чем пойдет речь дальше.

А. Д. Чегодаев — Н. М. Чегодаевой в Пензу

12 ***июля 1941 г.***

Наташенька и Машукушка, милые, любимые, я до сих пор ничего не знаю о вас, кроме того, что было в телеграмме — что доехали благополучно. Очень хочу знать все, что вы делаете, здоровы ли, все ли у вас хорошо. Но узнать сумею еще только через несколько дней. Меня сейчас, вместе со всем московским ополчением, послали на какой-то срок обучаться, и я с 6–го числа, с утра, только один раз был дома, и письма еще не было. Сейчас я (на несколько дней) в лагере — в чудесном месте под Москвою, в лесу, около речки. Потом вернут снова в Москву. Я не один — тут вместе со мною человек 25 моих же студентов из Художественного института, так что они обо мне очень трогательно заботятся. Обо мне беспокоиться совершенно не нужно — все это имеет вполне мирный и размеренно — спокойный характер. Меня огорчает только то, что сюда нельзя писать — у леса нет адреса! Поэтому письма нужно все посылать домой, в Плотников пер., — потом прочту все сразу. Я до сегодняшнего дня не мог написать, — дальше буду писать при всякой малейшей возможности.

Когда я был в городе, 9–го числа, я в последнюю минуту только узнал пензенский адрес, но и то не знаю, верный ли. Буду надеяться, что дойдет. Мама должна была 10–го уехать вместе с Катей куда-то на Урал. Папа пока в Москве. Лазаревы на даче — где-то около Муранова. Черняки должны были 10–го уехать все в Новосибирск (Елизавета Борисовна позвонила удачно как раз в ту минуту, когда я забежал домой). Виктор Никитич 9–го явился ко мне в казарму. Он очень трогателен, также как Александр Борисович и Татьяна Борисовна[15]. Мама целует вас обеих крепко — крепко. Она очень обо всех беспокоится. Из музея все добудет Вера Николаевна и переправит тебе через А. Б. Целую вас обеих

миллион миллионов раз и очень без вас скучаю. Мне нужно только одно: чтобы вам было хорошо, Наташенька и Машенька милые. А.

13 ***июля 1941 г.***

Наташенька и Машукушка, милые, любимые. Очень без вас скучаю и беспокоюсь, как вы доехали и как живете. Я пробуду в лесном лагере еще несколько дней и не скоро еще узнаю что-нибудь про вас. У меня все в порядке — я загорел, немного похудел — что всегда для меня к лучшему, и как мне кажется, вид у меня очень хороший. Воздух тут такой, что от одного его человек должен поправиться. Кругом очень хороший народ — мои и лазаревские студенты из института, — много милых и приятных людей. Единственное, что меня огорчает, — это отсутствие писем. Если бы не это — я был бы совсем доволен такой передышкой в умственном переутомлении последнего времени — хоть физически много трудного. Насколько можно понять, пробудем тут не менее 10 дней.

Все мои дела сейчас в расстройстве: в журналах и в издательстве делать совсем нечего, в обоих вузах — каникулы, дома неуютно, пусто и уныло, мама, наверное, уже уехала. Виктор Никитич на даче, так же как Пименов и Родионов. (Т. е. так было 6–го и 9–го, да вряд ли что-нибудь изменилось с тех пор.) Так что мои теперешние дела даже кстати. Шура [наша домработница] уехала в деревню, так что уже 5–го я сидел голодный. 4–го, после возвращения с вокзала, я ночевал у Лазаревых — дома было тоскливо. 6–го и 9–го был у мамы (9–го даже два раза), 5–го, 6–го и 9–го — у Александра Борисовича, который был исключительно ласков. В. Н. был у меня 9–го в школе, где мы временно разместились. Только папу я так и не видел, но он, должно быть, из Москвы не уедет, так что буду с ним каждый день видеться. Пишу сейчас в свободную минуту — дежурю и на один час перерыв. Завтра буду писать опять. Целую и люблю вас обеих очень нежно и крепко — крепко. Без вас мне плохо. А.

Мы пробыли на Новой Башиловке два или три дня (не помню). Ко мне туда приезжал отец, взял мою «штатскую» одежду. Нас одели в военную (летнюю) форму и распределили по взводам и отделениям. Наш взвод целиком составился из людей, причастных к Художественному институту. Я вошел в первое отделение взвода. Мы выбрали командиром отделения Мещерина — из уважения к его возрасту (и к его честности). Но впоследствии, в ополчении, он куда- то от нас перешел — я не помню, чтобы он был среди нас все лето и осень. Фактическим командиром отделения стал великан Миша Володин, не слишком одаренный студент- живописец, но человек простосердечный и

добрый и с явными организаторскими способностями. Я хорошо знал своих студентов, уже не один год встречался с ними каждую неделю. Вторым (по росту) после Володина был Федя Глебов, тонкий живописец, сводный брат Сергея Михалкова. Дальше, по росту, шли живописцы Плотнов, Рубинский и Вознесенский и скульптор Загорбинин, за ним я (рост 170 сантиметров), а за мной еще два живописца — Вася Нечитайло, в послевоенные годы ставший членом — корреспондентом Академии художеств, и Костя Максимов, сыгравший очень пагубную роль в истории современного китайского искусства, так как еще в сталинские времена (и времена Мао Цзэдуна) был послан в Китай учить китайских художников «сталинскому социалистическому реализму». И выучил! Лишь долго спустя с большим трудом китайцы сумели отправить этот максимовский «социалистический реализм» к черту.

В нашем отделении мы жили очень дружно, без малейшей ссоры за все пребывание в ополчении. Но все время, конечно, были связаны и с другими отделениями нашего взвода.

Нарядившись в военную форму и распределившись по взводам, мы отправились пешком по Волоколамскому шоссе в Волоколамск к западу от Москвы, пришли туда среди дня и тут же были препровождены на большой полигон рядом с городом. Нам роздали очень хорошие и красивые винтовки и к ним три патрона, чтобы три раза выстрелить по довольно далеким мишеням. Я держал ружье впервые в жизни, но у меня был отличный глазомер (хорошо помогавший, когда мне пришлось во второй половине 20–х годов по ночам рисовать для заработка разные чертежи и диаграммы на огромных листах ватманской бумаги, и я мог «на глаз», без всяких измерений, проводить во всю длину этих листов сколько угодно параллельных линий, иногда ошибаясь максимум на миллиметр), а к тому же, учась в первой половине 20–х годов на математическом отделении физико — математического факультета в Московском университете, прекрасно знал свойства параболы и других кривых линий и имел некоторые понятия о баллистике.

Поэтому я без особых усилий из трех сделанных мною выстрелов попал в далекую мишень два раза. Ни один из моих студентов не попал в мишень ни разу.

Я был тут же объявлен великим снайпером, но этот неожиданно обнаружившийся мой талант оказался ни к чему — мне не пришлось воспользоваться им в течение всего пребывания в ополчении. На этом наше военное обучение окончилось и больше не возобновлялось.

А. Д. Чегодаев — Н. М. Чегодаевой в Пензу

23 ***июля 1941 г.***

Наташенька милая, любимая, посылаю открытку дорогой — из Волоколамска. Веду самую походную жизнь — ночуем в лесу под елками, тащим массу всякого добра на спине. Но я здоров и не жалею, что не сижу в Москве — только очень скучаю и тоскую без писем. Как только где- нибудь задержимся подольше — напишу адрес. Целую тебя и Машеньку миллион раз, крепко — крепко. А.

С полигона мы ушли куда-то в направлении к Брянску, и все лето и осень прошли у нас в бесконечном и однообразном рытье окопов и траншей, без особой уверенности, что кому-нибудь когда-нибудь понадобится воспользоваться этими окопами и траншеями, что они вырыты именно там, где надо.

Зачем все это было затеяно — не знаю.

У нас было начальство. Ротного командира, очень молодого и эффектного старшего лейтенанта, мы видели один раз за все время, и то всего несколько минут. Он увидел, как я вожусь на дне глубокой ямы посреди чиста поля (долженствовавшей изображать собой окоп), спрыгнул в эту яму и с необычайной стремительностью выбросил из ямы одну за другой три лопаты земли. Вернул мне лопату и довольно презрительно сказал: «Вот как надо рыть. Вы кем были на гражданке?» Я ответил: «Доцентом истории искусств». Он смолчал и вылез из ямы, и удалился — больше мы его не видели. Я думаю, что при таком темпе работы этого франта хватило бы максимум на три минуты, а не на весь день.

Зато взводный был все время с нами. Это был младший лейтенант, лет под сорок, невысокого роста, коренастый, с головой, сидящей на плечах совсем без шеи, неповоротливый и молчаливый, с исключительно тупой физиономией. Организаторы ополчения, там, наверху, видимо, решили, что в ополчение можно спровадить всех офицеров, явно непригодных ни для какого действительно важного дела. Никакому военному делу он нас не обучал — кроме одного дела, которое ему очень нравилось (и по — видимому, давало ощущение своей значительности). Это было «приближение к начальству»: он выстраивал нас в один длинный ряд, становился перед ним посередине и командовал: «Такой-то, приблизьтесь ко мне!» Нужно было сделать два шага вперед, резко повернуться на каблуках налево (или направо) по направлению к нему, еще раз резко повернуться лицом к его персоне и отрапортовать: «Прибыл по вашему распоряжению!» Он кивал головой и отправлял

человека обратно на место — нужно было проделать вторично всю церемонию. Этот спектакль он повторял много раз, получая искреннее удовольствие. В прочие наши дела он не вмешивался, предоставляя нам самим разбираться в складывающихся ситуациях. А ситуации никак не складывались: все шло крайне однообразно, мы только постепенно приближались к Брянску.

Мои студенты несколько распустились. Им почему-то, за обедом или ужином, нравилось долго и изощренно сквернословить. Они старательно произносили какую-нибудь длинную тираду, сплошь напичканную непристойными выражениями — просто так, для эффектности. Я как-то сказал: как не противно им так часто пачкать свой язык всем этим сквернословием? Они извинились, но тут же придумали ловкую формулу: произнеся ровно такую же, как прежде, длинную и весьма неблаголепную речь, они кончали ее словами: «Извините, Андрей Дмитриевич!» Я махнул рукой на их привычку — они ведь вправду относились ко мне с глубоким уважением. Но некоторые студенты (правда, не моего отделения) уж совсем оскотинились — противно рассказывать.

Прошел июль, прошел август — ничего нового не происходило…

А. Д. Чегодаев — Н. М. Чегодаевой в Пензу

14 ***августа 1941 г.***

Наташенька милая, любимая, моя маленькая!

Третьего дня вечером получил, наконец, первую открытку от тебя (от 4–го числа). Письмо твое, о котором ты пишешь в открытке, еще не пришло. Пишу в свободное время после ночного караула, вчера не успел написать. Я так обрадовался этой открытке — перечитываю ее без конца, наизусть уже помню. Но то, что ты пишешь, очень меня огорчило и еще больше обеспокоило. Я все время боялся, что с Музыкальной школой непременно будут всякие трудности. Я буду всеми способами стараться достать для тебя денег. Я уже написал раньше в институт, чтобы мою зарплату и деньги за неиспользованный отпуск перевели тебе. Ответа пока не получил, напишу еще раз. Напишу также в Детиздат и в Художественно — промышленное училище, м. б., что-нибудь они смогут мне выписать. Страшно меня это беспокоит, думаю и гадаю, как устроить эти денежные дела.

Я рад, что Вера Степановна[16] уехала к тебе в Пензу. Об этом я знаю из открытки, которую мне прислала Лидия Степановна.

Больше из Москвы никто мне не ответил — ни папа, ни Александр Борисович, ни Виктор Никитич, ничего о них не знаю. Вере Степановне передай мой самый сердечный привет. С ней тебе будет, наверное, лучше — она что-нибудь придумает, как устроить вашу жизнь в Пензе. Очень хочется знать как можно подробнее, как вы с Машенькой живете. Пиши помельче на открытке, они быстрее, должно быть, доходят. Что ты мне писала раньше, м. б., в Москву, то все повтори, потому что я, пока адреса у меня не было, ничего не получал.

У меня все в порядке, здоров, живу в лесу, в шалаше, сплю на душистом сене, и если бы не самолеты на небе, то пока на войну мало похоже. Впечатлений у меня множество и особенно от природы. Много думаю, голова ясная, давно она так не отдыхала! После этой зимы тяжелой я впервые как следует могу думать. Даже обдумываю свой курс лекций по институту XVII-XIX веков — многое очень хорошо и по — новому получается. Напиши Виктору Никитичу, может быть он достанет тебе какую-нибудь работу для института или еще для кого-либо, которую ты могла бы делать вне Москвы, в Пензе. Правда, это маловероятно, но вдруг что-нибудь найдется. Напиши мне (и пиши побольше) обо всем, что ты и Машенька делаете. Я непрестанно, всюду и везде о вас думаю и люблю так крепко. Целую тебя и Машеньку несчетное множество раз. А.

19 августа 1941 г.

Начал письмо вчера днем, когда отдыхал после ночного караула, но не поспел кончить. Стоял всю ночь — с часу до пяти на часах, в полной тишине (только раза два был глухой гул самолетов), и смотрел, как из-за деревьев постепенно поднимались звезды (ясное — ясное звездное небо!) — Плеяды, потом Альдебаран, наконец великолепный Сириус, моя любимая звезда. Хорошо быть ночью так одному — настороженно вслушиваясь в каждый, самый слабый звук. Но я был, впрочем, не совсем один — неподалеку в темноте было слышно равномерное и мирное- мирное чавканье — это кушала сено наша рыжая ротная лошадь, смирная и совсем не воинственная.

Я наслаждаюсь просто потоком прекрасных впечатлений от природы. Третьего дня мы после обеда пришли копать в овражке на краю широкого скошенного поля, и сразу же начался проливной дождь, от которого нам пришлось спешно спасаться через все поле в деревню. И пока мы сушились в просторной, крытой соломой риге, ливень кончился и на сером — «констеблевском» по своему цвету — небе встала полная ***двойная*** радуга — можно бесконечно любоваться на такие краски! Или вчера, тоже к вечеру: дальний край поля — с высоким

горизонтом, а правее — несколько высоких развесистых берез, — над белым внизу небом поднялась серо — голубая туча необыкновенного по нежности и интенсивности тона, и на ее фоне — серебристая зелень коротенького ряда деревьев и на краю горизонта — стадо, рыжие и белые коровы и черные овцы, а поле красновато — желтое с разбросанными побуревшими кучами клеверного сена. Все вместе — с ума сойти можно как хорошо! Я все время вспоминаю не только Констебля и Серова, но я очень понял и оценил особенно сильно сейчас Коро — он верен природе в каждом своем полутоне.

Сейчас 7 часов вечера, ясное голубое небо и солнце склоняется к закату, тени длинные — я сижу один на большой кочке на том же поле — на карауле около нашей работы. Скоро придут мои товарищи после перерыва. Стадо на том же месте у далеких берез, только небо за ними светлее, с нежными серыми и белыми облачками. Тишина полная. На бумагу все время влезают большие пауки — сенокосы — приходится их прогонять. Скажи Машукушке, что именно об этом длинноногом сенокосе говорит Яну Бидди, когда она рассказывает про «Дядюшку Длинноногого», у которого можно спросить, где пропавшие коровы, и он скажет. Кажется, я верно вспоминаю, а может быть, спутал[17].

Я хочу получить письмо от мамы, и тогда у меня все будет на месте — мне тут хорошо. Нам приходится, правда, испытывать массу разных трудностей походной жизни: ливень промочил наши шалаши, и пришлось спать на мокром сене, или окопы наши, когда мы в них пришли после дождя (после тактических упражнений), оказались совершенно раскисшими от воды — вязкая желтая глина и еще с водою! и т. п., но все это меня не трогает и не тяготит. Наоборот, в этой походной военной жизни много романтики и приключений, как в «Гекльберри Финне», хотя, может быть, и очень, по существу, прозаического содержания. Зато тем важнее прекрасные человеческие отношения — ко мне очень трогательно и хорошо относятся мои сотоварищи — студенты, и также, тем яснее работает голова. Я очень много и хорошо думаю — и об искусстве, и о литературе, вспоминаю своих любимцев — Китса, Блейка, Вордсворта, Киплинга, Бодлера, Фета, Тютчева, Случевского и больше всего — Лермонтова и Пушкина и моих художников — от египтян до импрессионистов. Но 99 сотых времени думаю о вас, моих самых драгоценных и любимых! Целую вас несметное множество раз, нежно — нежно!

Сенокосы совсем одолели — лезут на шею, на лицо!

Старая Рубча Орловской области.

31 августа 1941 г.

…У меня все в порядке. Мы переправились в грузовиках сильно к югу, в Орловскую область. Живем в прекрасной «стопроцентно» — русской деревне среди широких, сжатых уже полей и дальних лесов. На этот раз имеем жилье под крышей — большое, вырытое в земле и крытое соломой овощехранилище. Но обе ночи провели на картофельном огороде и на жнивье, под звездным небом, около наших земляных работ. Сегодня ночью я был караульным, пока остальные шестеро спали в копне ржи. Ничего нет прекраснее ранней зари, когда звезды постепенно бледнеют, а небо светлеет и розовеет — как в «Гамлете»: «Но вот уж утро в розовом плаще росу пригорков топчет на востоке». Я ведь не мог все это видеть раньше так часто и разнообразно. Потом, ближе к утру, когда солнце, как вчера, восходит в легких облаках — краски становятся как на тропических раковинах: нежно — розовые полосы сквозь нежно — дымчатые и серебряные пятна облаков, а в стороне (это сегодня утром) — тусклый голубой небесный свод над далеким редким лесом, прорезанный серо — розовыми длинными полосами облачков. Настоящий Веласкес. Сочетание серо — голубого неба, соломенно — серого жнивья, дальней зелено — голубой полоски леса — удивительно, особенно когда лежишь и смотришь вверх на небо и вдаль. Я живу с Шекспиром, с Гете, с Пушкиным, с импрессионистами — со всем моим отстоявшимся чистым «настоем» или «экстрактом» впечатлений от искусства, природы, прошлого, — голова ясная и свободная. Вчера я нашел флегматичную и спокойно — мудрую серую жабу с золотыми глазами — и счел ее хорошим предзнаменованием. Так хочу вас с Машенькой видеть, так хочу, и, может, скоро удастся? Хорошо бы поскорей. Я так крепко люблю вас и целую обеих. А.

Покров, Смоленской области.

12 сентября 1941 г.

Наташенька моя милая, любимая, моя маленькая, у меня очень давно, почти 2 недели, не было писем (из-за того, что мы перешли далеко на другое место и изменился номер полевой почты (теперь — 927). Но вчера, наконец, привезли гору писем, и мне там оказалось ни больше ни меньше как 21 письмо! Твоих писем 8, 4 Машенькиных, открытки от мамы, папы, Татьяны Борисовны из Нальчика, Лазарева, Пахомова, письмо от Дуси Либман и из издательства — целая уйма всяких новостей. О вашей жизни я знаю теперь еще почти за 3 недели. Я так радовался вчера и сегодня радуюсь и вашей комнатке с виноградом на окнах, сиренью, русской печью и кошкой — и ты, и Маша так ее описали, что я почти представляю ее себе — и тому, что у тебя, может быть, устроится чтение истории искусства, и

тому, что у тебя есть деньги и что был Родионов, и «моему» дубовому лесу, который я почувствовал как особенно нежную милую связующую нить между мною и тобой. Я только очень огорчился тем, что Машенька хворала — я так беспокоюсь о ней и о тебе, так хочу, чтобы вы были здоровы и все у вас было в порядке.

В. В. Пахомов написал мне (в очень ласковом и внимательном своем письме), что тебе должны были перевести 500 р. И что он устроит постоянный перевод следуемых мне денег. Тогда ты сможешь прожить в Пензе всю зиму даже без работы. Ты мне не посылай денег — мне их тратить тут некуда, лучше береги про запас. Твой перевод я еще не получил, но когда получу, то этого будет мне вполне за глаза. Посылку Виктора Н. тоже еще не получил, их будут раздавать, вероятно, завтра и послезавтра, как и переводы— наверное, все это уже пришло. И мне, наверное, ее пошлют, посылку, потому что я, до этих писем, писал и В.Н., и Т. Б. о том, чтоб мне немного послали разных вещей, в том числе носков. Из института я никаких известий не имею, не знаю, послали ли они тебе что-нибудь. Мне больше всего хочется, чтобы ты и Маша могли жить, не стесняя себя на каждом шагу, чтобы и Маша, и ***ты*** питались как следует и могли иметь запас денег для всего, что будет нужно.

Я очень расстроился маминой открыткой — правда, очень давнишней (28 июля), — они живут там плохо, и если папа за это время не собрал их там, на Урале, всех вместе, то ей, м. б., нужно будет тоже перевести денег. Напиши ей, ты скорее получишь ответ, чем я со своим кочевым образом жизни. То, что Маша идет в школу (т. е. теперь уже пошла) — хорошо и то, что у тебя есть с кем говорить об искусстве! Я так экономлю открытки и бумагу и с таким трудом (и не всегда) их добываю, что никому из друзей — художников в Москву не писал. Если будешь писать Михаилу Семеновичу — передай мой самый сердечный привет и ему, и Пименовым, и другим — Фаворскому, Кукрыниксам, Каневскому, Шмаринову и всем другим. И Лазарю Шоломовичу напиши от меня.

Я рад, что ты в Пензе — у меня с ней связаны очень дорогие для меня воспоминания и впечатления. Места там такие же, как под Саратовом, т. е. самые красивые на свете. Все, что я видел за два месяца, ничего не стоит рядом с теми местами, где вы живете сейчас. У меня нового ничего нет. Думаю все время о вас и люблю так крепко. Целую тебя и Машеньку бесчисленное множество раз! Наташенька и Машукушка, мои самые любимые. Вере Степ, горячий привет. А.

Машукушка моя милая, любимая Машукушка, вчера получил

целую массу маминых и твоих писем — весь день читал и очень радовался. Пиши мне и дальше обо всем, что ты делаешь дома и в школе, что читаешь, что нового увидела. Мне страшно понравились твои письма и особенно портрет гусеницы с рогом, которая встретилась тебе, когда шла по улице, по своим делам, наверное. Это гусеница очень большой и красивой бабочки — бражника. Их очень много всегда было в том дубовом лесу, который я видел столько раз в детстве, около Саратова, и который, наверное, совсем точно такой же, как в Пензе. Пенза ведь близко от Саратова. Ты очень хорошо описала мамину комнату — с садиком, виноградом и кошкой, я теперь могу себе представить, как мама живет. Опиши мне и свою комнату. И еще напиши мне подробнее про свои прогулки. Напиши, как понравился тебе «Остров сокровищ». Что ты еще прочла с тех пор? Пиши мне почаще и побольше. И присылай еще что-нибудь. Чертика с двигающимися ногами я спрятал, хотя он, правда, как ты написала, довольно-таки противный. Ты присматривай за мамой, ведь, кроме тебя, больше некому. Вместо меня смотри, чтобы она не уставала и не хворала, и ела как следует, и была веселая. У меня тут все в порядке. Я все время стараюсь представить себе, как вы живете, и очень жду писем.

До свидания. Целую тебя тысячу миллионов раз, а ты поцелуй столько же раз маму. Кланяйся от меня Диме и Вере Степановне, а также дубовому лесу. Посылаю тебе цветок — таволгу. Я сорвал ее у речки. Целую тебя еще столько же раз и маму тоже. А.(папа).

Наступил сентябрь — кое-что изменилось. В тот год очень быстро, уже в первой половине сентября, настала глубокая осень с непрерывным холодным дождем, а очень скоро вслед за этим, в том же сентябре, — двадцатиградусные морозы. Нам приходилось ночевать в вырытых нами же сырых землянках. Шинелей у нас не было — их где-то возили за нами, но раздать так и не успели. Мы кутались кто во что горазд и дрожали под ни на час не перестающим промозглым осенним дождем. И все рыли и рыли, почему-то всегда посреди чистого поля.

С этим моментом у меня связано самое главное и самое для меня драгоценное воспоминание из всего незатейливого хода жизни в то время. Как-то раз я вылез из землянки под моросящим холодным дождем и отправился в лес, чтобы набрать хотя бы мокрого хворосту, в сомнительной надежде хоть сколько-нибудь просушить сырые стены землянки. Я дошел до леса и увидел длинную вереницу очень аккуратно вырытых глубоких ям, видимо приготовленных для установки какой-то электропередачи, но брошенных из-за военных обстоятельств. Идя

вдоль этой линии, я заглядывал в ямы и вдруг на дне одной из них увидел очень большую жабу. Она стояла на задних лапках на узенькой полоске непокрытой водою земли, прижавшись животом к стене ямы и вытянув вверх передние лапки. Вылезти она не могла — до верха было больше полуметра. Я лег на землю плашмя, протянул в яму руки и сумел дотянуться до передних лапок жабы. Вытащив ее, я бережно отнес ее в лес и осторожно посадил на землю. Она посидела немного и ушла в глубину леса (жабы ведь не прыгают, а ходят). Я долго смотрел ей вслед. Я тогда же твердо решил, что эта жаба меня спасет, что бы со мной ни случилось. И она ведь вправду выполнила мою, вполне суеверную, но на самом деле совершенно справедливо уверенную надежду. Чем еще могу объяснить мое чудесное избавление от доставшейся на мою долю верной гибели?

Не знаю, кто решил повернуть наше дальнейшее передвижение вместо Брянска в сторону Смоленска. Это произошло во второй половине сентября, когда земля была уже покрыта толстым слоем снега. Вряд ли это мог решить наш взводный, а кто был над ним — мы не видели и не знали. Где-то странствовал штаб нашей дивизии, и, вероятно, нашего полка, где-то ехал обоз с кухней и поварами.

Кстати, забыл назвать имя нашего взводного. Он назывался Алексахин, но студенты его величали иначе (правда, не при нем): на его голове неизменно красовалась большая фуражка с огромным «раструбом» вверх, делавшая его похожим на самовар с большой камфоркой, и он самым естественным образом получил прозвище «Камфорка».

Мы повернули на запад, рыть землю стало уже невозможным. Через сколько-то дней ходу пешком мы очутились в молодом ольховом лесу, на аршин засыпанном снегом, и стояли в нем весь день. Оказалось (не знаю, как это узнали), что перед нами, к западу, нет никаких наших частей — только немцы. И когда стало смеркаться, у студентов лопнуло терпение и они спросили Камфорку, чего мы тут торчим в этом ольховом лесу и не достанемся ли в конце концов немцам? Камфорка погрузился в глубокомысленные размышления и наконец изрек: «Сейчас мы будем проходить приближение к начальству». Студентов взорвало, и они без всяких церемоний ответили ему: «Ну вот, вы и приближайтесь к самому себе, а мы уходим». Алексахин разинул рот от удивления, а мы ушли, больше мы его не видели.

Но в то время, когда студенты разговаривали со взводным, у меня случился свирепейший приступ малярии, в свое время вывезенной мною с Кавказа. У меня были (почему — не помню) два тонких серых тканевых одеяла, и я кутался в них, дрожа всем

телом. Наконец, я не выдержал и улегся в снег под куст, явно теряя сознание от высокой температуры. Я не знаю, как это заметили студенты, но они вытащили меня из-под этого куста и уложили на единственную имевшуюся у нас телегу с лошадью, на лежавшие в этой телеге ящики с минами, которые мы зачем-то возили за собой все лето — миномета у нас не было. Я забыл сказать, что мы были вообще «роскошно» вооружены: у нас были чудные винтовки, но патронов к ним не было и так никогда и не появилось — один раз летом нам роздали какие-то трофейные румынские патроны, но они в наши винтовки не лезли; у нас были, как я уже сказал, несколько ящиков с вероятно очень хорошими минами, но миномета не было; был у нас даже пулемет, но лент к нему не было. Абсолютно невооруженное воинство!

Когда температура у меня спала, я сполз с минных ящиков и дня два или три шел своим ходом. Мы отправились в удивительное странствие в сторону Москвы, тянувшееся целую неделю. Компаса у нас не было, мы определяли верность направления по восходу и закату солнца. Мы шли по глухим лесам и болотам, стараясь держаться подальше от больших дорог, по которым двигались немцы, а когда оказывались перед каким-то открытым пространством, пересекали его ночью. Я обычно шел рядом с Володиным, он спал на ходу, а я его придерживал, он вдруг «нырял» вперед или вбок, а я его ловил и приводил в вертикальное положение. Закутанные в какие-то тряпки или одеяла, мы, вероятно, производили такое же впечатление, как отступавшие из России французы в 1812 году. Я думаю, что, глядя со стороны, мы, наверное, представляли не только странное, но и жуткое зрелище. Представьте: глубокая ночь, полная луна, мы медленно тянемся по мерзлой вспаханной земле, видной до горизонта, далеко друг от друга, вполне напоминая шествие грешников в ледяном дантевском аду.

Я тогда прекрасно усвоил, что значит спать на болоте, где под тобой в неведомой глубине хлюпает вода, что значит «корни жмут под ребра», как потом верно сказал Твардовский — надо испытать, как непросто спать в глухом еловом лесу, где у каждой елки корни не в земле, а словно только держатся за землю! Но спать нам приходилось мало, мы все же как могли спешили добраться наконец до спокойного места.

Дня через два или три после ухода из ольхового леса у меня сделался второй малярийный приступ, я снова потерял сознание, и меня снова пришлось уложить на минные ящики. Никаких лекарств у нас не было, я слез с телеги, когда снизилась температура, и шел дальше. Есть нам тоже было нечего: обоз с

кухней пропал; вероятно, вместе со штабом дивизии попал к немцам. Да мы и не могли зажигать костры, чтобы что-нибудь сготовить, и продуктов у нас никаких не было. За все путешествие до Москвы ели только один раз: студенты потихоньку пробрались в какую- то деревню и достали большой кусок замороженной коровьей туши. Мерзлое сырое мясо нарезали ножом на ломти и всем роздали. Ничего вкуснее никогда не ел в жизни!

Однажды мы нечаянно приблизились к неизвестной нам железнодорожной станции, где находилось небольшое число немецких солдат, которые начали в нас стрелять. Отвечать нам было нечем, да нам и не было видно тех, кто в нас стрелял. Тогда Володин предложил: «Давайте их напугаем», и, поднявшись во весь свой гигантский рост, двинулся вперед с громким кличем: «Вперед, за мною», размахивая своей винтовкой. За ним двинулся, тоже во весь свой рост, Федя Глебов, за ним другие, в их числе я. Оглянувшись, я с удивлением увидел, что Нечитайло и Максимов не идут за мною, а далеко позади ползут на животах! Струсили. Но и немцы, видимо, тоже испугались непривычно странного зрелища наступающих на них врагов и убежали. Но мы старались в другой раз не повторять такой авантюры.

Но для меня это странствие по лесам кончилось весьма драматически. Где-то на шестой или седьмой день нашего пути у меня сделался третий приступ малярии, по — видимому, еще более сильный, чем оба предыдущие; я со своей высоко взлетевшей температурой как-то отбился ото всех остальных, ушел куда-то в сторону, прибрел на скошенное поле и свалился под стог, ничего больше не соображая. Студенты доглядели мое исчезновение, отыскали меня под стогом, и вероятно на моих же тканевых одеялах унесли. Это был Миша Володин и кто-то еще — я потом так и не смог выяснить, кто это был. Я совсем смутно помню, что, когда они ко мне подошли, я горячо просил их не оставлять меня немцам, а пристрелить, забыв, конечно, что стрелять им нечем.

На этот раз студенты сняли с телеги ящики с минами и уложили меня на сено, когда я, должно быть, потерял сознание — я очнулся на мягком сене, тщательно укутанный. Я бесконечно благодарен нашей кроткой лошадке, которой столько раз пришлось меня возить. У меня не было с собой винтовки: боясь потерять ее во время этих страшных приступов, я отдал ее моему ученику и будущему близкому другу, бывшему в моем взводе, — Давиду Дубинскому, большому и прекрасному художнику — графику, как яркая новая звезда вспыхнувшему в 50–е годы и как всякая «новая» звезда внезапно угасшему в 39 лет от неизлечимой наследственной тяжелой болезни. Отдавать другому свою

винтовку не полагалось, но некому было обращать внимание на эту мою вольность. Теперь мы были совсем близко от своей цели, и действительно, не могу сказать, на который день, из-за провалов в памяти во времени из-за моей малярии, мы дошли до сторожевых частей, охранявших Москву. Мы сдали оружие. У меня винтовки не было, но студенты соврали, что я был пулеметчиком (пулемет ведь на самом деле странствовал со мною рядом на телеге!). Нас встретили очень приветливо и сказали, что уже давно был приказ вернуть домой все, что осталось от ополчения, и мы можем спокойно идти в Москву. А приказ, вероятно, штаб дивизии возил за собой, и этот приказ, вместе со штабом, достался немцам.

Мы перешли заветную черту и в ближайшей деревне попросились погреться в одну избу. Нас очень радушно приняла пожилая, хорошо одетая женщина, накормила и спать уложила. Нас было четверо: я, Володин, Максимов и еще один студент не из моего отделения, фамилию которого я забыл (кажется, Малышев). Двое улеглись на лавках, а я и Костя Максимов влезли на только что протопленную печь. И эта раскаленная печь выжгла из меня мою малярию ***навсегда.*** Утром мы распростились с радушной хозяйкой и только удивились, когда она нас спросила, куда это мы так стремимся, когда Москва занята немцами? Не знаю, зачем ей понадобилось нам врать.

Так кончилось мое ополчение, и можно было подвести итог. Зачем это ополчение было организовано (или, вернее, никак не организовано)? Зачем, вместо подвига и какой-то реальной пользы от пребывания на войне, было только лишь унижение, и унижение незаслуженное, несправедливое и обидное? Зачем я провел несколько месяцев, в труднейшие дни защиты Москвы, ничего не совершив, зазря, только и проев казенные харчи и испортив никому ненужными окопами и траншеями, совершенно непрофессионально сделанными, разные красивые места Московской, Калужской, Брянской областей? Ничего, совсем ничего не сделав полезного и нужного. Чем я могу хвастаться и гордиться? Конечно, чем-то могу: тем, что спас большую жабу, которой грозила верная смерть, если бы я ее не нашел; тем, что не слишком замучил кроткую лошаденку, которая так часто и так долго меня на себе возила. Да, это были благородные поступки, хотя к Великой Отечественной войне особого отношения не имевшие…

Мы шли пешком в Москву, мимо Волоколамска и Нового Иерусалима, и навстречу нам, весело махая нам руками и флажками, неслись сибирские танкисты на своих сибирских танках, и ясно было, что никакой Москвы немцам не взять. Это

было уже в первые дни октября.

Здорово усталые, добрались мы до своего Художественного института и узнали, что завтра, в 8 часов утра, надо быть на Ярославском вокзале и уезжать из Москвы с эшелоном Художественного института куда-то за Урал. Ходить куда-нибудь еще было совсем некогда, и вечером я добрался до своих комнат в коммунальной (когда-то гершензоновской) квартире в Плотниковом переулке на Арбате. В комнатах, засыпанных битым оконным стеклом, стоял лютый холод, такой же двадцатиградусный мороз, как на дворе. В прекрасный фруктовый сад за окнами попала фугасная немецкая бомба, сад был уничтожен, а стекла из всех трех наших окон были вышиблены и вдребезги разбиты. Окна были присматривавшим за моими комнатами моим учителем и другом Виктором Никитичем Лазаревым забиты фанерой, и сквозь редкие щели в этой фанере проникал слабый свет. Электричество не горело. Ночевать в этих комнатах было явно невозможно, поэтому я собрал свою одежду, увезенную моим отцом тогда с Новой Башиловки, взял шубу и зимнюю шапку, положил в рюкзак несколько любимых французских и английских книг — Бодлера, Китса и еще что-то и отправился к Лазареву домой, надеясь там переночевать до ухода рано утром на Ярославский вокзал. Виктор Никитич жил тогда в маленьком одноэтажном доме в ограде Зачатьевского монастыря на Остоженке. Был уже поздний вечер, я взошел на крыльцо и остановился в недоумении: дверь в дом была открыта, и в доме было темно. Пока я так стоял, не понимая, что происходит, из дома на крыльцо вышел лазаревский пес Мурзик и молча укусил меня за ногу. Но и это не прояснило ситуации. Но тут пришла лазаревская домработница Ариша — она объяснила, что Виктор Никитич и Вера Николаевна сегодня ночуют у друзей, а она сама пошла спрятаться в бомбоубежище, испугавшись воздушного налета. Я-то никакого воздушного налета и не заметил, привыкнув их видеть каждый день целое лето. Ариша устроила мне ванну, я переоделся как следует, подарил ей свои военные доспехи, лег спать (она, конечно, меня накормила — я ведь ничего весь день не ел).

Утром я ушел очень рано — хотел прийти на вокзал задолго до ухода эшелона — и был там уже в семь часов. Выйдя на перрон, увидел, как только что отошел стоявший на ближайшем пути поезд. Спросил, где стоит эшелон Художественного института, номер такой-то, — железнодорожный служащий ответил: «А вот он только что отошел, видите, вон его хвост». «Не может быть, на него было велено собираться к 8 часам», — сказал я. Проверил несколько раз, все сошлось — да, ушел именно

эшелон Художественного института, номер такой-то! Я совершенно остолбенел — что мне было делать? Возвращаться мне было некуда, документы мои были в институте и, значит, уехали с этим эшелоном, у меня не было ни копейки денег… Я решил догнать эшелон, влез в ближайший уходивший дачный поезд (без билета!), доехал до Загорска — эшелон Художественного института уже ушел дальше. Забрался в какой-то отходивший поезд до Александрова — не догнал.

Устроился на открытом всем ветрам тамбуре, почти что на буферах товарного вагона в каком-то бесконечно длинном товарном поезде. К вечеру сообразил, что ночью непременно замерзну и свалюсь с этих буферов. Решил попроситься на ночь в один из вагонов — теплушек, в которых ехали из Москвы разные институты Академии наук. В первую же теплушку меня действительно пустили, хоть и без особой охоты — тогда власти всем усердно внушали, что кругом сплошные враги и шпионы. Документов у меня не было — я предложил вместо этого обыскать мой рюкзак и убедиться, что я вполне безобидный человек. Ученые мужи охотно согласились, и, засыпая, я видел, с каким любопытством они разглядывали мои французские и английские книжки. Утром я поблагодарил моих хозяев и ушел. Что делать дальше? Я нашел прицепленный к какому-то поезду, шедшему в Свердловск, «ничейный» и почти пустой дачный вагон и забрался в него, и ехал в нем около двух недель.

В вагоне было очень немного людей. Был очень симпатичный и высокоинтеллигентный врач с женою и милым мальчиком — сыном лет пятнадцати. Я много с ними беседовал. Был человек с ведром — он пошел за водой, а его эшелон ушел, он так и ехал со своим единственным спутником — ведром чистой и холодной воды. Были еще два кинорежиссера с Мосфильма, которые меня узнали — в начале 30–х годов я три года читал на Мосфильме всеобщую историю искусств. Эти режиссеры ухищрялись на бесчисленных стоянках поезда добывать какую-нибудь еду и до самого Свердловска меня кормили. Глубокая моя им благодарность.

В Свердловске я совершенно неожиданно встретил собственного отца — он эвакуировался в Свердловск со своим химическим институтом, которым руководил. Совершенно не помню, как удалось мне с ним встретиться, — я ведь понятия не мог иметь, где он сейчас находится. Я прожил у него две недели, стараясь за это время выяснить, куда мне ехать дальше. Отец сказал, что моя мать вместе с младшей сестрой и ее детьми находится тоже на Урале, близ Алапаевска.

5 ноября 1941 г. Свердловск Наташенька моя милая, моя маленькая!

Я послал тебе телеграмму и заказное письмо и жду не дождусь ответа. Ужасно беспокоюсь и о здоровье твоем и Машенькином, и о твоих делах всех. У меня все в таком туманном состоянии, что просто представить не могу, что делать. Вчера я встретил, с большой (взаимной) радостью, в Управлении по делам искусств О. М. Бескина — он ехал с тем же эшелоном, что институт, но остался здесь, работать и жить постоянно. Оказывается, институт все-таки направился не в Томск, а в Самарканд, через Курган — Оренбург (значит, еще едут, вероятно). Обогнали они меня всего на 1 день. Нужно ехать за ними, и в то же время страшно трудно ехать в такую даль, не зная наверное, не передумали ли они чего-либо по дороге, доехали ли туда. И расхворался я некстати. Вчера был у невропатолога, очень милого доктора, буду лечить ногу. Сейчас стараюсь с помощью Союза художников (где меня очень приветливо встретили) получить возможность пробыть тут дней 10–12, чтобы выяснить точно, куда путешествовать дальше, и немного подлечиться. Напишу, что из этого удастся или нет. Самарканд, конечно, очень привлекательное место, но можно ли там жить и работать — не знаю. В Томске было бы, как будто, легче. Очень тоскую без вас. Мои милые, любимые. Целую крепко — крепко. А.

5 ноября 1941 г. Свердловск Наташенька милая, любимая, пишу сегодня вторую уже открытку. Сейчас папе принесли открытку от мамы, которая меня страшно взволновала: мама пишет, что ты не имеешь от меня известий после 15 сентября и что она сама сходит с ума, не зная ничего обо мне. Как только могло так нехорошо получиться — ведь я писал тебе и ей весь сентябрь и потом, после перерыва в 10 дней, когда я не мог писать, я сразу же послал и письма, и несколько телеграмм из разных мест, и сам посылал, и других просил! Ничего из этого, видно, не дошло. Я так жду теперь ответа от тебя и от мамы, уж эти-то телеграммы, отсюда, должны дойти! Пиши мне и телеграфируй поскорее, пока я тут, я так истосковался, не знаю ничего о вас всех. Мне так хочется поскорее вас увидеть. Какой смысл в том, что я случайно остался цел, если я буду оторван от вас дальше из-за неполучения никаких известий от тебя, а ты не будешь получать от меня! Я так крепко люблю вас, Наташенька и Машукушка милые, так трудно без вас. Целую вас миллион миллионов раз. А.

На мое счастье, в управлении Комитета по делам искусств по

Свердловской области оказался необыкновенно добрый и приветливый заведующий. Он проникся моим бедственным положением, связался с Томском, куда уехал из Москвы Комитет по делам искусств, и получил для меня телеграфное распоряжение Комитета, подписанное заместителем Храпченко Солодовниковым: направить доцента Чегодаева в Самарканд, выдать ему командировочное удостоверение, снабдить деньгами… Все это было как полагается оформлено, я распростился со своим отцом, горячо поблагодарил заведующего Свердловским управлением Комитета по делам искусств и уехал на юг и юго — восток, в Среднюю Азию, через Челябинск и Оренбург.

В Оренбурге я застрял на три дня. Через него шли бесконечные поезда, ни на один из которых нельзя было сесть, даже не продавали билетов. И я три дня бродил по Оренбургу, который был тогда еще прежним, одноэтажным и просторным, прелестным городом XVIII века, времен Пугачева. Были ясные, солнечные дни, засыпанный снегом город был особенно хорош под этим солнечным сиянием. Мороз был несильный, и это, конечно, скрашивало трудное положение, в котором я оказался. Большую часть времени я проводил на широченной привокзальной площади. Одноэтажный вокзал дугой охватывал дальнюю сторону площади, войти в него было невозможно, так он был набит народом — негде было поставить две ступни. Вдоль длинных стен вокзала, как и стен других зданий, сплошь сидели и лежали (на снегу!) люди с детьми, с багажом, ожидавшие возможности уехать. Центральная дверь вокзала была заперта, а широкое парадное крыльцо перед главным входом, окруженное невысокой каменной балюстрадой, было единолично занято очень важным и, видимо, очень богатым господином в роскошной шубе и бобровой шапке, с женой и какими-то другими родичами и великим множеством чемоданов, саквояжей, баулов, корзин, картонок и пр. Он не позволял никому даже близко подходить к крыльцу, зорко охраняя свою изобильную поклажу. На второй или третий день у него все-таки сперли какой-то чемодан или саквояж, и этот дядя, похожий на модного тенора или очень знаменитого, обласканного высшим начальством писателя, громко на всю площадь рыдал, проливал ручьи слез, вопиял, заламывая руки к небесам. Это было крайне противно, и на многолюдной площади его не жалел никто, все только смеялись и издевались.

На третий день кого-то осенило открыть особую новую билетную кассу для командировочных. Таковым единственным счастливым человеком на всей площади и внутри вокзала

оказался я — взял без несостоявшейся очереди билет себе и другой билет старой и очень больной докторше, которая лежала с наружной стороны вокзала на земле. С помощью добрых людей и все же с большим трудом я втащил ее в некупейный вагон первого же подошедшего поезда, идущего в Ташкент, пришлось положить ее на пол в проходе, под окнами — никто в переполненном до отказа вагоне не шелохнулся, чтобы уступить ей место. Сам я присел на краешек одной скамьи, на которой лежала очень важная и очень толстая дама, страшно негодовавшая, как я смел сесть на дальний конец скамьи, и тщетно пытавшаяся дотянуться до меня своими толстыми и короткими ногами. На соседней скамье возлежал ее супруг, тоже очень толстый и важный, но его ноги были немного длиннее и их как раз хватало, чтобы не позволять никому сесть на конец скамьи. В тот же день я обнаружил, что у кого-то из этой противной пары имеется отец: очень почтенного вида и с очень кротким лицом старик с длинной седой бородой, он был посажен своими родичами на багажную полку над входной дверью в вагон! Ему подавали туда еду, и в определенные часы дня он надевал полосатую накидку (талес), пристраивал на лбу черный кубик и молился. Я, конечно, через двадцать лет вспомнил этого старика, когда увидел его точного двойника на прекрасной ранней картине Марка Шагала «Молящийся еврей» в чикагском Художественном институте. В окружающей неприглядной и тяжелой обстановке этот старик на багажной полке явился мне как подлинный луч света в темном царстве.

Как я ехал до Ташкента и сколько дней — не помню, знаю только, что все эти дни был очень голоден — ничего не ел всю дорогу. В Ташкенте я устроил, чтобы больную докторшу отвезли с вокзала в больницу, а сам добрался до Самарканда. Приехал в Самарканд уже в середине ноября.

Самарканд

Наш приезд в Самарканд. Художественный институт в эвакуации. Фаворский, С. Герасимов, Ульянов, Грабарь, Фальк, Моор. Возвращение в Москву

Первое, что я сделал, ступив, наконец, на самаркандскую землю — я стал разыскивать свою жену Наташу и дочь Машу, чтобы вызвать их в Самарканд. Я каким-то образом получил неверную информацию, будто музыкальную школу при Московской консерватории, с которой они в июле уехали в Пензу, перевезли в Алма — Ату, в Казахстан. Я несколько раз писал в Алма — Ату, не получая никакого ответа, пока уже в декабре не узнал, что музыкальную школу никуда из Пензы не переводили.

Все эти месяцы — с июля по декабрь 1941 года — мы с мамой жили в Пензе: она — с Верой Степановной на квартире, в маленьком полудеревенском доме; я — в интернате Центральной музыкальной школы, разместившейся в здании Пензенского художественного училища.

Сентябрь, октябрь — какие это были страшные месяцы! Отчаянный холод, царивший во всех помещениях — и у мамы, и в наших палатах; самый натуральный голод — кормили нас хуже некуда (правда, не всех: школьное начальство и их дети питались особо) — все это было ничто, по сравнению с той тревогой, тем ужасом, в котором жили и взрослые, и дети. Мы ничего не знали о папе; немцы рвались к Москве, стояли чуть ли не в ее пригородах. Каждый день приезжали, чуть ли не приходили пешком родители наших ребят — поначалу эвакуировали одних детей. В большинстве своем это были евреи, жалкие, без вещей, бежавшие из Москвы в чем были — немцы могли войти в нее каждую минуту, а об отношении нацистов к евреям было хорошо известно. Помню, как появилась у нас дочь известного киевского дирижера Рахлина. Он с маленькой дочерью и беременной женой ехали через Пензу; жена начала рожать в поезде, им пришлось сойти — роженицу увезли в больницу, а Рахлин с дочкой остались на вокзале. По счастью, кто-то из нашей школы увидел его, сидевшего на чемодане и отчаянно рыдавшего, и растерянную девочку лет шести рядом с ним…

Наши воспитательницы не позволяли нам раздеваться на ночь: вдруг ночью придется бежать из Пензы в Алма — Ату… Вопрос о переводе МСХШ в Алма — Ату действительно возникал.

А. Д. Чегодаев — Н. М.Чегодаевой в Пензу

24 ***декабря 1941 г. Самарканд*** Наташенька моя милая, любимая, моя маленькая! Наверное, это письмо уже не застанет тебя в Пензе, но все-таки, на всякий случай, пишу. Вчера Соня[18] получила твое письмо, и я был страшно счастлив и в то же время чуть не плакал, так было больно читать, что вы голодные и больные — письмо написано таким усталым, дрожащим почерком! Так все нелепо и глупо выходит: ведь я уже почти месяц в Самарканде, с 26 ноября, и я был убежден, что тебя в Пензе уже давно нет, и не написал сразу отсюда в Пензу. Я искал тебя повсюду. Мне с трех разных сторон сообщили, что музыкальная школа уехала из Пензы в Среднюю Азию — в Алма — Ату. Я не получил здесь ни одного письма — ни от папы и мамы, ни от Лазарева, ни из этой Алма — Аты, куда писал по всем известным мне адресам. Я ничего не могу понять в этой почтовой неразберихе — почему В. Н. не написал тебе сразу, что я уехал в Самарканд, почему он не пишет мне сюда, хотя бы до востребования, почему я ничего не получил в Свердловске за 2 недели, что прожил там у папы? Я послал тебе, после отъезда 18 октября из Москвы, не меньше 8—10 писем и телеграмм всех сортов, и ни на одну не получил ответа. Я представлял себе вашу трудную жизнь именно так, как ты пишешь, и все время мучился, что у тебя нет денег, что ты измучилась, что Машукушка хворает, что вы голодаете, но единственное, что я думал, что знаю наверняка — это то, что вы уже не в Пензе! Я мог бы уже давно послать тебе и письма, и телеграммы.

Но все равно уж, бог с ней, с этой путаницей, — я теперь жду не дождусь вашего приезда сюда — я истосковался от этого бесконечного незнания, неведения — что с вами, где вы. Вчера институт послал тебе телефонный вызов сюда, в Самарканд, и я еще послал от себя телеграмму. Думаю, что по этому вызову тебе дадут билет до Самарканда, а относительно въезда и прописки — не беспокойся вовсе. Лучше было бы ехать прямо из Пензы до Самарканда (с пересадкой в Ташкенте), т. к. всего труднее, как будто, получить билет в Чкалове — это прямо мышеловка какая-то — я не мог даже прокомпостировать свой билет в течение трех суток! Но, правда, все, у кого были дети, уехали не задержавшись. Поэтому всюду, где понадобится пересаживаться — иди в комнату матери и ребенка, они имеют право на получение и компостирование билетов вне всякой очереди. В Ташкенте нужно поступить так же (я там провел целые сутки в очереди, т. к. поезд, к тому же, задержался на много часов). Из Ташкента есть два поезда, с которыми можно ехать в Самарканд, — до Сталинабада и до Красноводска. До Самарканда от Ташкента ехать недолго — часов 10–12. Выехать в Ташкент отсюда — нет никакой

возможности. И если бы я даже добыл бы как-нибудь билет до Ташкента, то я вряд ли смог бы получить билет обратно, т. к. там не хватает для транзитных пассажиров. Я напишу письмо туда в Союз художников Уралу Тансыкбаеву, на случай, если вдруг будут какие-нибудь затруднения с компостированием или задержка. В Ташкенте сейчас много моих друзей — я попрошу, чтобы Тансыкбаев вместе с ними помог тебе. Но в Чкалове у меня никого нет, и там весьма любезное, но абсолютно равнодушное и казенно — канцелярское Управление по делам искусств, которое палец о палец не ударило, чтобы помочь мне выбраться из этого города (я трое суток не спал и не мог даже сесть отдохнуть — только стоял, в давке у кассы или на морозе на площади перед вокзалом). Поэтому мне не хочется, чтобы тебе пришлось брать билет в Чкалове. Но если уж придется — через комнату матери и ребенка. У Сони, впрочем, есть кто-то, отдаленно знакомый в Чкалове, — она узнает и телеграфирует, если ты туда поедешь.

В Самарканде я буду ходить ко всем поездам, т. к. от вокзала до города 6 км. И нужно нанимать ослика. В дороге лучше не выходи, по возможности, — так легко отстать от поезда! Поэтому лучше иметь с собой еды на неделю — больше вряд ли пройдет поезд — сейчас ехать, должно быть, много легче, чем месяц назад, т. к. наплыв одиночных пассажиров сюда уже уменьшился. Я бы перевел тебе денег на дорогу — у меня отложено для этого уже 300 рублей (и я еще бы достал), но они не успеют дойти — поэтому возьми, где только возможно, у М. С. Родионова, у Веры Степановны — я переведу им тотчас же. И в школу долг не отдавай, а я переведу в адрес школы сколько нужно. Тебе нужны будут деньги и на билеты, и на еду, и на носильщиков. В телеграмме института упомянуто, что институт (и я вместе с ним) эвакуирован в Самарканд, но, кроме этого, хорошо бы взять еще в Пензе (в эвакопункте) справку, что ты и Маша также эвакуировались — вместе с телеграммой такая справка может помочь получить, например, хлеб на пересадочных станциях. Бери с собой все вещи, какие есть, и бери носильщиков.

У меня тут положение такое:

1. Я ехал сюда, не зная, что ждет меня и институт, но, приехав, нашел институт в полном здравии и невредимом состоянии — сейчас тут уже больше 300 человек профессоров и студентов. Институт включил в себя некоторое количество народу из Харькова, Киева, Ленинграда, а также Московское художественно — промышленное училище, где я тоже читал лекции. Тут много художников, и в том числе моих друзей — С. В.Герасимов, В. А.Фаворский (он опять приглашен в институт), Д. С.Моор и другие. Грабарь, вероятно, вместе с Ал. Б. в Тифлисе,

так что обязанности директора сейчас выполняет его заместитель — Леонтий Иванович Денисов, встретивший меня очень ласково и продолжающий оказывать мне всяческое внимание (так же как и секретарь парткома Коган, и зам. Грабаря по учебной части Горощенко, и директор Художественно — промышленного филиала А. П. Барышников, и студенты, и профессора все). По собственной инициативе институт перевел меня на полную доцентскую ставку, так что я получаю в месяц уже верные 700 рублей. Мне придется с середины января читать много лекций по всем эпохам, и за себя, и за В.Н., так что это вполне реальная работа. Но кроме того, мне предложил А. П. Барышников читать для художественнопромышленного отделения кроме общих курсов еще два специальных — историю керамики и историю декоративной скульптуры, и т. к. эти курсы нужно «создавать» заново — их никто никогда не читал, то, вероятно, они будут оплачиваться сверх ставки. Во всяком случае, я буду сейчас добывать себе еще какую-нибудь дополнительную работу, чтобы ты могла большой срок ничего не работать, а отдохнуть. Но думаю, что институт может устроить и для тебя, если понадобится, работу в институте — но только когда ты отдохнешь от этого страшного лета.

2. Я поместился здесь в одной из келий Регистана вместе с В. А. Фаворским и его семьей. Владимир Андреевич так трогательно ласково ко мне относится (забыв все, чем я перед ним виноват)[19], что мне очень хорошо там с ними. Но фактически я живу не там, а у Сони. Я каждый день хожу на Регистан, но обедаю и ночую у Сони — отдаю деньги Асе Давыдовне. Сначала, пока так не устроилось — я тратил их на еду довольно безалаберно, много — и все- таки был голодный, а сейчас я ем нормально, домашнюю еду, очень хорошую, как, можешь представить, готовит Ася Давыдовна; у меня сейчас еда в горло не идет, когда думаю, что ты голодаешь — скорее, скорее бы вы приехали! Ася Давыдовна и Соня со мною бесконечно ласковы и заботятся обо мне, и им в то же время есть помощь от моего «участия» в хозяйстве. Когда вы приедете, то сначала будете жить тут и есть, вероятно, тоже туг, а потом можно будет нанять комнату, какую тебе захочется — институт устроит и нахождение ее, и ордер, и прописку — я один не искал себе отдельного жилища, пока вы не приедете. Еды здесь сколько хочешь, только дорогая, но при толковом хозяйничании можно есть достаточно и разнообразно. Базар в старом городе завален всякой едой (молоко, фрукты, овощи и т. д.).

3. Я был вынужден ехать сразу вслед за институтом, так как институт не успел из-за спешной эвакуации оформить мои

документы (так же, как и других, вернувшихся из ополчения). А мои документы все пропали вместе со штабом нашей дивизии во время немецкого окружения за Вязьмой. Сейчас я уже получил новый (трехмесячный пока) паспорт и на днях должен получить военный билет. Как будут в дальнейшем мои военные дела — не совсем представляю — покуда что институт вернул меня из ополчения и будет доставать броню или отсрочку, как понадобится. Но, может быть, меня пока и не будут призывать (из-за здоровья и работы в институте) — не знаю. Как бы то ни было, институт будет оформлять так или иначе возможность для меня работать в институте, а если даже потом будет как- нибудь по — другому — тогда ты будешь читать лекции вместо меня, только и всего.

Все это лучше гораздо, чем я мог ожидать, когда вернулся в Москву и ехал сюда — куда глаза глядят, ничего не представляя о своей будущей жизни!

Меня особенно трогает отношение людей, даже малознакомых, как многие, в конце концов, в институте. С помощью института можно будет устроить очень многое из бытовых и материальных сторон здешнего существования. Но главное то, что мы здесь будем среди не только знакомых, но и близких людей. В первую очередь, конечно, Соня с матерью и Фаворские, но также и многие мои студенты, в особенности бывшие со мною вместе, и многие художники. Здесь оказался, к моему большому удовольствию, Лазарь Рempель, который живет здесь уже 4 года — с ним я провожу много времени, и он очень мне нравится (они уже успели с Владимиром Андреевичем тоже подружиться!). Тут вообще масса знакомых людей: М. П.Кристи, Б. Н.Замошкин, О. ИЛаврова, ПД. Покаржевский, К. Н.Истомин, скульптор А. Т. Матвеев (лучший и крупнейший советский скульптор), скульптор С. Рабинович, художники Ржезников, Хазанов, Вильковир и т. д. На днях должны приехать Дейнека, Осьмеркин, Шегаль. Может быть, и молчание Виктора Никитича нужно понимать так, что он уже едет сюда? (Здесь в этом уверены, хотя я не верю).

Второе — город. Трудно представить себе что-либо красивее, оригинальнее, ярче! И природа, и старая архитектура, и восточный быт действуют на душу, как какой-то целительный бальзам, так все это хорошо для глаз. Тут тепло: снег больше двух дней не лежит (два раза был), а потом снова тепло, жуки и муравьи вылезают на солнце, трава зеленая, небо лазоревое, в шубе — жарко, нельзя надевать. И для тебя, и для Машукушки так хорошо будет приехать в тепло (даже если во время приезда будет снег — это на минуту!) Машукушка тут вылечится от всех

своих фурункулов. Так хочется поскорее вас увидеть здесь! Так хочется, чтобы письмо уже не застало тебя в Пензе, чтобы ты и Машенька уже ехали сюда, в Самарканд! Я совсем не пойму, что из моих писем ты получила. Я писал из Свердловска, очень ласковые, мне жалко, если не дошли во время. Теперь все равно, скорее, скорее приезжайте сами!

В Москву институт послал броню на комнату, через Всесоюзный Комитет по делам искусств в Куйбышеве. Там, верно, еше не получили (в домоуправлении). Но комнаты, когда нужно будет возвращаться в Москву, можно будет просить и другие — м. б., даже так будет лучше, только бы вещи и книги не растащили. Я пошлю сегодня телеграмму Дусе (т. к. Лазаревы не отвечают — я им уже не раз писал об этом), чтобы она присмотрела за тем, чтобы все, что можно куда-нибудь перенесли (м. б., к ней, к Лазаревым, к Вере Степановне?), а также пошли телеграмму и Олимпиаде Ивановне (Андреева — это ведь ее фамилия? Я не знал ее фамилию)[20]. Но это, я думаю как-нибудь может быть уже и сделано — ведь должны же были сделать какую — ни- будь опись или акт, когда занимали комнаты.

Самое важное — чтобы ты и Машукушка были здоровы, чтобы вам легко далось путешествие, чтобы оно было сделано как можно скорее, чтобы вы поскорее здесь отогрелись, наелись, вылечились, отдохнули, Наташенька и Машукушка мои самые любимые, драгоценные! Целую вас бесконечное число раз крепко — крепко! Скорее приезжайте. А.

Это было первое известие от папы! Почему-то это письмо из Самарканда обогнало его письма из Свердловска. Это было какое-то радостное, неслыханное чудо: папа жив, папа ждет нас в Самарканде, сказочно — прекрасном, *теплом!* (Обо всем негативном, что он встретил тогда в Самарканде, отец умолчал.) Тотчас же начались сборы. Ехали мы до Самарканда долго, чуть ли не месяц — в Ташкент приехали 19 января 1942 года. Мне в этот день исполнилось 11 лет. Мама подарила мне чудесную узбекскую тюбетейку, но главным подарком оставалась скорая встреча с папой.

Я узнал, что Московский художественный институт расположился в двух медрессе на Регистане. Я приехал туда и каким-то вдохновением решил прежде всего явиться к Владимиру Андреевичу Фаворскому. Он обитал в маленькой каменной, без окон и с простым проемом в толстой стене вместо двери, худжре (монастырской келье) в медрессе Тилля — Кари с женой Марией Владимировной, младшим сыном Ваней и дочерью Машей (которая года на три была старше моей дочери Маши). Владимир Андреевич нисколько не удивился моему появлению: он просто

взял два чемодана, поставил их на широком низком пороге, ведущем в худжру и сказал, что это мое место в их доме. На этих двух чемоданах Фаворского я и жил довольно долгое время. И он тут же накормил меня обедом. От него я пошел в медрессе Шир — Дор, где разместилось институтское начальство, многие профессора и студенты. Я сразу узнал, что Художественный институт вовсе не уехал из Москвы в первых числах октября — институт во главе с Сергеем Васильевичем Герасимовым уехал из Москвы только в середине этого месяца (кажется, 15–го числа), и приехал в Самарканд немного раньше меня. А в том эшелоне, который я так неудачно пытался догнать, уехали Горощенко, Лейзеров, Денисов и еще кто-то со своими семьями и всем своим имуществом, включая мебель, прихватив с собой шестерых наиболее бойких студентов (включая Костю Максимова) и старикашку Моора, когда-то известного плакатиста, превратившегося ныне в беспробудного пьяницу. Поведение партийного институтского начальства во время эвакуации из Москвы ничем не отличалось от его же поведения в момент записи в ополчение.

Наконец я пошел к Горощенко (Грабарь все еще был на Кавказе). Я дал ему мое удостоверение, написанное по приказу Солодовникова. Прочтя его, он скривил физиономию в очень кислой улыбке и начал молча записывать меня в какую-то толстую конторскую книгу. Он задал мне только один вопрос: «Еврей?» Я очень удивился — разве в моем имени и фамилии есть что-нибудь, напоминающее имена потомков царя Соломона Мудрейшего? Господин Горощенко, кроме всех прочих своих добродетелей, был антисемитом.

Мне пришлось в моей жизни встречать людей похуже этого «профессора», но в них не было, все же, такой мелкой пакости, как в этом почти гротескном персонаже. Но за время моего пребывания в Самарканде в 1941–1944 годах мои отношения с ним свелись лишь к двум трехминутным разговорам — я старался держаться от него как можно дальше. И на этом он выбыл из моей жизни.

Истинными героями этого важного периода моей жизни, кроме жены, дочери и матери, были чудесные художники — В. А.Фаворский, С. В.Герасимов, Н. П.Ульянов, А. Т.Матвеев, мой давний близкий друг Н. Н. Пунин, так доброжелательно относившиеся ко мне московские и ленинградские студенты, наша добрейшая соседка по дому, в котором мы обитали, — Ф. К.Бирманова, доктор Э. Я. Бернат, лечившая меня в больнице. Наша милая рыжая кошка. Героем был и сам город Самарканд с его садами, с его дивной архитектурой времен Тимура и

Улугбека.

Но о них рассказ особый.

В конце января Наташа и Маша приехали в Самарканд. Мы нашли прибежище в скромном маленьком глинобитном одноэтажном домике на окраине Нового города, в семи километрах от Старого города, то есть Регистана, где обосновался мой институт. Я каждый день проделывал этот семикилометровый путь туда и обратно.

Наш дом состоял лишь из двух комнат, разделенных маленькой прихожей, с небольшим, обнесенным плетнем пустым двором перед домом. Этот двор в зимние дожди превращался в почти непроходимое болото. В комнате направо от прихожей жила семья беженцев с занятой немцами Украины, из Николаева: Ефим Яковлевич Бирманов, грубый и совершенно некультурный человек, но превосходный зубной техник, ставивший богатым узбекам и таджикам золотые коронки на здоровые зубы и хорошо зарабатывавший; его жена Фрида Константиновна, ангельской души, готовая на любую помощь и услугу, с которой у нас сразу установились самые сердечные отношения, и двое детей — сын — подросток Костя, которого в семнадцать лет, сразу по окончании школы, призвали на краткие лейтенантские курсы и отправили под Сталинград, где он пропал без вести; и маленькая дочь Яна, которой было лет пять, не больше. Кроме того, имелась мать Ефима Яковлевича, тощая и очень злобная старуха, которая круглый день сидела на кровати, приставленной к дальней стене узенькой прихожей. Эта старуха не разговаривала ни с кем, кроме своего сына, но их разговоры немедленно превращались в шумную свару, где доведенный до бешенства и плохо говоривший по — русски Ефим Яковлевич вопил на свою мать: «Ты Гитлер! Ты болван!» — а на слова Кости, что он ненавидит бабушку, возражал: «А кто ее да навидит?» Бирмановы держали, видимо в качестве возможного провианта, молодого барана по имени Борька, каковой был привязан за веревку у входа в дом. Старуха, чтобы подразнить сына, всякий раз, как к нему приходили клиенты, разыгрывала голодовку — подбирала недоеденные Борькой листья капусты и демонстративно их жевала, вздыхая, что дети ее не кормят и ей приходится есть капусту «из-под Борьки». Выражение «капуста из-под Борьки» долго жило в нашем доме как свидетельство всяческого притворства.

Этот баран доставлял много хлопот. Например, такая картина: я один дома, у Бирмановых никого нет, кроме старухи, а к Ефиму Яковлевичу пришли два толстых пожилых узбека, которые решили его дожидаться и уселись на лавку у двери в дом. Они привели с собой огромную пастушью овчарку, лохматую

и лопоухую, очень мрачного вида, она сначала молчала, потом вдруг решила истребить барана и с рычанием на него набросилась. Он в ужасе сорвался с веревки и стал описывать стремительные круги вокруг двора (калитка была закрыта), а собака за ним. Услышав шум, я вышел из дому на мокрый после дождя двор, схватил палку и бросился за собакой, но на моих ногах немедленно образовались два глиняных шара и мне поспевать за бараном и его врагом стало невозможно. А два толстых дурака сидят на лавке и поют во всю глотку. Я набросился на них, потребовал моментального ухода вместе с собакой, они испугались моего грозного вида и убежали.

С Ефимом Яковлевичем и его матерью у нас никаких отношений не образовалось, а Фрида Константиновна на всю жизнь осталась нашим верным другом. Сейчас она в Израиле, очень старая.

Еще до приезда Наташи и Маши я попробовал поговорить с Горощенко, возглавлявшим институт по случаю того, что И. Э. Грабарь все еще оставался в Тбилиси — не могу ли я получить худжру на Регистане? Горощенко ответил мне, что, как доцент, я имею право получить полхурджры пополам с другим доцентом на втором этаже Шир — Дора. Я сказал, что из-за отмороженной ноги не могу взобраться по очень крутым каменным ступеням на второй этаж Шир- Дора, а главное — хочу выписать жену и дочь и мне нужно отдельное помещение. Горощенко сказал, что ничего другого мне не полагается, и я ушел. Это, после первой встречи, был мой первый из двух разговоров с Горощенко, произошедших за все мое пребывание в Самарканде. Я сторонился этого человека, зная, что он меня ненавидит и готов сделать мне любую подлость.

Я сам был виноват в том, что создал себе такого лютого врага. Незадолго до войны произошла дипломная защита студентов — графиков — первая защита вообще со дня возрождения Московского художественного института в 1935 году. Один из дипломников сделал в качестве дипломной работы большую репродукционную гравюру с картины Рубенса «Похищение дочерей Левкипа». Горощенко выступил с хвалебной речью по поводу этой гравюры, но несколько раз назвал ее «Похищением сабинянок». Я, присутствовавший на защите, не удержался, и когда он в десятый раз назвал гравюру «Похищение сабинянок», прервал его и сказал: «Это не сабинянки, а дочери Левкипа». Горощенко возмущенно вскипел: «Что за чушь вы несете, какие такие дочери Левкипа?» Но Виктор Никитич Лазарев сказал, что я совершенно прав. И Горощенко не простил мне такого неожиданного разоблачения его невежества. Когда

началась война, он попытался спровадить меня на войну, выдав мне ложную справку, что я вовсе не доцент института, а всего лишь преподаватель, а потом совершенно явно поручил Денисову позвонить только мне одному о явке на уход в ополчение 6 июля 1941 года, куда я и явился один из всего профессорско — преподавательского состава института.

Во время осенней эвакуации из Москвы Горощенко и его компания, образовавшие плакатную мастерскую во главе с Моором, обманным путем получили эшелон якобы для всего Художественного института. Уехали (причем на час раньше объявленного срока) только участники этой халтурной плакатной мастерской. И приехав в Самарканд, успели убедить местное начальство, что правительство распорядилось уберечь и сохранить именно эту сверхважную мастерскую, поэтому никаких учебных занятий не было до самого лета 1942 года, студенты как умели зарабатывали на жизнь по окрестным колхозам, — кому-то это удавалось, кто-то голодал. Институт относился к этому с полным пренебрежением, организованное Денисовым (заместителем Грабаря по хозяйственной части) питание было чистейшим издевательством: вместо обеда предлагалась вскипяченная и ничем не заправленная вода — без мяса, без масла, без овощей, — в которой плавал десяток чечевичных зернышек. Я, Наташа и Маша сильно голодали — у меня в конце концов сделалась такая дистрофия, что безболезненно выпали все зубы — кроме двух, сохранившихся до моей старости. Для нас оказался необыкновенным праздником день, когда трое моих студентов — Поляков, Суздальцев и Мещанинов — устроили нам званый обед, самый обычный и скромный, но показавшийся нам царским! За всю жизнь в Самарканде это был единственный такой необыкновенный день.

Летом в Самарканд приехал из Томска заместитель председателя Комитета по делам искусств Солодовников и заявил руководству института, что институт перевели в Самарканд с целью сохранить культурные кадры и продолжать учить студентов, а не заниматься никому не нужной плакатной халтурой. Солодовников назначил Сергея Васильевича Герасимова ответственным руководителем института. И на другой же день Сергей Васильевич закрыл плакатную мастерскую, занимавшуюся очень прибыльной для ее членов, но бесстыдно бездарной деятельностью, и засадил студентов — живописцев за писание дипломных картин, а прочие курсы — за каждодневные занятия и слушание моих лекций по всеобщей истории искусств. Я стал читать всем четырем курсам, так что пришлось бывать на Регистане каждый день. Я читал свои лекции, расхаживая вдоль

портала медрессе Улугбека на Регистане, а студенты сидели в несколько рядов на бревнах, привезенных перед войной для реставрации этого замечательного полуразрушенного медрессе. Трудно было с показом произведений искусства, о которых я говорил в своих лекциях — у меня ничего не было, кроме немногих книг, найденных в городской библиотеке. Но я читал с большим увлечением, и это в какой-то мере компенсировало скудость изобразительного ряда.

Осенью приехал Грабарь, и в самом конце года состоялась защита дипломных работ студентов — живописцев. В Самарканде в то время сосредоточилось очень большое число художников, как связанных с переведенными в Самарканд учебными заведениями (кроме московского института, там были ленинградская Академия художеств и разрозненные остатки киевского и харьковского институтов), так и не связанных. Говорилось в шутку, что заполненные густой толпой кривые улицы Старого города состоят из ютящихся в глухих углах Старого города беженцев с Украины и из Белоруссии, из солдат польской армии генерала Андерса, по дороге в Тегеран застрявшей в Самарканде, и из студентов всех главных художественных вузов страны. Поэтому дипломная защита привлекла огромную аудиторию и вышла очень торжественной. Мне и Николаю Николаевичу Пунину выпала честь поделить пополам работу официальных оппонентов.

Но началась защита не совсем удачно. Приехавший с Кавказа Грабарь, который переписывался с Денисовым и получал от него, мягко выражаясь, не вполне точную информацию, выступил со вступительной речью, что отроду на Руси никогда не было такой удивительной и восхитительной дипломной защиты, что собравшиеся зрители увидят истинные шедевры искусства, сработанные руками молодых людей. И после этой пышной речи вынесли первую картину — «Отправление на фронт первой узбекской дивизии» Кости Максимова, обожаемого любимца Горощенко и прочего партийного институтского начальства. И в ответ — гробовое молчание! Грабарь не знал, а все присутствующие знали, что с этой дивизией получился грандиозный конфуз — что при первой же встрече с немцами она позорно бежала и тотчас была расформирована. Узбеки в массе своей вообще считали шедшую войну с Гитлером для себя совершенно посторонней и участвовать в ней не желали. А Максимов изобразил торжественные проводы дивизии на фоне Регистана, с девицами в белых платьях, букетами цветов и прочей показухой. Фасад Шир — Дора во всю ширину огромного холста был написан очень плохо, с полным искажением его цвета, в

каких-то рыжих тонах. Зато с особенной «законченностью» в центре первого плана был изображен весьма душещипательный эпизод: седобородый старец вручает молодому воину старинный кинжал. Кажется, этим кинжалом должен был быть заколот Гитлер. Выдуманную сказку подали как благородную истину — картина была идеальным образцом официального «сталинского социалистического реализма», давно набиравшего силу перед своим пышным цветением в конце сороковых и пятидесятых годов.

Речь самого Кости Максимова ничему не помогла. Лунин промямлил что-то невнятное, не желая сказать об этой картине ни единого доброго слова. В огромной толпе, сидевшей в зале, открыто выражалось резко отрицательное отношение к работе Максимова — слишком разителен был контраст между восторженной пышностью речи Грабаря и не менее пышной, но очень уж наглой ложью Максимова. Казалось, покачнулась вообще вся репутация этой дипломной защиты. Но спасла положение, круто переломив его в хорошую сторону, вторая картина, вынесенная перед взоры зрителей и встреченная бурными и долгими аплодисментами. Это была действительно очень хорошая картина — «Чапаев» Виктора Цыплакова. Это была чистейшая герасимовская школа, прямо противоположная насаждавшейся сверху официальной «соцреалистической» — натуралистически «законченной» в каждой малейшей детали, дабы придать абсолютную убедительность любой самой дикой неправде. Цыплакову предложили сказать речь, он встал, понурив голову, постоял молча, махнул рукой и сел — и эта скромность была вознаграждена снова бурными и долгими аплодисментами. Так что я мог совершенно честно расхвалить в своей оппонентской речи эту картину. В картине Цыплакова «Чапаев» был изображен прелестный лирический весенний среднерусский пейзаж, причем целиком по памяти — увидеть такой пейзаж в Самарканде было невозможно. Это произвело большое впечатление на зрителей, единодушно откликнувшихся на сказанные мною слова. Картина Цыплакова, искренняя, правдивая и красивая, резко углубила жестокий провал Максимова и с ним вместе его институтских партийных покровителей.

Цыплаков был вообще очень талантливым художником, чья судьба, к сожалению, пришлась на самые худшие и тяжелые времена для русского искусства. Он писал очень хорошие этюды с натуры и вынужден был принимать участие в лживых «показушных» официальных картинах, исполненных «бригадным методом» и гарантирующих присуждение сталинских премий. В Самарканде он написал очень хороший большой этюд «Площадь

за Регистаном», который подарил мне. Он писал его два дня — 31 декабря 1941 и 2 января 1942 года, после чего милиционер его прогнал. Цыплаков в Москве через много лет приходил ко мне, смотрел на свой этюд, мотал головой и предлагал мне обменять его на какую-нибудь другую его работу. Но я на это не согласился, только дал этот этюд на устроенную в Академии художеств персональную выставку Цыплакова, и эта вещь произвела должное сильное впечатление.

После Цыплакова доверие к высокому качеству дипломной защиты было восстановлено и в целом защита, продолжавшаяся несколько дней, прошла вполне успешно. Были неинтересные и посредственные работы, но явно преобладали хорошие, а иногда и блестящие, как дипломы Горлова и Дудника. И всюду выступало ясно благотворное влияние Сергея Васильевича, которому покорились все наиболее разумные и одаренные студенты. Лунина и меня Сергей Васильевич поблагодарил очень сердечно. После окончания защиты, в январе 1943 года, и Грабарь, и С. В. Герасимов, и ряд других профессоров, а также все студенты, защитившие дипломы, уехали в Москву, и институт снова остался на полный произвол Горощенко.

Конец 1942 года ознаменовался для нас с Наташей двумя очень важными событиями: краткой встречей с проезжавшими из Тбилиси в Ташкент Наташиными дядей и теткой Александром Борисовичем Гольденвейзером и Татьяной Борисовной Софиано и приездом с Урала в Самарканд и скорой смертью моей матери Юлии Николаевны Чегодаевой. Оба эти события ярко сохранились в моей памяти.

Александр Борисович и его сестра ехали в том же поезде, что и Грабарь, но в Самарканде из поезда не вышли, хотя поезд стоял довольно долго. Мы не знали точно, когда через Самарканд пройдет этот поезд, не знало и железнодорожное начальство. Из Красноводска в Ташкент шло много пассажирских и товарных поездов — тогда немцы дошли уже до Северного Кавказа, и была предпринята массовая эвакуация из кавказских республик. С благосклонного разрешения начальника самаркандского вокзала мы целую неделю, все втроем, прожили на перроне и уходили, лишь чтобы купить какой-нибудь еды — поезд мог прийти и глубокой ночью. Было начало сентября и еще тепло, так что это непрерывное пребывание на воздухе было вполне приятно. Наблюдать сложную и многоликую жизнь большого вокзала было очень интересно, хотя далеко не всегда весело: с проходивших поездов снимали больных людей, а то и мертвых. Перед зданием вокзала было много путей, и на них все время скапливалось много поездов, но все шли в одном направлении. Маша все время

волновалась, как мы узнаем нужный нам поезд, а Наташа успокаивала ее, говоря: «Ну в каком-нибудь вагоне наверное будет открытое окно и в нем будет торчать какой-нибудь Мясковский, и мы спросим у него, в каком вагоне Александр Борисович!»

Среди разных забавных или горестных эпизодов, представавших нашим глазам, запомнился особенно забавный с девушкой — трубочистом на крыше одного из вагонов поезда, долго стоявшего на первом пути у перрона. Она была одета в светлую блузку и мужские штаны, с военной пилоткой на коротко подстриженных волосах. Своей малоприятной работой, стоя у высокой трубы одного из вагонов, она занималась с профессиональным умением, четко и методично. Она была очень хороша собой, стройная и изящная. И знала это, принимая разные позы и оборачиваясь, чтобы проверить их эффект. Она напоминала Петера в исполнении Франчески Гааль, и смотреть на нее было очень приятно. На путях, ближних к перрону, появилась, вынырнув откуда-то из-под дальних товарных поездов, толстая тетка в платочке, повязанном под подбородком, с большим узлом за плечами — явная спекулянтка. И она действительно тут же, на путях, стала выторговывать старые штаны у худого пожилого человека, предложившего ей эту покупку. Она терла и мяла эти несчастные штаны, смотрела их на свет, споря о цене. Девушка, наблюдавшая эту возню с крыши своего вагона, сказала: «Будет тебе блох распускать!» Тетка грубо огрызнулась, и тогда девушка спокойно и неторопливо (прошу прощения за неполное цитирование) обратилась к толстой тетке: «Иди-ка ты туда-то и туда-то…» Тетка разинула рот и остолбенело уставилась на девушку, а потом швырнула старые штаны наземь, подхватила свой узел и умчалась прочь, ныряя под буфера дальних вагонов. Улыбающаяся и подбоченившаяся девушка стояла, явно радуясь своей победе над противной теткой, и обернулась к нам посмотреть, как мы реагируем на происшедший краткий диалог. Нам он очень понравился.

На седьмой день наконец появился наш поезд. Он медленно подполз к вокзалу, и все получилось, в точности как предсказывала Наташа: в первом же вагоне было открыто одно окно, и в этом окне «торчал» Мясковский, и мы спросили, где находится Александр Борисович, и он ответил: «В следующем вагоне!» И мы побежали туда и просидели, беседуя с Александром Борисовичем и Татьяной Борисовной, пока поезд стоял на самаркандском вокзале.

Как хорошо помню я это вокзальное сидение! До сих пор стоят в глазах и описанная папой прелестная девчонка на крыше

вагона, и раненый молодой матрос — вся нижняя часть лица была у него завешана марлей. Он сошел с поезда и явно кого-то ждал, бледный как смерть, метался по перрону взад и вперед, не находя себе места. И вдруг в конце перрона появилась девушка — она неслась, летела ему навстречу. Все, бывшие на вокзале, вздохнули с облегчением. Вижу грузную седую старуху — в крайнем изнеможении, она лежала у стены вокзала в тени, а внучек лет восьми собирал по перрону косточки от абрикосов, колол их камнем и приносил бабушке ядрышки…

Мама моя приехала с Урала, куда она уехала из Москвы вместе с моей сестрой и ее маленькими детьми, очень больная и совершенно истощенная постоянным недоеданием, фактически голодовкой. Сестра со своими детьми поселилась по соседству и мама моя с ними. Она все время радовалась встрече с нами, ни слова не говорила о своем физическом состоянии. Она прожила у нас лишь месяц и умерла совершенно спокойно, похоже, просто во сне. О ее смерти и похоронах я уже рассказал в маминой биографии в первой части моих воспоминаний. Здесь повторю лишь то, что на похороны к нам пришел из Старого города только один Владимир Андреевич Фаворский.

На похороны моей мамы Владимир Андреевич пришел не случайно. Среди всех многочисленных московских, ленинградских, украинских художников, собравшихся тогда в Самарканде, он был мне самым близким и бесконечно дорогим человеком. И эта привязанность была взаимная. Свое очень доброе отношение ко мне Владимир Андрее — Князь Чегодаев вич полностью перенес на Наташу и Машу. Я думаю, его трогало мое глубочайшее преклонение перед ним и он был благодарен мне за действенную защиту его искусства от открытых врагов вроде Сидорова, Кравченко, Ивана Павлова и др. Ведь именно я в самом начале тридцатых годов устроил ему необычайно нарядную отдельную маленькую комнату, привлекшую всеобщее внимание, на юбилейной выставке в конце 1932 года в Русском музее. И в своих статьях 1933–1935–го и последующих годов я безоговорочно признавал его величайшим мастером советской графики. Именно за эту защиту и пропаганду Фаворского на меня писали политические доносы в ЦК партии Сидоров, Кравченко, Староносов, а позднее Кацман публично обозвал «врагом народа». Следует помнить, что в 1929 году работавшая в ВОКСе жена Кравченко Ксения Степановна, отправляя в Нью — Йорк выставку советской гравюры, включила в нее «целых» пять работ Фаворского и «всего» пятьдесят своего мужа. Следует помнить, что в 1938 году появилась разгромная по адресу Фаворского в журнале «Искусство» статья Кауфмана и Мальцевой и в газете

«Известия» статья о «зловредной формалистической критике, приносящей страшный вред советскому искусству», где названы были три имени: А. Эфрос, А. Чегодаев и Э. Викторов (псевдоним Виктора Эльконина). Работа Фаворского шла никак не в идиллически мирной обстановке, которая после войны стала еще много хуже. Самарканд был спокойной для его работы паузой в постоянной грубой травле.

Владимир Андреевич помог мне уложить маму в гроб и вместе со мной и Наташей шел за медленно ехавшим извозчиком все семь километров до Старого города, где находилось кладбище. А когда могила была зарыта, он ушел к себе на Регистан, взяв с собой Машу.

Но если для работы Самарканд представлял время, спокойное от бесконечных нападений, то историческое время создало у Владимира Андреевича очень тяжелое душевное состояние. Оба его сына ушли на войну (и оба с нее не вернулись). Старший, Никита, уже в самом начале войны, в июле 1941 года, ушел в ополчение — и пропал без вести. Младшего, Ваню, мобилизовали в Самарканде, и накануне его отъезда я видел, как его родители оба рисовали своего сына. Он воевал долго и уже в конце войны был убит в Восточной Пруссии.

Напряженная, упорная, каждодневная творческая работа была для Владимира Андреевича защитой от тоски и тревоги. Он успел сделать за не очень долгое пребывание в Самарканде множество разнообразных художественных произведений — рисунков, акварелей, линогравюр, сделал даже две картины иконным способом по левкасу. Я смог в 1943 году устроить выставку его новых работ, сделанных только в эвакуации, и выставку совсем не маленькую. Я напечатал о ней статью в самаркандской газете. Из этих новых творений особенно выделяется вырезанная на линолеуме и ставшая одной из самых прославленных работ Фаворского гравюра «Ослики», изображающая стайку кротко и покорно бредущих осликов, несущих на себе наездников и поклажу — и по контрасту с ними, внизу ленту фриза, срисованного с фриза, окружающего верхнюю часть сассандидского глиняного кувшина, обломок которого был найден Фаворским на дотимуровском городище Афросиабе, где в кружках дано несколько раз повторяющееся изображение вставшего на дыбы и дико ревущего священного осла древней богини — грозного предка нынешних мирных осликов.

Усердный творческий труд Владимира Андреевича особенно примечателен при том, что ему приходилось выполнять почти всю домашнюю работу. Мария Владимировна была больна и слаба, очень угнетена опасностью, угрожающей ее сыновьям, и

мало что могла делать. После она так и не оправилась от потрясения гибелью обоих своих сыновей. И Владимира Андреевича постоянно можно было застать за совсем иным, отнюдь не высоко — творческим занятием. В моих хождениях в Старый город я каждый раз обязательно заходил к Фаворскому и видел всю его повседневную жизнь. Скажем, выхожу я во двор Тилля — Кари, взглядываю направо и вижу: Владимир Андреевич сидит на пороге своей худжры и читает книгу, держа ее в левой руке, а правой мешает кипящую на мангале кашу. У профессоров института (кроме партийно — номенклатурной элиты, разумеется) питание было, как и у студентов, очень скудное. И чтобы затопить мангал — самодельную печку, сделанную из ведра, обложенного внутри глиной и с пробитым внизу отверстием для подкладывания топлива, — нужно было тоже немало потрудиться, нарубив и нащепав дров, чем Владимир Андреевич и занимался методично и точно, как и всеми прочими делами.

Маша постоянно убегала в Старый город, коротко сообщая мне: «Я у Фаворских». Она часто жила у них целыми неделями. Мы считали, что там она как у Христа за пазухой. Только вернувшись в Москву, Маша рассказала, что это было не совсем так. Обе Маши, моя и Фаворская, потихоньку от Владимира Андреевича иногда впадали в безудержное легкомыслие — играли вместе с другими ребятами в казаки — разбойники на верхушке арки Шир — Дора! То есть на длинной выщербленной каменной полосе, ничем не огороженной и шириной не более трех метров! Из все игр, изобретенных человечеством, эти казаки — разбойники меньше всего подходили для данного случая. А еще к тому же, набегавшись (ловя друг друга), ребята усаживались отдохнуть на край площадки, свесив ноги над аркой ШирДора на высоте не ниже двенадцатиэтажного дома. Присущая Маше способность ничего не бояться, быть может, и сложилась в этом безумном развлечении на верхушке Шир-Дора. И все-таки, находясь «у Фаворских», Маша получала самое высокое гуманистическое воспитание, какое только можно было пожелать.

Моим добрым другом был и Сергей Васильевич Герасимов. Я познакомился с ним в 1932 году в Ленинграде, где он был, как и я, устроителем юбилейной выставки «Художники РСФСР за 15 лет». Взаимная симпатия осталась — в 1936 году я помогал ему устраивать его персональную выставку в Музее изобразительных искусств, а он в свой черед помогал мне устраивать придуманную мною и Марией Зосимовной Холодовской выставку книжной иллюстрации за пять лет в том же году и в том же Белом зале музея, и одним из главных украшений этой выставки были два

стенда с его замечательными цветными и черными иллюстрациями к поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Очень близкими наши отношения стали в последние годы жизни Сергея Васильевича — 1957–1964–м. В Самарканде он жил в хорошем доме в Новом городе и не раз приглашал меня посмотреть только что написанные живописные работы. Среди них были прекрасные: маленький квадратный пейзаж «Двор Шир — Дора», подлинная жемчужина всей его пейзажной живописи, или ярко выразительный портрет художника Штильмана — очень милого и привлекательного профессора Киевского художественного института. Когда приехал И. Э. Грабарь, Сергей Васильевич пригласил его и меня посмотреть оконченную им большую картину «Мать партизана» — мать — старуха была изображена на ней худой и изможденной, бедно одетой — как на сохранившемся подготовительном этюде, что находится в Русском музее, а немец — фашист грубым, толстым, наглым. Картина произвела на нас сильное впечатление — большие картины очень редко получались у Сергея Васильевича удачными. В Москве ему пришлось переделать, почти заново переписать картину по требованию какого-то выставочного начальства, не желавшего оплачивать картину в ее первозданном виде: старуха была омоложена, нарядно одета, немец сделан маленьким, плюгавым. Когда в Москве Грабарь пришел посмотреть эту вконец испорченную картину, он только воскликнул: «Какое кощунство!» — и убежал. Я тогда не знал, что главной работой Сергея Васильевича, сделанной в Самарканде, была обширная серия черных акварелей «Страницы жизни» — воспоминания о его жизни в Можайске в детстве. Эту серию он никому не показывал и о ней не говорил, и лишь долго спустя я увидел эти три скромные конторские книги с плохой бумагой, отобрал несколько десятков лучших рисунков и издал со своей большой статьей о Сергее Васильевиче в Самарканде. Когда эта папка очень большого формата с отдельными репродукциями вышла в свет, мне позвонил Денисов, сказавший: «Вы напрасно не посоветовались со мной, прежде чем печатать эту статью». Я спросил: «А в чем же дело?» — «А вот ваши рассказы о жизни в Самарканде вызвали возмущение у Кугача и Нечитайло». — «А какое мне до них дело?» — «Но ваши рассказы не соответствуют официальным документам». — «Но я сам был в Самарканде и прекрасно знаю, как стряпались эти официальные документы — грош им цена». — И повесил трубку. Всюду и везде партийное начальство стремилось скрыть неблаголепную правду под покровом лживого вымысла.

В Самарканде я очень подружился с Николаем Павловичем

Ульяновым. Я был знаком с ним давно, но особой близости тогда не было. Как вышло в Самарканде совсем иначе — не помню. Я уже рассказывал об этом — Ульянов приехал осенью 1942 года из Тбилиси вместе с Грабарем, и, так как не был связан с институтом, ему предоставили никуда не годную полуразрушенную худжру в Шир — Доре. Он привез с собой умирающую жену, художницу Глаголеву, и ее пришлось положить на голый каменный пол. Она скоро умерла, и Ульянов был в очень угнетенном состоянии. Я старался его ободрить и утешить, насколько это было возможно, и с этого началась очень сердечная дружба с этим замечательным художником. Приходя на Регистан, я стал каждый раз заходить к Ульянову, и ему это, по — видимому, было нужно и важно. Он стал усердно работать, и часто можно было видеть, как он сидит на самом солнцепеке посреди пыльной регистанской площади на маленькой табуретке перед мольбертом и пишет регистанскую архитектуру, а позади него полукругом сидит на земле большая компания мальчишек и собак, внимательно и тихо наблюдающих, как на его холсте загораются сияющие краски Шир — Дора. Иногда ему надоедало их присутствие, и он махал рукой, чтобы они ушли — они почтительно отодвигались немного подальше и не уходили.

Приехавшая с Ульяновым его помощница по театральному оформлению Вера Евгеньевна, ставшая после смерти Глаголевой второй женой Николая Павловича, в своих воспоминаниях о Самарканде написала: «Иногда заходил Андрей Дмитриевич Чегодаев», — написала ошибочно, потому что я заходил не «иногда», а каждый день, но она в Самарканде где-то работала и не могла меня видеть, так как я приходил в утренние часы, когда она была на работе.

Чтобы успокоить Ульянова по поводу его жилья, для житья негодного, Грабарь обещал предоставить ему благоустроенную деревянную «каюту», стоявшую посреди Шир — Дора, в которой обитал Моор, собиравшийся в январе уехать в Москву. Моор действительно уехал в Москву, но когда Ульянов пошел к этой «каюте», то нашел ее на замке. Он пошел к Горощенко узнать, в чем дело, и Горощенко величественно ответил ему, что эта «каюта» подобает ему, Горощенко, как руководителю института. Так, Ульянов до конца пребывания в Самарканде — до самого конца 1943 года — остался жить в своей полуразрушенной худжре.

Сложившаяся близкая дружба с Ульяновым только еще больше укрепилась в Москве. Раз я смог очень сильно и, надо сказать, эффективно ему помочь. Он написал большую картину «Константин Сергеевич Станиславский за работой» — прекрасный

портрет человека, которого знал очень близко и не раз для него работал (декорации к «Дням Турбиных», костюмы к «Мольеру»), Он дал этот портрет на очередную всесоюзную выставку, в Третьяковскую галерею. Там почему-то к нему отнеслись недружелюбно и так и не нашли для него места. Я, работая тогда в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и ведая там всей экспозицией и выставками, должен был устраивать каждый год филиал всесоюзной выставки; мне везли из Третьяковки все новые и новые картины, и их надо было включать в мою развеску, постоянно переделывая уже развешанные стены. Я много раз на день звонил в галерею Галушкиной, чего мне еще ждать, и каждый раз спрашивал: «Картину Ульянова устроили?» — и получал отрицательный ответ. Наконец, привезли ко мне и «Станиславского», я нашел для него самое удобное и выигрышное место. Накануне вернисажа приезжает Ворошилов, который считал себя знатоком искусства, с ним маршалы, генералы и президент новоявленной Академии художеств Александр Герасимов. Показываю выставку я, как хозяин и устроитель, подвожу к тем картинам, какие считаю нужным. Подвожу к картине Ульянова и говорю: «Это лучший портрет на этой выставке». Ворошилов был знаком со Станиславским, он в восхищении, маршалы поддакивают, и сам Александр Герасимов цедит: «Это лучший ученик Серова». Пошли дальше, а через час ко мне присылают из Кремля за «Станиславским» Ульянова — показать Сталину. Еще через час привезли обратно. Ульянов получил Сталинскую премию и тут же был избран членом — корреспондентом Академии художеств. Я, что называется, «утер нос» Третьяковской галерее.

В Самарканде я встречался и с удовольствием беседовал с двумя прекрасными художниками — Александром Терентьевичем Матвеевым и Константином Николаевичем Истоминым. Матвеев в Самарканде тосковал и не мог работать в чуждой и неблагоустроенной обстановке. Он говорил, что он «не холодный сапожник» и не может приспособиться к неудобствам эвакуационной жизни. А Истомин в Самарканде хворал и умер.

Должен помянуть добрым словом живописца Георгия Николаевича Никитина, председателя Самаркандского союза художников. Этот тонкий лирический пейзажист был очень добрым и благожелательным человеком, он всячески старался помогать всем, чем мог, приехавшим в Самарканд художникам. Несмотря на то, что у Самаркандского союза художников средств было немного, Никитин создал закупочную комиссию (я был ее членом), которая приобрела у разных художников их работы. В частности, были приобретены те две картины Фаворского,

которые я упоминал, — воображаемые портреты великих русских полководцев Суворова и Дмитрия Донского, эти картины с тех пор находятся в Самаркандском художественном музее. Никитин помог устроить выставку И. М. Лейзерову, скромному, но неплохому пейзажисту, профессору Московского художественного института, и издать небольшой каталог этой выставки, для которого я написал несколько доброжелательных страниц, а закупочная комиссия купила несколько его работ. Лейзеров был очень благодарен мне за эти страницы — видимо, это был единственный раз, когда о нем написали, и притом с добрыми пожеланиями, он этого не забыл.

Скажу немного и о тех художниках, которые были мне совершенно чужды, — о Грабаре, Мооре и Фальке.

Грабарь знал меня с моих университетских лет, потом мы встретились в Ленинграде в 1932 году на устройстве юбилейной выставки в Русском музее. Когда Кравченко написал на меня жалобу, что я не так его повесил на этой выставке (хотя я отвел для большого числа его маленьких гравюр целую большую стену), я обратился к И. Э. Грабарю, чтобы он меня защитил, так как ни я, ни Николай Николаевич Купреянов, устраивавшие необычайно изобильную московскую и ленинградскую графику, не распоряжались предоставлением зал для графики, — Грабарь сказал, что ничего не помнит, и защищать меня не стал. Когда в 1939 году Виктор Никитич Лазарев, профессор Московского художественного института, обратился к Грабарю (директору этого института) с тем, что ему нужен помощник, что дальше он обходиться без помощника не может и не станет, Грабарь спросил его: «Кого вы предлагаете?» Виктор Никитич сказал: «Чегодаева или Жидкова». Грабарь ответил: «Ну черт с вами, берите Чегодаева». Однако он, видимо, тогда относился ко мне с уважением, потому что совсем недавно мне сказал Петр Матвеевич Сысоев, в тридцатые годы бывший создателем и главным редактором очень хорошего журнала «Юный художник», что ему тогда Грабарь сказал: «Печатайте статьи Чегодаева, не меняя ни единого слова». Приехав в Самарканд, он пригласил меня посмотреть работы, созданные в Тбилиси, которые он разместил в новой пристройке к медрессе Улугбека, где в свое время размещалась плакатная мастерская, возглавляемая Моором и закрытая Сергеем Васильевичем Герасимовым. Эти кавказские работы Грабаря сплошь являлись необычайно шикарными портретами грузинских красавиц, в высшей степени салонными и безвкусными. Но Грабарь, показывая мне эти творения, раскрыл причину своего настороженного ко мне отношения: «Вот вы в своей статье о портрете в Большой советской энциклопедии даже

не упомянули моего имени, а я ведь первый портретист в советском искусстве после Нестерова». (Нестеров незадолго перед тем умер.) Я не мог разделить это самолюбование Грабаря, но ничего ему не сказал. В дальнейшей моей жизни никаких разговоров с Грабарем у меня не было.

С Моором я был знаком с давних пор, но очень издалека. В Самарканде я раз встретился с ним случайно в Старом городе, и он самым любезным образом стал звать меня пойти с ним в винную лавку и выпить молодого вина. Я сказал, что не пью, но он вцепился в меня и стал умолять откликнуться на его приглашение. Из вежливости мне пришлось уступить, и мы отправились в какую-то лавчонку, торговавшую молодым вином. Я выпил одну рюмку, и у меня сразу закружилась голова. А Моор выпил стакан, потом другой, третий, четвертый и после этого уже не мог держаться на ногах и все время стремился лечь на мостовую. Пришлось взять его прямо в охапку и с трудом тащить к нему домой на Регистан. Только тогда я понял, почему он так умолял меня пойти с ним — он знал, что один он никогда до дому не доберется. Как художник, он уже давно не существовал и жил за счет своей очень давней славы.

С Фальком я впервые встретился и познакомился в Самарканде. Но он, очевидно, обо мне что-то знал и весьма любезно пригласил вместе с Наташей прийти к нему в гости. Мы пришли, и Фальк стал нам показывать свои многочисленные парижские и самаркандские акварели. Я с первого взгляда был удивлен тем, что эти парижские и самаркандские акварели были как две капли воды похожи друг на друга и притом не были похожи ни на Париж, ни на Самарканд. Они были похожи на те безликие космополитические акварели, какие в изобилии печатал на рубеже нашего века английский журнал «Студио». Это был типичный образец творчества, поглощенного собственной персоной и абсолютно не интересующегося реальными признаками реальной жизни и ее многообразием. Мне было так неприятно смотреть эти мертвые, скучные и совершенно неинтересные вещи, что я мрачно молчал, а Наташа пыталась смягчить мое молчание повторением слова «интересно, интересно». Фальк понял, что я не могу попасть в число его пылких поклонников, и больше меня не приглашал. Когда собралось много народа на обсуждение устроенной мною выставки Фаворского, я во вступительной речи произнес такую чисто декоративную фразу, что «Самарканду повезло, что в нем одновременно оказались лучший советский живописец Сергей Герасимов, лучший советский скульптор Матвеев и лучший советский график Фаворский». И тогда жена Фалька подошла к

Наташе и спросила: «Это Андрей Дмитриевич всерьез сказал?» После этого обсуждения выставки Фаворского Фальк перестал со мной здороваться. Очевидно, я должен был произнести «лучший советский живописец Фальк». А я не произнес.

1943 год был очень труден и тяжел в материальном отношении. Мы голодали. У нас ничего не было такого, что можно продать, единственная ценная вещь — мои наручные часы — была продана еще в предыдущем году. А институт стал регулярно задерживать выдачу зарплаты. И наконец летом 1943 года не выдавал ее два месяца подряд.

Я пошел к Горощенко, и с ним состоялся мой второй — и самый примечательный из всех — разговор. Я вошел в арку Шир — Дора и во дворе увидел Горощенко, сидящего на складном стуле перед мооровской «каютой». Я попросил, нельзя ли получить хоть сколько-нибудь денег в счет задержанной зарплаты. Сказал, что мне нечего продавать и совершенно не на что жить. Горощенко весьма любезно мне ответил: «Знаете, в ограде мечети Биби — Ханым поспели ягоды шелковицы и в большом количестве падают на землю. Можно подбирать их и есть. И я так делаю». (Он сделал вид, что не знает, что ягоды шелковицы абсолютно не питательны.) Но тут наш разговор был прерван толстым, упитанным завхозом института Орловым, который сзади подошел к Горощенко и спросил: «Глеб Тимофеевич, я забыл, сколько вы заказывали мяса — двадцать килограммов или тридцать?» Горощенко помахал ручкой через плечо, сказав: «Потом, потом!» Но я не произнес больше ни слова, повернулся и, не прощаясь, ушел. Значит, этот прохвост задержал зарплату, потому что спекулировал мясом! Не мог же человек съесть в один день двадцать или тридцать килограммов мяса, да еще в нестерпимую июльскую жару и при полном отсутствии в Самарканде холодильников или погребов со льдом.

Это был последний в моей жизни разговор с Горощенко.

Мы только и думали о возвращении в Москву. А этот отъезд предполагался не раньше самого конца года. И как на грех в конце года тяжело заболела чем-то Наташа. Кто- то посоветовал мне пригласить знаменитого в Самарканде профессора Кусаева, директора бруцеллезной клиники. Я пошел к нему, он жил совсем близко от нас, но потребовал, чтобы я достал извозчика. Я с трудом сумел это сделать, и Кусаев приехал. Он быстро определил у Наташи типичный бруцеллез и предложил положить Наташу в его клинику. Это было осуществлено, но работавшие в клинике врачи никак не могли как следует определить этот бруцеллез, пока через две недели не обнаружили, что у Наташи нет никакого бруцеллеза, а есть самый обыкновенный брюшной

тиф. И Наташу спешно вернули домой. Но тут получилось, что этим брюшным тифом успели заразиться и я, и Маша. Помог И. М. Лейзеров, у которого были какие-то знакомства с находившейся в Самарканде Ленинградской Военно — медицинской академией, и нас обоих туда приняли. Ухаживать за больной Наташей взялась, конечно, наша соседка Фрида Константиновна. Самаркандская знаменитость профессор Кусаев оказался бесстыдным шарлатаном.

И у меня, и у Маши тиф был не тяжелым. Маша развлекала соседок по палате тем, что танцевала на своей кровати. А у меня в палате, кроме меня, было два человека: один очень пожилой молчаливый еврей и совсем молодой лейтенант Виктор Непобедимый, очень красивый и очень тяжело больной, что было в резком контрасте с его удивительным сочетанием имени и фамилии. Я пролежал в больнице примерно три недели (точно не помню). Когда моему соседу — лейтенанту стало легче, я стал развлекать его и другого соседа тем, что декламировал известные мне наизусть многочисленные стихотворения Пушкина, Тютчева, Фета, Блока, Пастернака, и они оба очень радовались этому. Когда я наконец собрался возвращаться домой, мой пожилой молчаливый сосед сказал: «Я стал поправляться от ваших стихов!» Я глубоко благодарен доктору Эсфири Яковлевне Бернат, так внимательно и заботливо опекавшей меня и Машу. Много лет спустя я написал ей в Ленинград и получил ответ.

Пока мы все трое хворали, институт уехал в Москву, оставив нас на попечение ленинградцев, так что мы прожили в Самарканде еще несколько месяцев в 1944 году (не могу сообразить, сколько месяцев). Но я стал читать лекции ленинградским студентам, а когда у них состоялась не слишком многолюдная дипломная защита, выступил единственным официальным оппонентом. Меня тронул незнакомый мне старичок — профессор, который спросил, когда окончилась дипломная защита: «Вы разрешите мне посмотреть ваши собственные живописные работы? — меня так поразила ваша точность в разборе тех дипломных работ, о которых вы говорили». Он был очень удивлен, когда я сказал, что я не живописец, а историк искусства. Видимо, он наслушался таких «историков искусства», которых «точность разбора» интересовала очень мало. Не понимаю, почему он не вспомнил Николая Николаевича Пунина, — должно быть, ему не пришлось его слышать, а у него эта «точность» была много лучше моей.

Когда Академия художеств собралась ехать в Москву (пока еще не домой), Наташу и Машу поместили в одном вагоне, а мне предоставили верхнюю полку в другом, в противоположном конце

состава. На соседней такой же гюлке лежал Пунин, и всю неделю, что шел поезд, мы могли сколько нам вздумается разговаривать. Я каждый день ходил к Наташе и Маше, а потом возвращался на свою полку. И хотя нельзя сказать, чтобы ехать было удобно — не было ни матрацев, ни подушек, ни одеял, — все же эта неделя была одной из самых насыщенных и увлекательных в моей жизни. Ах, какие это были разговоры! Пунин был подлинным мастером размышлений. Лишь малая их доля была им напечатана в его книгах и статьях. А по отношению ко мне он был бесконечно щедр и расточителен. Мне не удалось записать по памяти хотя бы самое важное — по приезде в Москву на меня сразу навалилась уйма работы: я остался доцентом Московского художественного института, вернулся в свой Музей изобразительных искусств имени Пушкина и стал аспирантом Академии наук во вновь созданном И. Э. Грабарем Институте истории искусств. Но эти беседы с Пуниным стали достойным завершением моей самаркандской эпопеи.

Мне осталось рассказать о четырех очень разных вещах, связанных с Самаркандом, для меня важных и мне дорогих.

Во — первых, однажды я встретил в Старом городе Лазаря Израилевича Рempеля. Он был в двадцатые годы студентом того же отделения теории и истории искусств, что и я, на курс или два моложе. Я был, конечно, с ним знаком, но никакой близости между нами не было. А эта встреча в Самарканде стала началом все возраставшей и углублявшейся с каждым десятилетием дружбы. В Самарканд Лазарь Рempель попал не по своей воле. Окончив университет, он занялся архитектурой и в середине тридцатых годов напечатал книгу о современной архитектуре Запада, в которой, в частности, описал и совершенно справедливо расхвалил новый южный район Рима — ЭУР. Эта книга была неосторожным шагом — как он посмел в те времена хвалить что-то, рожденное «разлагающимся капитализмом»? Один подлец написал донос (Поликарп Лебедев), другой напечатал разносную рецензию. В высших сферах сочли книгу Рempеля столь крамольной, что его сослали в Среднюю Азию — в Бухару и Самарканд, считавшиеся тогда глухой провинцией (слава Богу, не в лагерь!). В поисках средств к существованию он обратился к фотографии и зарабатывал ею, бродя по колхозам вокруг Бухары и Самарканда. И стал первоклассным фотографом. Но в своих хождениях по стране он продолжал наблюдать и изучать памятники архитектуры времен Тимура и Улугбека. И после войны, перебравшись в Ташкент и решив остаться там навсегда, он выступил с сенсационными открытиями, относящимися к структуре и значению геометрического орнамента, покрывавшего

стены средневековых мечетей и мавзолеев. Он стал одним из крупнейших и ведущих ученых — историков искусств в Узбекистане, наряду с Пугаченковой — главным специалистом в своей области, доктором искусствоведения, автором многих книг и статей. Мы стали переписываться, он приезжал в Москву, был не раз у нас на Николиной Горе (и сделал там серию лучших, какие у меня есть, фотографий меня, Маши, обоих мальчиков и трех наших собак). Но после долгой болезни умерла его жена, он остался в Ташкенте один, расхворался и наконец уехал в Москву к дочери. Болезнь сердца не позволила ему прожить спокойно конец жизни. Он был одним из ближайших моих друзей.

Второе, о чем я хотел сказать, это о посещении квартала бухарских евреев в Старом городе. Я знал об их существовании и однажды решил своими глазами убедиться в их необычности. Действительность превзошла мои ожидания. Я нашел этот квартал в самой середине Старого города, пройдя запутанную вязь кривых переулков. Я увидел величественных старцев с длинными седыми бородами в белоснежных одеждах до самой земли и поразительно красивых девушек в светло — синих одеждах, тоже до земли. У меня было чувство, что какая-то машина времени перенесла меня во времена Авраама и царя Соломона, что это полная жизни Библия, очевидно существующая вечно, невзирая на проходящие тысячелетия. Не знаю, уцелела ли эта живая Библия в годы «развитого социализма», осталась ли до сих пор в своем первозданном виде, но в моей памяти осталась крепко.

Третье, о чем я хотел рассказать, не может равняться ни с каким вневременным величием, но хранится в моей памяти с великой нежностью — это наша милая рыжая с белым кошка, жившая у нас до самого нашего отъезда. Откуда она взялась — не знаю; пришла и осталась. У нее не было никаких корыстных соображений, мы могли кормить ее мало и плохо, но она свободно гуляла вокруг дома и что-то находила. Она очень украшала нашу нелегкую жизнь в этом городе. Однажды она нас облагодетельствовала — где-то добыла и принесла нам в комнату большой кусок сырого мяса. Откуда она его позаимствовала? Так как она какую-то долю этого мяса съела и была сыта, то Наташа без особых угрызений совести взяла у кошки это мясо и сделала несколько котлет, что было в нашем доме весьма редким угощением. Один раз она нас очень напугала: залезла спать в рукав Наташиной куртки, а вылезая, ухитрилась вывернуть рукав наизнанку и завязнуть головой в подкладке, притом она свалилась с кровати и чуть не задохнулась — счастье, что мы вовремя заметили ее беду и освободили от нежданной ловушки.

Уезжая в Москву, мы оставили ее Фриде Константиновне. После войны Наташа и Маша не раз ездили в Николаев, и Фрида Константиновна рассказала, что, уезжая из Самарканда, оставила нашу кошку хорошей женщине, местной жительнице, жившей по соседству с нами, — той самой, в доме которой провела последний месяц своей жизни моя мама. У этой женщины, которую звали Мария Владимировна, был сын, ровесник и товарищ бирмановского мальчика, они вместе ушли на войну. Приходившие от сына Марии Владимировны письма вдруг оборвались, и она буквально сходила с ума, не зная, жив ли он. На нервной почве у нее повышалась температура чуть ли не до сорока — она приходила к больной Наташе, и у них оказывалась одинаковая температура. Наконец пришло письмо из госпиталя, куда он попал раненный, и она была на седьмом небе от счастья.

По контрасту со всеми самаркандскими красотами и необычайно сконденсированным величественным прошлым наша кошка была кусочком нежности и сердечной привязанности. Я могу считать достойными ее преемниками в нашем доме последующих кошек — кота Франциска и кошку Бастет (как назвал ее мой старший внук, египтолог Миша).

Наконец, четвертое и последнее — сам город Самарканд со своими садами и архитектурой, действительно одной из самых прекрасных в мире. Столь часто поминаемый мною Шир — Дор — это уже XVII век, время ослабления старых строгих традиций. Но памятники времен Тимура и Улугбека — это нечто подлинно прекрасное, — и мавзолей самого Тимура Гур — Эмир, и медрессе Улугбека на Регистане, и Шах — Зинда — длинная вереница мавзолеев на обрыве плато Афросиаба, и самое величественное из всего — Тимурова мечеть Биби — Ханым, даже в сильно разрушенном состоянии сохранившая свое величие. Время оставило от мечети Биби — Ханым достаточно, чтобы можно было легко представить себе ее царственный облик в те времена, когда она была построена. Один тогдашний поэт очень хорошо выразил это потрясающее впечатление в более чем величавых стихах. Говоря о Биби — Ханым, он сказал:

Ее купол был бы единственным,
Если б небо не было его повторением,
Ее арка не имела б себе равных,
Если бы Млечный путь не был ей парой.

Самарканд был постоянным фоном для всего в нем происходившего. Он был строгим камертоном для проверки звучания всего нарушившего его полутысячелетний покой. Я не

сомневаюсь, что он был очень польщен пребыванием в нем Фаворского. И был глубоко оскорблен совершенно недостойным присутствием Горощенко, Денисова, Моора, Кости Максимова.

Да, прекрасный величественный город. И все же в этом городе я чувствовал себя чужим. Чувствовал пришлым, этому городу абсолютно не нужным. Не могла помочь очень далекая монгольская основа моей крови, совсем заглушенная последующими приливами крови западной — русской, итальянской, греческой, немецкой, шведской. Не могло помочь и то, что мой далекий предок Джагатай (Чагадай) багатур получил во владение от своего отца Чингизхана именно Мавераннахр, местность между Амударьей и Сырдарьей, где расположены Бухара и Самарканд. Восток совсем вытеснен из моего сознания Западом и может изредка прорываться только в шутку. Так, когда в последний раз выбирали нового председателя Союза художников СССР, я сказал своему близкому другу Олегу Тимофеевичу Иванову, что, по — моему, следует выбрать Афанасия Осипова, якута, учившегося в Суриковском институте и, стало быть, моего ученика, прекрасного живописца и европейски образованного человека. Олег Тимофеевич усмехнулся и сказал: «Это в вас чингисхановская кровь заговорила». Но ведь и Осипов мне понравился именно тем, что при своем далеком восточном происхождении стал настоящим высококультурным европейцем!

Да, я чувствую себя дома в Москве, или в Петербурге, или в лучших городах на свете — в Париже, где я был три раза, или в Риме, где был два раза.

Моя очень краткая встреча с Самаркандом в 1960 году только подтвердила, что для меня Самарканд является достойной всяческого преклонения и восхищения, но посторонней моей душе экзотикой.

Мы вернулись в Москву в 1944 году. Наши комнаты в Плотниковой переулке были бережно сохранены Виктором Никитичем Лазаревым. Только все окна выбиты и шкаф, отделявший мою детскую кроватку, пробит осколком бомбы. Это случилось в ту ночь, когда был разбомблен Вахтанговский театр на Арбате, близко от нас.

По возвращении, я поступила в Московскую среднюю художественную школу. Папа и мама, оба, были приглашены И. Э. Грабарем в основанный им Институт искусствознания, тогда Академии Наук, в качестве аспирантов, хотя по возрасту и опыту работы не очень подходили для этой роли, но война спутала все карты. Отец вернулся в Музей изобразительных искусств, где проработал до конца 1949 года, когда музей был превращен в выставку подарков Сталину. Мама написала и защитила в 1948

году диссертацию о Яне Ван Эйке — успела благополучно защитить: началась «кампания» по борьбе с космополитизмом: маму выгнали из искусствоведческой секции МОСХа как «занимающуюся неактуальной проблематикой» (у нее были книги и статьи о Рембрандте, Рубенсе и пр.). Ее подруга, Наталия Александровна Гурвич, шутила после защиты, что мама благополучно спрыгнула на ходу с несущегося на всех парах поезда.

А отца в самом конце войны командировали в Германию. Этим эпизодом 1945 года он фактически закончил свои воспоминания.

Германия—1945

Командировка в Германию для сбора трофеев. Статья о судьбе трофейного искусства

В феврале 1945 года я был послан в Германию, на Первый украинский фронт в Силезию, — собирать трофеи. Отправляясь в Силезию, я знал, что в этой области Германии отроду не было художественных ценностей, и когда по приезде туда это подтвердилось, я сосредоточил свою работу на собирании книг по истории искусства. Я абсолютно не прикасался к городским библиотекам тех городов, которые постепенно занимали наши военные части, считая аморальным разорять то, что обращено к народу. Я интересовался только загородными виллами и замками или богатыми городскими особняками, сквозь которые прошли отступавшие немецкие части, за ними наши и где царил полный хаос, а никому не нужные книги валялись на полу, часто затоптанные чьими-то сапогами. Собранные мною книги я привез в Москву и передал в библиотеку своего музея.

Отца обрядили в офицерскую форму, сочли, что его званию доцента соответствует чин майора, и в таком виде отправили в Германию в компании с Сергеем Павловичем Григоровым (кажется, он был музейный работник) и Филипповым, старым театральным деятелем — когда-то он работал в Театре Революции, потом в течение ряда лет был директором ЦДРИ. Письма отца из Германии, конечно, достаточно сдержанные из-за цензуры, ярко характеризуют настроения русской интеллигенции в конце войны, ненависть в немцам и всему немецкому, тогда присущую русским людям едва ли не всем поголовно.

Из писем майора А. Д. Чегодаева

Среда 21/11–45

Наташенька, милая, любимая, моя маленькая!

Еду где-то между Брянском и Киевом и думаю о тебе и Машукушке. Мне так жалко было тебя вчера. Не надо так огорчаться и беспокоиться, ведь мое путешествие может оказаться совсем спокойным и мирным, без всяких приключений, и я вернусь к тому сроку, как предположено. Да и если оно будет несколько романтичнее — ничего страшного в том нет. Зато, по крайней мере, полюбуюсь на Карпаты и Исполиновы горы — за обилие зрительных впечатлений можно ручаться. Едем мы очень хорошо — быстро, просторно и довольно удобно; на весь вагон нас всего семеро, поэтому мы получили по два теплых пушистых

американских одеяла, и спать тепло. Да в вагоне и вообще достаточно тепло — топят очень усердно. Мои компаньоны очень приятны — я много говорил с Филипповым, и мне он нравится; между прочим, он обожает Вл. А.Фаворского (который ведь ставил у них «Собаку на сене»). С. П.Григорова я знаю довольно давно, и с ним мне очень приятно. Вагон жесткий, но матрацы, присланные из Управления тыла, роскошные. Мы едем с С. П. Григоровым на нижних полках в одном купе, Филиппов и Сущенко — в соседнем. Три ленинградских инженера — за дверью, в другом отделении. И кроме нас три проводницы, уже не раз ездившие с этим вагоном до Карпат, и больше никого. Это удивительно удобно — тишина полная, никто не мешает спать или делать что хочешь. В Киеве будем завтра часов в 11, и если поезд во Львов будет не в тот же день, то наш вагон простоит в Киеве и я успею сходить к Касьяну и Штильману.

Окна были замерзшими, а теперь уже оттаяли и можно смотреть. Черт знает, что немцы понаделали в этих местах! Ни одной целой станции, всюду руины. Это усиливает мое воинственное настроение. Сейчас стоим, принесли много дров, и слышно, как их пилят. ***Я*** встал раньше всех, но это было никак не раньше 12, а все отсыпались еще дольше. Так что я покуда что отдохнул от всей трепки и нервозности. Но мне ужасно хочется вас видеть, я уже страшно соскучился без вас двух. Адреса моего у меня еще нет. Мне так хочется, чтобы у вас все было в порядке. Целую вас несчетное множество раз и очень хочу вас видеть. А.

Четверг 22/11—45

Наташенька, милая, моя любимая!

Утром приехал в Киев. Здесь наше общество пополнилось несколькими полковниками и майорами, так что народу стало в вагоне больше. Вместе с Филипповым отправились в город. В Управлении по делам искусств узнал адрес Касьяна (запиши: Владимирская, 14, кв. 5) и пошел к нему.

С украинским художником Василием Касьяном, его женой Лидией Николаевной и их дочерью Оксаной мы познакомились и подружились в Самарканде, где они были с остатками Киевского и Харьковского художественных институтов.

Встретили они меня радушно и ласково, накормили до отвала; Лидия Николаевна торжественно показала мне их квартиру — огромную, в 7 комнат, пока еще пустую и холодную (они живут в кухне), но очень чистую, просторную — безграничное поле деятельности для Лидии Николаевны. Касьян выглядит усталым, он почти не может работать, так как завален делами по Союзу художников, где ему, видимо, приходится заботиться о тысяче нужд бесчисленных людей. Он обрадовал

меня новостью о Пустовийте: все злоключения Пустовийта благополучно ликвидированы[21], он в Сталинграде, куда к нему уже дважды ездила жена, служит в армии и, должно быть, вернется в скором времени в Киев.

С Касьяном вместе пошли мы к Штильману, в Художественный институт. По дороге полюбовался на растреллиевский Андреевский собор, а потом зашли в Софию и посмотрели все, не виденные мною, мозаики и фрески XI века, частью грубоватые, но частью прекрасные. Особенно поразил меня апостол Павел — фреска на одном из столбов с черными горящими глазами, сухой, изможденный, похожий на апостолов фрески во Владимирском Дмитровском соборе. В приделе Софии — мозаики из Михайловского монастыря с чудесной зеленой смальтой фона, очень красивые, хоть это и второстепенными византийскими мастерами сделано.

Штильман меня расцеловал — они все удивительно трогательно ко мне и к тебе относятся. Они живут неважно — квартиру ему еще не дали. Наговорили мне вместе с Касьяном множество ласковых слов, о тебе и о Маше сегодня дважды давал подробнейший отчет. Все тебе и Маше шлют привет, в том числе велено передать привет и от Оксаны (заочно), которая была в школе и должна была, по словам Лидии Николаевны, ужасно огорчиться, не видевши меня во всем параде. Касьян хочет пригласить в Киев Лазарева, чтобы он прочел о новых открытиях византийских мозаик, о киевском периоде русской живописи и т. д. — скажи Виктору Никитичу. Мне было очень приятно видеть их — и Касьяна, и Штильмана, они оба очень хорошие. Киев сейчас прекрасен как всегда, несмотря на зиму и разрушения.

Сейчас сижу в вагоне, другие ушли в свой черед. Вечером уезжаем во Львов. Один из новых спутников, невообразимо «восточный» майор, очень добродушный черный грузин, уже ездил в путешествия — в Румынию, в Венгрию — и рассказывал об условиях таких путешествий; думаю, что и о моем путешествии тебе волноваться нечего.

Я все время о вас думаю и очень скучаю, и очень хочу, чтобы вы там не беспокоились, и не хворали, и чтобы все было как следует.

Попроси Елену Ивановну (или Нину Николаевну) посмотреть выставку эстампов в МОССХе и договориться с руководством этой мастерской, чтобы музею передали по экземпляру всех их эстампов. Если они не решатся, пусть Виппер поговорит с Бескиным, м. б. это будет проще.

Мне очень хочется вас видеть. Целую тебя и Машеньку миллиард раз и все время помню. А.

24/11–45

Наташенька, милая, милая, моя любимая!

Сегодня утром приехали во Львов. Всей компанией, человек 10, отправились в город; очень скоро все разошлись сообразно своим интересам, и весь день мы проходили по Львову вдвоем с С. П. Григоровым. Город прекрасный. Я не ожидал такого, хоть и знал по книгам раньше. Центр города — конец XVII — начало XVIII века, множество барочных костелов — некоторые необычайно затейливые, в духе Бернииевского Св. Андрея на Квиринале: вогнутые, кривые линии, изломанные вертлявые статуи, уйма картушей, надгробных плит и т. д. Площадь вокруг ратуши вся окружена старыми домами начала XVIII века, в духе Гента или Брюге: четыре этажа, непременно в три окна с орнаментикой, статуями — чудесные! При этом все разные, один другого интереснее. Улицы узкие, кривые, все время вверх или вниз — в городе масса холмов, даже целых гор, всюду зелень (не сейчас, конечно — весь день шел мокрый снег). Город цел, лишь местами следы сильных боев. Заходил во все магазины, но ничего нужного не нашел, и цены, как в Москве. Купили только еды: прекрасного творогу и белых булок, какие здесь пекутся, — но тоже не дешевле, чем у нас. Единственное, что оказалось гораздо дешевле — это несколько французских книжек, которые я купил почти задаром. Люди знающие (такие в нашем вагоне появились) говорят, что все, что нужно, достану дальше. Не знаю уж, верно ли это.

В своих хождениях по Львову забрели на выставку местных художников, где оказалась хорошая графика (ксилография), потом — на выставку московских художников, где я с удовольствием посмотрел многие знакомые («Чапаев» Циплакова, С. Герасимова и т. д.) и незнакомые вещи (прекрасный Боим — «Ночь в Кронштадте»), Скажи Юрию Ивановичу, что я с удовольствием увидел здесь его прелестную «Почту», которую не видел много лет. Ты вообще обязательно повидайся с Пименовым и скажи ему, что я очень жалею, что не видел его перед отъездом. Зашли еще и в кафедральный собор с большим любопытством, он оказался очень импозантным, с готической старой частью, обстроенной барочными приделами, с витражами и т. д.

Сейчас уезжаем дальше, а письмо это повезут в Москву.

Целую вас миллиарды раз и все время о вас думаю. А.

26/11–45

Наташенька, милая, милая, любимая! Из Львова выехали в субботу вечером и медленно едем с длинными стоянками. Из вагона я не выхожу — ничего интересного снаружи пока нет. Вчера весь день провел за чтением французских книжек — только

этим и отметил свой день рождения. Книги очень хорошие. Еды у нас вдоволь, получили уже сухой паек — столько, что и не съесть. Много разговариваем — мы четверо и очень приветливый полковник, но я больше сижу один, читаю и думаю. Очень о вас скучаю и беспокоюсь, что у вас делается. Целую тебя и Машукушку бесчисленное множество раз. А.

28/11–45

Наташенька, милая, милая, любимая!

Сегодня утром приехали в Краков. Сейчас пойдем в город. Что увидим — напишу после, но покуда что польский вариант Европы мне что-то не нравится. Это мое пятое письмо, но адреса своего у меня еще нет. Попробуй послать мне письмо через Комитет по делам искусств — может, дойдет до меня к моему приезду в Управление тыла фронта. Очень без вас скучаю и беспокоюсь. Едем мы хорошо, спутники у меня очень приятные. Если бы знать, что у вас делается, то все было бы как нельзя лучше. Целую вас обеих крепко — крепко. А

1/1II—45

Наташенька, милая, милая, любимая!

Едем, все в том же своем вагоне, где-то между Краковом и Силезией. Вчера провели день в Кракове. Наш приезд туда задержался из-за разлива бурных горных рек, и мы три дня медленно ползли, убивая время кто как умел. Я погрузился в чтение своих французских книжек, купленных во Львове. Прочел, не отрываясь, «Ночной полет» Антуана де Сент — Экзюпери о летчике, погибшем во время шторма по пути из Патагонии в Буэнос — Айрес. Автор этой книги, необычайно яркий, сильный писатель — сам погиб недавно в полете над Германией в качестве летчика авиации генерала Де Голля. На книжке не случайно стоит 164–е издание! Потом прочел ряд стихотворений Поля Валери и две больших статьи из сборника Валери «Варьетэ» — и моих любимых Стендаля и Бодлера. Статьи прекрасные, тонкие, глубокие, и стихи тоже — скажи Алпатову, что я от его Валери в восхищении. Удивительно странно оборачивается время: русский майор, он же преподаватель истории искусства, едущий на фронт в Германию и читающий с великим наслаждением томик прекраснейшего из французских поэтов XX века! Это выглядит как литература с претензиями на оригинальность. А может быть, это самое естественное?

Я в очень хорошей компании, уже привыкшей к своему составу: полковник, едущий, чтобы стать, вероятно, комендантом одного из крупнейших немецких городов; его жена; потом военная докторша, едущая на фронт к мужу; два молодых ленинградских инженера и мы четверо. В таком обществе мы и

отправились вчера в город. Привелись в порядок в парикмахерской, потом явились к военному коменданту города, потом обедали в командирском управлении, где радушный майор, ведающий столовой, угостил нас таким обедом, какой, пожалуй, только в Европейской гостинице в Ленинграде перед войной мне попадался. Потом бродили по городу несколько часов до ухода поезда.

Город очень интересный. Он до отказа наполнен старой архитектурой, улицы узкие, кривые, забитые пестрой толпой. Новые здания старательно подражают средневековой архитектуре, и это придает городу какой-то искусственный характер, сухой и неуютный, — представляешь, как может выглядеть ложная готика. Но здесь я, наконец, увидел и настоящую готическую архитектуру, и это очень здорово. Маленькая ратуша на центральной площади с четырехгранной массивной готической башней, готические торговые ряды, надстроенные, видимо, в XVI или XVII веке в духе северного Возрождения, с курьезными скульптурными рожами по гребню крыши и с гербами всех польских городов на низких сводах главной галереи; огромный готический собор Св. Марии, с цветными деревянными рельефами за сидениями для хора в главном алтаре, с цветными стеклами гигантских окон, переплетенных в «пламенеющем» стиле, с удивительными позолоченными висячими кафедрами, из черного дерева с скульптурными рельефами, с высочайшими нервюрными сводами в полумраке вверху — все вместе дает великолепное впечатление! Пока мы осматривали собор, началось богослужение, мы спешно ретировались, но все-таки слышали, как звучит орган под этими сводами.

Я никогда не представлял себе католичество в «натуре» — это поразительно ловко срежиссированное театральное представление, это настойчивая, активная агитация всеми средствами, явно воздействующая физиологически на нервы своей паствы. На всех перекрестках торчат распятия и мадонны, куча магазинов продает реликвии, статуэтки, слащавые религиозные картинки, на улицах на каждом шагу ксендзы и монахини, часто молодые (причем — с аккуратно подведенными бровями и напудренными лицами — «явно не чуждые земным утехам», как выразился один из наших ленинградцев!). Все это — не больно привлекательно, чтоб не сказать грубее. Кроме готических церквей много барочных; барокко здесь грубое и вызывающее, гораздо хуже, чем во Львове (и более подходящее к католической бутафории). Я не знаю названий, но некоторые из готических церквей очень интересны, нужно будет в Москве

узнать, что они собой представляют. Королевский замок, знаменитый Вавель, на высоком холме, оказался довольно скучным (по крайней мере, снаружи).

Больше всего меня занимала уличная толпа. Я наблюдал ее весь день очень внимательно, сначала с настороженностью, потом с все возрастающей неприязнью, а под конец с неожиданной для меня самого надменностью! В Кракове есть заводы, есть рабочие — я их не видел, но зрелище этой сытой буржуазной толпы, каким-то образом отсидевшейся от войны и явно продолжающей отсиживаться, — мне было противно. Я вспомнил Самарканд, где все мужчины ушли воевать за тридевять земель и все делалось женщинами. А тут — табуны холеных молодых людей 20–23 лет, в модных спортивных костюмах, с напомаженными волосами и наманикюренными руками, шляющиеся по улицам в неимоверном количестве и не занятые, явно, ни работой, ни войной! Какие сытые толстые дяди шествуют тут по улицам! Какие разряженные (на редкость безвкусно и безобразно) дамы ведут откормленных псов всех пород и размеров! Я вспоминал Ленинград, где не осталось ни единой собаки. Вся эта публика большей частью очень любезна и почтительна, грех жаловаться, глазеют с подобострастным любопытством (тут не так много русских офицеров, и мы все время чувствовали себя в центре внимания этой, очень чужой, толпы), чрезвычайно вежливо показывают дорогу. Но бог с ними, мне такая Европа не нравится. Мириады маленьких магазинов (больших совсем не видать, как вовсе нет автомобилей!). Но цены абсолютно неприступные (даже бритье и мытье головы обошлись в 35 злотых, — а злотый считается равным рублю!). Поэтому нам никому не пришлось тратить тут деньги. Конечно, не настоящую Польшу представляет эта краковская толпа. Пожилая интеллигентная женщина подошла и робко попросила у нас хлеба. «Я из Варшавы!» — ответила на наш вопрос и была растрогана и благодарна, когда мы дали ей хлеба. Таких в Польше, наверное, больше. Каждую минуту, повсюду, думаю о тебе и Машукушке и целую вас обеих крепко — крепко, тысячу миллиардов раз! А.

Позже отец описывал забавный (и поучительный) эпизод из их хождения по Кракову. На извозчике мимо них ехал какой-то особенно важный и толстый «буржуй», и они, не скупясь, выражали свое негодование по поводу зажравшегося и отсидевшегося от войны краковского обывателя, как вдруг «буржуй» остановил пролетку и ринулся с распростертыми объятьями к Филиппову: это оказался известный наш конферансье Михаил Гаркави.

2/II 1—45

Наташенька, милая, милая, моя любимая!

Вчера провел день в Катовице и Бейтене — сейчас еду дальше — это уже позади. Куда еду — пока еще не знаю, и адреса у меня все еще нет. Посылаю это и вчерашнее письмо с проводником назад в Москву, до того послал уже 5 писем. Когда-то получу от вас вести? Очень скучаю без вас и все время думаю. Путешествие покуда что больше чем интересное. Катовицы — польский рабочий город, с совсем другим народом, чем в Кракове, — очень хорошим. Бейтен — это уже Германия. Приедем на место — напишу подробно, что видел. Сегодня пути наши с нашими попутчиками разошлись — остались мы шестеро (с ленинградцами). Ужасно жду от вас письма и целую крепко — крепко. А.

5/III—45

Наташенька, милая, милая, моя маленькая!

Не писал три дня, т. к. все ждал, когда получу наконец № своей полевой почты. Сегодня получил: полевая почта 28930 — группа Сабурова, майору А. Д. Чегодаеву. Как только получишь — напиши подробно — подробно обо всем, что у вас делается и что было за время, что я ехал, о своих лекциях в Худож. Театре[22], о Машукушкиных делах (а она пусть напишет отдельно), о музее, об Академии Наук, о папе, о Лазаревых, о Пименове, об Алекс. Борисовиче и Татьяне Борисовне, о всем, самом мелком, что тебя и Машукушку касается. Я очень тоскую, ничего не зная о вас и не представляя даже, когда я получу хоть строчку. Мне так жалко было тебя, когда я уезжал. Так хочется, чтобы ты не была грустная и не уставала бы. Получили ли вы все мои письма? Я послал (до этого) семь писем из Киева, Львова, Кракова, Катовице.

Я был уже во многих городах Германии и хоть и сижу сейчас четвертый день на одном месте — это ненадолго. Работы свыше головы. Писать о себе ничего не могу. Только что сыт, здоров, очень доволен спутниками, очень дивлюсь на тупость и убожество немецкой «культуры», которые превзошли всякие мои ожидания. Странное мое путешествие! Мне все кажется, точно не я, а кто-то другой. Громадные впечатления последних дней — это: 1) промышленный район Катовице, где огромные заводы идут один за другим, повсюду кругом до горизонта — пейзаж, полный неожиданной, необычайной величественности, 2) необычайно острое ощущение бесконечного превосходства нашей культуры над немецкой, несмотря на весь внешний лоск немецкой цивилизации (за которой нет ничего живого). Очень яркое впечатление: прелестный польский мальчишка в Хоржуве (около Катовице) — наш попутчик на трамвае (дважды нами

встреченный за день) — застенчивый, воспитанный, ласковый малый лет девяти, молча (из- за разных языков), но достаточно ясно все же (с помощью главным образом знаков) с нами объяснявшийся и приветливо нам улыбавшийся — точно от лица настоящей Польши, не Краковской. Каждый день слушаю московское радио — приказы Сталина[23], музыку, пение Обуховой и др. — с большим волнением. Ужасно жду от вас письма. Целую вас обеих крепко — крепко и очень хочу поскорее увидеть. А.

Поклон Вере Степановне и Диме. Всем от меня кланяйся.

9/111–45

Наташенька, моя милая, любимая!

Все жду от вас письма и тоскую. Решил, что получу первое письмо не раньше конца месяца, но очень трудно дожидаться. Стараюсь по вечерам после работы представить себе, что делаете обе, и только начинаю беспокоиться. Уже март, значит, начались твои лекции, как они идут? О своих делах я стараюсь и не вспоминать. Хороший ли в этом месяце магазин? Тепло ли в комнатах и есть ли дрова?

В Москве еще карточки, закрытые «распределители», центральное отопление не работает — топим «буржуйку».

Тут глубокая зима, масса снегу, так что утром целые вереницы немецких девиц отправляются с лопатами расчищать улицы. Скользко и холодно. Но в гостинице, где я живу уже неделю, жарко — приходится открывать на весь день окно. Меня приводят в ужас немецкие перины, которые совершенно отравляют мне сон. Эти перины, которые, на мой взгляд, одно из самых законченных воплощений немецкого духа. Ни один другой народ не придумал бы ни в век такой гадости. Меня очень интересует, как вы едите и кто бывает, не таскают ли зря книги. Здоровы ли вы обе и папа? Я здоров (только сплю плохо), но очень устаю, масса дела, и чем дальше, тем больше. Вчера и сегодня даже не успел к обеду. Ем я в прекрасном ресторане при гостинице (весь персонал тут — наш, русский), повар — первосортный, так что сыт я вполне. Немецкого тут — только черное пиво, хорошее, так что я стал им интересоваться немного.

Спутники мои очень хорошие и приятные. (Я говорю о Филиппове и Григорове — четвертый наш компаньон оказался балластом — бездельник и круглый невежда, зачем его только сюда послали?! Думаю, что тут его долго не продержат.) Работа еще только в самом начале, но уже ясно, что вместо неизвестного «кота в мешке» я получил, так сказать, целое стадо кошек, и когда я все переделаю — одному Богу известно. Я очень мечтаю выписать сюда, для помощи, Ротенберга[24] — узнай у Виппера,

вернулся ли Ротенберг из командировки. Напиши мне о папе, о Лазаревых — я не могу сейчас никому обещать писать письма, не успею все равно. А Александру Борисовичу скажи, что я покуда писать не могу, нет времени. Как прошел его концерт (с «Пиром во время чумы»[25] и т. д.)? Кому присудили Сталинские премии? Военные новости я узнаю по радио, а другие не знаю с тех пор, как уехал. Не видела ли ты Фаворских? Как Машукушкино рисование? Что она читает и что прочла со дня моего отъезда? Что Юрий Иванович [Пименов], пишет ее портрет или нет? Мне бы хотелось увидеть его законченным к моему возвращению. Так как я вернусь явно позже, чем предполагалось, то, может быть, он и окончит? Как моя статья для музея? Меня очень беспокоит, подобрали ли они все фотографии, какие я просил. Спроси Елену Ивановну, получила ли она от Капитолины Владимировны Фроловой (из Третьяковки) мои рисунки Сойфертиса, Бойма, С. Герасимова и др. — меня особенно интересуют эти трое. Что куплено Закупочной Комиссией после моего отъезда? Напиши. Как здоровье Татьяны Борисовны? Поцелуй твоих стариков от меня крепко и моего тоже.

Мне было приятно встретить тут одного майора, знающего папу и с почтением о нем отозвавшегося. А об Александре Борисовиче мне с великим уважением много говорил мой Филиппов (он был много лет директором клуба работников искусств). Можешь себе представить, что Филиппов с бригадой артистов приезжал с концертом в то самое место за Вязьмой, в августе 1941–го, где было ополчение, и разговаривал с моими студентами! Как странно пересекаются дороги! В одном из немецких городов я вдруг встретился с одним кадровым капитаном — ленинградским искусствоведом, известным мне по статьям. Я думаю, попади я на Южный полюс, наверное, встретился бы какой- нибудь пингвин, справляющийся о здоровье и делах Лазаря Шоломовича[26]. (Я тоже ими интересуюсь.)

Писать мне приходится ночью, поэтому я уже клюю носом. Сейчас буду мыть голову горячей — прегорячей водой (для прояснения мозгов) и стирать воротнички. Нужно соблюдать элегантный вид, как подобает. Сергей Павлович пытается поймать Москву, но наш радиоприемник не в духе и испускает ужасные ревы и завывания. Пора спать.

Целую вас крепко — крепко — крепко множество раз. А.

10/111—45

Наташенька, милая, милая!

Приписываю ко вчерашнему письму. Я кончил его на том, что С. П. Григоров тщетно пытался настроить радиоприемник и вдруг поймал Москву. Радио было слышно только несколько минут, но

в эти несколько минут как раз уложился указ Верховного Совета о награждении Александра Борисовича орденом Ленина. Дальше я успел расслышать только первые фразы Шапорина об Александре Борисовиче, и опять передача оборвалась. Я был очень доволен: за целый вечер молчания радио учтиво прервало свое упрямое молчание на три минуты, чтобы сообщить мне приятную мне новость! Расскажи об этом Александру Борисовичу. Я постараюсь ему написать сегодня ночью. Передай ему самый горячий привет и поцелуй его от меня. А.

20/III—45

Наташенька и Машукушка, милые, любимые! Сегодня ровно месяц, как я уехал, и ровно месяц ничего о вас не знаю. Правда, никто еще из нашей группы не получал писем из Москвы. Очень скучаю и беспокоюсь, сплю плохо — все стараюсь представить себе, что у вас делается. Работаем с утра до ночи, так что несколько дней не мог даже письма успеть написать. Устаю жестоко, но зато результаты очень успешные. Сегодня напишу письмо подлиннее. Живу все там же, здоров — все в порядке, были бы только письма. Пробуду здесь еще долго — на днях делали отчет генералу и получили полное одобрение, так что будем только расширять работу. Но мне иногда утром кажется, что я проснусь в Москве и все будет обычно, как всегда там, а не тут. Я очень тоскую без вас. Целую вас обеих крепко — крепко. А.

23/III–45

Наташенька и Машукушка, милые, любимые!

Стараюсь терпеливо дожидаться писем и все же очень тоскую без них. По моим расчетам, я не могу получить раньше 25–27–го числа при самых благополучных условиях, но как трудно долго ждать! Уже больше месяца как я уехал. В половине апреля, возможно, ненадолго приеду в Москву, по крайней мерс генерал так требует, и ясно, что это совпадает с моим желанием. Работы неимоверно много, и результаты обильные. Если не качественно, то количественно. По правде сказать, пока еще не слишком все это увлекательно, но поездку свою, тем не менее, я уже оправдал стократно. Жизнь моя за последнюю неделю довольно монотонная, очень напряженная и физически трудная, но интересная все-таки достаточно. Немного не в порядке сердце, но ничего особенного ни со здоровьем, ни с повседневным существованием нет, все в порядке в конце концов, только устаю. Блаженствую из-за собственного автомобиля с отличным шофером — все делается в десять раз быстрее, чем раньше. Особенно когда приходится ездить в другие города. Каждый день слушаю радио из Москвы — на днях слушал высказывания Солодовникова о современной русской опере, где поминались обе

оперы Александра Борисовича. Как поживает папа, приходит ли он, здоров ли? Я жду от тебя тысячу подробностей о вашей жизни и от Машукушки особо — пиши побольше. Но впрочем, может быть, я действительно буду в Москве раньше, чем дойдут сюда ваши письма. Но если так будет, я прочту письма потом, не жалко. Мне очень хочется съездить в Москву, тем более что потом, очевидно, снова сюда поеду.

Я в прошлый раз обещал для Машукушки написать еще об одной курьезной истории, которую рассказывал здесь поэт К. Симонов. В Румынии он встретил двух наших выздоровевших раненых, которые в каком-то городишке с невероятной щедростью скупали на румынские левы (деньги) чуть ли не все содержимое одного магазина. Он спросил их, откуда у них такое богатство и почему они тут околачиваются. Они сказали, что выписались из госпиталя и ищут свою армию. Симонов с удивлением возразил, что эта их армия под Ленинградом, а не в Румынии. Тогда они сообщили ему следующую историю: их выписали из госпиталя откуда-то из Средней Азии и поручили им попутно доставить на фронт двенадцать верблюдов. Десять верблюдов у них по дороге подохли, а двух оставшихся они обрядили в попоны и, забредши в Румынию, показывают торжественно этих верблюдов румынам, как, якобы, участвовавших в обороне Сталинграда! Румыны идут толпой — во- первых, потому, что не видели никогда верблюдов, во- вторых — магически действует имя Сталинграда даже в такой неожиданной и нелепой комбинации!

Чего только не бывает на белом свете! Мне приходится встречаться с множеством самого разнообразного народу, какого только душе угодно. На днях меня отыскал майор из штаба генерала, увидевший мое имя в списках и приехавший со мной повидаться. Это оказался двоюродный брат Лазаря Шоломовича! Помнишь, я писал о пингвине на Южном полюсе? Это, видимо, вовсе не фантастическое предположение, а самая прозаическая реальность. Передай по этому случаю привет Лазарю Шоломовичу. Его кузен был так ласков и приветлив, что я воочию увидел, сколько, должно быть, настоящей привязанности и нежности в рассказах Лазаря Шоломовича о нас и обо мне в частности.

Получили ли вы все мои письма? Это, как будто, уже тринадцатое по счету, если я не сбился. Так что в среднем выходит одно письмо в каждые два дня почти. Я хочу столько же получить от вас. Всем от меня кланяйтесь, потому что я никому больше не пишу, нет времени. Я на днях начал — по десять строчек зараз! — читать то, о чем мечтал чуть не пятнадцать лет безнадежно: стихи Райнера Марии Рильке. И мои ожидания не

обмануты. Кстати, на днях я у него нашел чудесный перевод лермонтовского «Выхожу один я на дорогу»! Но читать тоже некогда.

Я так стараюсь все время представить себе, как вы живете. И беспокоюсь — бесформенно, но тоже все время.

Я очень хочу вас видеть. Целую вас обеих крепко — крепко тысячу миллиардов раз. А.

Поцелуй Виктора Никитича, Веру Николаевну, Алпатова. И еще специально Татьяну Борисовну — я о ней почему-то много думал сегодня.

1/IV-45

Наташенька и Машукушка, мои милые, любимые!

Это письмо, вероятно, дойдет быстрее, потому что будет опущено в Москве (наш генерал едет туда). Я не писал несколько дней — все ждал, не будет ли письма от вас, но так и не дождался еще ни одного. Правда, никто из нашей группы еще не получил тоже, так что этим я утешаюсь, но очень скучаю и тоскую без писем. Отсутствие всяких сведений о вас — самое трудное в моем путешествии и пребывании здесь, на фронте, — все остальное пустяки, хотя и утомительные физически.

Работы уйма, и конца ей не видно, поэтому планы вернуться в Москву в апреле очень неопределенные. Может случиться, что мы (закончив первый этап работы) приедем в Москву для отчета и для решительной реорганизации всего плана нашей деятельности, но, может быть, в Москве и сами сообразят, что делать, и пришлют нам людей и инструкции. Тогда я могу застрять здесь еще на 1 [27]/2— 2 месяца. Втроем работать немыслимо, это на годы, а не на месяцы дела. Но в Комитете как всегда удивительно легкомысленно и беспечно обо всем думают. Если бы у меня было хоть три помощника (а надо бы тридцать!), как, например, хоть те же Суздальцев, или Сатель, или Володин* — я бы сделал вдесятеро больше и в двадцать раз скорее. Слава богу, у нас есть автомобиль, а то раньше и его не было. Мы живем все время на одном месте, в одной и той же специальной гостинице, и уже отсюда ездим по всему фронту, на 30–50—200 и т. д. километров, куда нужно. Поэтому моя жизнь представляет сочетание очень однообразного и устойчивого бытового распорядка (с одинаковым каждый день, если не ночуем где-нибудь в другом городе, что бывает редко, — чередованием вставания, умывания, еды и отъезда на нашей машине, с установившимися привычками, в одной и той же комнате и т. д.) и чрезвычайно пестрой смены дорожных впечатлений, самых разнообразных и неожиданных. Жалко, что я не могу в письмах описывать свои приключения, более конкретно и подробно —

приеду, расскажу. Основное — одинаково всегда: почти без исключения (хотя бывают и они!) очень приятные встречи с нашими — русскими — людьми — хороших людей сколько угодно и они много помогают — и, с другой стороны, постоянное и лишь углубляющееся и укрепляющееся резко отрицательное впечатление от Германии.

Германия — отвратительна, быть в ней — тяжело и противно, все, что о ней у нас писалось в газетах, — это только какая-то тень того, что она представляет собой на самом деле. Это какая-то уродливая, выродившаяся культура, которая — если ее не истребить до самых корней — может быть только источником разложения и одичания для других народов и стран. Немцы связаны круговой порукой; Германия столько награбила по всей Европе, что люди жили здесь до самого конца припеваючи и даже не подозревали (тупые немецкие башки!), что кому-то от войны плохо. Германия потому так упорно и защищается до сих пор, что у нее грандиозные запасы продовольствия и военного (и всякого другого) снаряжения, потомучто у «крестьян» Силезии находили наши во дворах по 100 коров! А русские военнопленные и угнанные на работу жили — тут же, в этой обильной и сытой обстановке — вымирая от голода, в грязных хлевах — бараках, на каторжной работе. Лишь ничтожное меньшинство немцев — люди нормального сорта — интеллигенты, рабочие, даже уцелевшие в подполье коммунисты, которые нам теперь помогают вылавливать фашистов и налаживать работу заводов, но их очень мало. Огромная масса — это то самое самодовольное, глупое, грубое, жестокое мещанство, которое совершенно естественно породило, как свое «высшее» достижение, фашизм, со всей его идиотски — звериной системой рассуждений и поведения. Я бы выселил немцев из этой земли всех вон, расселил бы их по свету, чтобы они не могли нигде больше собраться, ни в какой Аргентине, чтобы корней этой системы не осталось. А то они уже, проигрывая войну, откровенно и деловито готовятся к новой войне — я ведь слушаю их радиопередачи![28]

Я очень тоскую, ничего о вас не зная. Мне интересна каждая малейшая мелочь вашей жизни — я в своих письмах (это, кажется, 14–е) перечислял множество вещей, о которых хочу знать — пишите побольше. Пусть с опозданием, но мне все хочется знать, начиная от твоих лекций и занятий и Машукушкина рисования и чтения — и до того, что вы едите, что переставили в комнате, кто приходил за это время и т. д.

Должен кончать — стоят над душой, чтобы увозить письмо. Поцелуй крепко папу. Александра Борисовича, Татьяну Борисовну, Виктора Никитича и Веру Николаевну, и всем всем

кланяйся. Целую вас обеих миллиард раз и еще столько же и ужасно жду писем! Ваш А.

9/IV-45

Наташенька, моя милая, милая, моя любимая!

У меня настроение праздничное: поздно вечером 5–го пришли первые два твоих письма от 20–го и 21 марта. Значит, они шли тоже не так уж долго, тем более что мне их привезли из другого города. Но только сегодня смог, наконец, сесть и писать письмо — все последние дни был занят более чем с утра до вечера — не поспевал обедать, спать. Сегодня почти закончил одну, очень сложную и канительную работу, освободился рано — часов в 8, с наслаждением влез в горячую ванну и сижу, пишу. Сергей Павлович орудует у радио — какая-то залихватская штраусоподобная музыка откуда-то неведомо, не то из Италии, не то из Румынии. Сегодня вечером мы отдыхаем. После твоих писем у меня все точно на место стало, и мое незнание о вас сократилось сразу на целый месяц. Мне ужасно жалко Марию Зосимовну[29], не знаю, как передать ей сочувствие, — пробовал придумать письмо, не получается. А ей, может быть, все-таки нужно какое-то сочувствие, хотя такую тяжесть ничем не перевесишь.

Здесь все это выглядит иначе, люди о смерти вовсе не думают, не боятся ее, все понятия как-то смещаются и все кажется проще. Я проникся глубочайшим уважением (оно у меня и раньше было очень большое, но сейчас окрепло) к необычайной силе духа русского солдата, необычайной широте, свободе и жизнеутверждению русских людей на фронте. Такой контраст с Германией! Странно, что одновременно могут существовать два столь несовместимых и несоизмеримых мира. Я понял до конца все основы немецкой системы мышления и поведения, понял, почему Германия временно одержала верх и почему теперь разгромлена. Ее разгром — как разгром Ассирийского царства, которое было ей родственно своей дикостью, жестокостью и манией величия, и было уничтожено без остатка — по заслугам. Мое пребывание в этой чудовищной стране сделало меня вдесятеро мудрее в понимании законов истории. И это знание — на основе точных фактов, а не теоретическое. Не знаю, приятно ли мое путешествие, но оно, безусловно, исключительно интересно.

Вернувшись, отец рассказывал о своих впечатлениях, в том числе и о нашей армии. Он не скрывал, что наши солдаты, прошедшие через земли, бывшие в оккупации и знавшие не по наслышке о зверствах нацистов, сами потерявшие товарищей и родных, врываясь в немецкие города и села, творили жестокую

расправу, но уже на другой день можно было видеть, как солдатский повар у полевой кухни раздает немцам еду, а военному начальству пришлось издать особый указ, запрещающий нашим солдатам катать по улицам колясочки с немецкими младенцами. Немцы скоро уразумели эту особенность русского характера, при наступлении наших войск убегали и прятались, пережидали день- два, после чего спокойно возвращались домой.

Отчаянность и беспечность русских солдат поражали отца. Однажды они остановились в нашем штабе, в только что занятом городе. Офицеры справляли удачно завершенную операцию. Напротив горел многоэтажный дом, в подвале которого, как любезно сообщили папе и Григорову, находился склад снарядов и мин. «Но ведь они могут каждую минуту взорваться?!!!» Офицеры безмятежно ответствовали, что дом горит сверху и в день выгорает по этажу, так что до склада пожар доберется только дня через три, а их штаба тогда уже здесь не будет.

Работа наша, по существу, только — только начинается. Но, видимо, сейчас мы только объедем ряд районов и городов далеко на Западе и тогда вернемся в Москву для отчета и для перестройки всей организации, если нас снова сюда пошлют. Если пошлют — придется ехать, доделывать начатое, как уже «знатоков» этой земли. Нужны дозареза помощники, нельзя объять необъятное трем человекам. Два мои сотоварища — чудесные люди — судьба просто особенно благосклонна ко мне, связав меня с ними. Григоров — тонкий, деликатный, очень нежный внутренне, очень сдержанный и корректный внешне, широко образованный человек. Филиппов — очень умен, очень остроумен, прекрасный товарищ, заботливый и внимательный, веселый и детски — открытый — я очень к ним обоим привязался. Тут люди выясняются начистоту. Четвертый наш компаньон — шалое существо, малокультурный, разболтанный, очень эгоистичный и неумный музыкант, очень мало приятный, мягко выражаясь. Филиппов держит его в страхе божием окриками и мечтает от него как-нибудь избавиться. Кругом много очень приятных людей, очень разных и сколько угодно интересных, умных, культурных. Покуда что неприятное впечатление от людей у меня ничтожное меньшинство, и не потому, что, согласно Виктору Никитичу, ничего не смыслю в людях (смягчая его выражения), а потому, что сюда послали большей частью действительно людей стоящих. Про свои дорожные впечатления писать подробно и конкретно все равно не могу, так что и не буду пробовать — расскажу, когда приеду. Кстати, если бы я был поэтом — я бы написал гимн «виллису» —

такому, с виду, грубому, неуклюжему и невзрачному американскому автомобилю — на самом деле такому чуткому, тонкому созданию человеческого разума. Благодаря ему наши странствия облегчаются в сотни раз и доставляют удовольствие, а не только одну усталость. Он может ехать где хочешь и сколько хочешь, вылазит из самой безнадежной трясины, взбирается на почти отвесную стену или на лестницу, тащит как ни в чем не бывало гигантские тяжести — чуть что не со средней руки трехэтажный дом, может со всеми удобствами (хотя тебя подбрасывает под небеса!) прогуляться поперек путей большой сортировочной станции или на всем ходу делать самые замысловатые повороты, зигзаги, скачки! Чудесная машина, и я с удовольствием провожу в ней довольно большую часть своей теперешней жизни. Но природа все-таки сильнее человека: как- то раз на дорогу перед нашей машиной выскочил заяц, и хотя «виллис» мчался со скоростью в 50 английских миль в час — заяц несся впереди со скоростью света (решив, должно быть, что мы его преследуем) и этот серый шарик так и оставил автомобиль позади, пока не догадался где-то впереди свернуть с дороги в поле!

Дороги красивые, и страна красивая, жалко, что немецкая. У меня много странных и неожиданных впечатлений всех родов. Работаем мы на совесть, так что читать некогда: за все время я прочел (не в связи с разработкой маршрутов или планов) чуть ли не только два рассказа Чехова (томик один — самый поздний — попался где-то случайно), да несколько стихотворений Рильке, только и всего. В поезде после Львова, Кракова я читал французские книги, купленные во Львове, — из твоего вопроса я заключил, что одно мое письмо (к сожалению — с подробным описанием львовских впечатлений) до тебя не дошло. Это — Валери, которого я сразу, и страшно дешево, добыл целых шесть книжек (в Москве у меня лишь одна), и затем один молодой французский писатель — летчик — Антуан де Сент — Экзюпери, книгу которого — «Ночной полет» — я прочел залпом, не отрываясь, как раз в день своего рождения и сорокалетия — 25 февраля. Но пересмотрел я за это время книг неимоверное множество. Себе добыл много — уже больше ста, но смогу ли их довезти домой — не знаю и пока за свои не считаю (больно их много, чтобы возить за собою!).

Твои пожелания выполняю с большими трудностями, медленно и мало, хотя думаю, что все же в какой-то мере сумею. Не знаю, что получится — это оказалось очень трудным, как ни странно. После ближайшей поездки выяснится окончательно. Наш друг полковник назначен комендантом Бреславля — это очень

нам помогает во всех делах. Мне очень хочется поскорее приехать в Москву, хоть ненадолго. Но я думаю, что вернусь еще снова, уж особенно, если война придет к вожделенному концу, как на то похоже. Мне так было приятно читать все подробности вашей жизни — мне хочется еще больше знать обо всем, что у вас делается. Мне ужасно тебя жалко с твоими обильными лекциями, я так и думал, что тебе придется что-то и за меня делать. Я рад, что выполнили мое с Марией Зармариевной пожелание о Шульце[30].

Передай Павлу Николаевичу [Шульцу] мой привет и мое удовольствие и благодарность, что мои студенты — под его началом (ему, по правде сказать, и подобало бы всегда читать в Художественном институте античное искусство). Меня интересуют всякие дела, но я очень надеюсь, что это письмо придет в Москву, уже когда я там буду. Но если задержусь — напиши, в особенности о моих статьях (для музея и для ВОКСа — я очень беспокоюсь, чтобы чего-нибудь не исказили) и о выставке книги. Позвони вечером от Александра Борисовича Шмаринову. Всем говори, что я еле успеваю писать только тебе, чтобы не обижались. Что мой «придворный жулик», Эммануил Филиппович[31], не приносил что-нибудь из книг для меня? Он обещал. Машукушка пусть к нему зайдет в магазин Академии. Машукушкины стихи меня очень тронули, милая Машунюшка! Я хочу еще ее новых стихов — пришли, ничего если и длинные. Позвони Маршаку — передай от меня низкий поклон и нежную любовь. Тоже — Пименову, Фаворскому, Родионову, Алпатову и — троекратно — Лазаревым. Папу и Катю поцелуй, Алекс. Борисовича и Татьяну Борисовну тоже. Особый поклон — Вере Степановне, гравюрным дамам, конечно — Марии Зосимовне. Кланяйся и Випперу (без нежности!). Мне так приятно, что у тебя хорошие лекции, а у Машукушки хорошие рисунки. Целую вас обеих крепко — крепко. А.

11/IV-45

Наташенька, моя милая, милая, любимая!

Посылаю это письмо в письме моем к Б. Р. Випперу, которое повезут красноармейцы, сопровождающие наш первый эшелон, уходящий сегодня в Москву. Я очень подробно описал Випперу условия и обстоятельства нашей работы — попроси его, чтобы он дал тебе прочесть. Третьего дня я послал письмо — ответ на твои первые два письма (20–го и 21 марта), которые я получил 5–го. С тех пор писем не было, и я снова беспокоюсь, хотя, вероятно, зря — полевая почта Сабуровского штаба находится далеко, совсем в другом городе, и связь с этим городом не ежедневная, да и они получают письма очень нерегулярно. Из моих товарищей никто

еще ни разу не получал. Мне так хочется видеть тебя и Машеньку, я ужасно скучаю без вас. Завтра мы уезжаем довольно далеко на юг, а потом предпримем генеральный объезд большой полосы на Западе, и после этого, по — видимому, поедем в Москву. Может быть, к 1 мая хотя бы. Мечтаю об этом день и ночь!

Живу я все время в Глейвице, в самом юго — восточном конце Германии, и отсюда езжу на автомобиле повсюду. Так что я все время в одной и той же комнате, вместе с Сергеем Павловичем Григоровым, и весь наш жизненный обиход (когда мы тут, «дома») очень постоянен. Конечно, когда уезжаем — бывают самые разнообразные приключения и никакого устойчивого распорядка. Я совершенно здоров (все мои недомогания — только от усталости, которая бывает часто, иногда прямо до бесчувствия!), сыт, смываю с себя пыль и грязь в горячей ванне, сам стираю воротнички и платки, а остальное получаю выстиранным и заштопанным, бреюсь через день (терплю кротко!) — вообще жизнь в гостинице (с русским персоналом) удобна и спокойна (вся гостиница населена только сабуровскими военными).

Наша комната похожа на небольшой музей (кунсткамеру, скорее!) — в ней все время есть что-нибудь из наших разнообразных находок. Над моей кроватью висит «Мона Лиза» (не настоящая, к сожалению!), Сергей Павлович первое время уверял, что она смотрит скептически на нашу миссию, но сейчас я убедил его, что она смотрит благосклонно и приветливо. Правда, результаты нашей деятельности покуда что скромные, по сравнению с тем, что следует. Недавно повесил над кроватью еще цветную репродукцию, большую и хорошую, Бьянки Сфорца Предиса (Леонардо всюду незримо мне покровительствует, должно быть!). За моей спиной сейчас один из наших полковников, милый и добродушный (руководитель всей фарфоровой и стеклянной промышленности), ловит по радио разные концы света: пишу под аккомпанемент то раздирательной шведской мелодрамы, то церковного пения из Ватикана, то вдруг Мусоргского откуда-то из Франции! На столе передо мной — ампирное глейвицкое чугунное литье, сегодня нами притащенное из старинной литейной конца XVIII века. Чудесное впечатление от целого завода целиком XVIII — начала XIX века на тихой улочке среди садов! Но большей частью немецкие города выглядят не столь приятно — либо в силу своего природного (безвкусного и мрачного) вида, либо — что чаще — из-за того, что разделаны под орех артиллерией, авиацией и проходившими частями. Следы фашистской системы — повсюду и похожи на какую-то моральную проказу. Мне тяжело быть тут, я хочу

поскорее вернуться домой в Москву, с меня хватит, покуда что, «европейской культуры».

Я уже достал кое-что из вещей, но пока еще очень немного — это почти невозможное дело, если не попадать в какой-нибудь город в день его взятия. Но уже предприняты меры к официальному снабжению офицеров нашей всей группы нужными вещами, изъятыми из складов комендатур. Что из этого получится — не знаю. Но думаю, что все- таки что-то в Москву привезу. Книги, собранные для себя (около 120), отправил в Москву в ящиках, где книги для Комиссии по охране памятников искусства — я пишу Випперу, чтобы без меня их не трогали (эти ящики), так что, бог даст, дойдут по назначению.

Однажды в какой-то нацистской канцелярии отец обнаружил гору запрещенных Гитлером книг, приготовленных к уничтожению. Среди них оказались «Профили» Абрама Марковича Эфроса. Отец привез эту книгу в Москву и подарил (или вернул?) Эфросу, рассказав в надписи на титульном листе ее историю и подписавшись: майор Чегодаев.

Так как через день мы уедем дней на десять отсюда — не удивляйся, что я не отвечаю на то, что ты пишешь, но я буду писать отовсюду при всякой возможности. Если мы не уедем после этого, а застрянем еще на время — постараюсь сообщить заранее, чтобы ты продолжала писать. Твои два письма — это мои драгоценности, самое важное, что у меня тут есть сейчас. Мне ничего другого не нужно, если не будет писем. Так хочется получить еще поскорее!

Скажи Виктору Никитичу, что я ему писал — получил ли он? Поцелуй его крепко! И Веру Николаевну, и папу, и Ал. Бор., и Татьяну Борисовну. Целую тебя и Машукушку миллиарды раз. Ужасно без вас скучаю. А. 13/1V—45.

20/IV-45

Наташенька, милая, милая, любимая!

Это письмо дойдет, вероятно, раньше предыдущих — его опустит в Москве один наш полковник, уезжающий сегодня вечером. Не знаю, получаешь ли ты мои письма, я пишу часто, и последнее письмо отправил с старшиной, сопровождающим наш транспорт в Москву. Я получил два твоих письма, самых первых, и с тех пор опять ничего о вас не знаю, тревожусь и волнуюсь — почти месяц ведь с 21 марта! Правда, ни Филиппов, ни Григоров вообще ни разу еще писем не получали. Завтра или послезавтра я уеду дней на десять очень далеко от нашей полевой почты, так что уж вовсе ничего не смогу получить. Я совершенно здоров, и все у меня в порядке, устаю только очень. Вероятно, после этой поездки (десятидневной) поедем в Москву — должно быть,

выедем около 1 мая. Но это не наверное, так что может выйти и иначе и я приеду позже. Но, во всяком случае, в Москву поедем в скором времени, в зависимости от хода военных действий и планов Комитета по делам искусств. Мне ужасно хочется вас видеть.

Я несколько раз описывал нашу жизнь тут, ничего нового нет, все по — прежнему. Живу в одном и том же городе, отсюда езжу на «виллисе» куда нужно, иногда очень далеко. Обычно занят с утра до вечера сплошь, так что потом ноги как свинцовые и голова совсем не работает. Впечатлений самых разнообразных очень много, они меня утомляют, и я на все иногда взираю с полным равнодушием — всего нужно в меру. Мои товарищи — оба очень хорошие, — с ними легко и просто. Да и кругом очень много людей как следует. Читать совсем не успеваю и горестно думаю об этом. Как много уже забыл из того, что обдумывал для диссертации, многое придется начинать сначала. Вообще, у меня нет уверенности, что Комитет поступил со мной мудро — я недоволен результатами своей работы. Может быть, впрочем, это и успеет еще измениться, но все-таки 1 $'/_2$ месяца прошли довольно-таки непродуктивно.

Только что, сию минуту, приехал Филиппов и привез мне Машукушкино письмо от 23 марта. Я очень доволен. Машукушка, передай от меня низкий поклон Александру Борисовичу. Я слышал по радио указ о его награждении орденом Ленина и послал ему тогда же письмо. Получил ли он его? Ты закрой свой театр от пыли, чтобы не испортился, пока ты его не продолжаешь. И «Сон в летнюю ночь» спрячь, для меня. Я очень рад, что ты вздумала отправиться в Гравюрный кабинет, там ведь уйма всяких интересных вещей. Очень меня занимает, что делается в музее — я ничего не знаю. Мне очень приятно твое мнение, что мама читает лекции лучше меня — это в самом деле так, и всегда так было. Если опять где-нибудь увидишь Грабаря — кланяйся ему и скажи, что я написал очень подробное письмо на имя Виппера с просьбой показать Грабарю и Лазареву — там описана вся моя работа тут. Кланяйся от меня всем друзьям, кого увидишь. Сходи в Художественный институт, узнай, что там делается, и тоже передай поклоны, в особенности С. В. Герасимову.

Целую вам обеих крепко — крепко и очень хочу увидеть поскорее. Я очень без вас скучаю. А.

20/1V-45

Наташенька, милая, милая, моя любимая!

Уже с неделю я кочую по Силезии из конца в конец. Перебывал во множестве городов и городков, видел очень

красивые места, видел издали Совиные горы (скоро уже, наверное, увижу и Исполиновы горы). Устаю по — прежнему, но настроение очень хорошее и езжу не зря. Сейчас мы разделились на две группы — я вместе с нашим музыкантом (который очень неприятен, но, в общем, в силу своей необычайной практичности, удобный компаньон) обитаем в огромном замке, посреди чудесного парка. При нас на этот раз команда красноармейцев и шофер с «студебекером». Замок не старый, но интересный. Пробудем здесь, должно быть, дней 5. Весна уже в полном разгаре, деревья зеленые и трава густая, на рассвете роса и поют птицы. В самом замке я ночевал лишь одну ночь, в одиночестве (т. к. приехал вперед), теперь живем наверху двухэтажного служебного дома. Яблони цветут, солнце — очень хорошо. Но я больше всего хочу в Москву, несмотря на то, что сейчас, пожалуй, много интереснее, чем первый месяц.

В замке большая старая библиотека (с середины XIX века), которую я еще и не разглядел как следует. Удивительно, что нигде до сих пор, ни в замке, ни в городах, я не видел хорошей старой живописи — так и не прибавил пока ничего к своим представлениям о старых мастерах. Всюду обычная немецкая дрянь XIX века (или, что еще хуже — XX века). Только книги видел очень хорошие в изобилии. Очень приятно и легко встречаться в самой, иногда, глуши с русскими людьми. В подавляющем большинстве случаев. Немцев тут вовсе не видать — или ушли со своими отступающими войсками, или, что чаще, переселены в восточные районы, чтобы не мешались. Вид у них, когда их видишь, довольно-таки растерянный — они не ожидали таких, для них неожиданных, поворотов судьбы. Поляки на правом берегу Одера развешивают польские названия улиц вместо немецких, сбивают немецких орлов и вообще устраивают вид; любезны чрезвычайно и раскланиваются так долго, что никак от них не уйдешь. Но меня они мало интересуют. Немецкую же «душу» я теперь понял как следует — и она очень малопривлекательна, выражаясь деликатно.

Когда закончится наша командировка — не представляю. Из Москвы нам продлили ее до 15 мая. Филиппов считает, все-таки, необходимым съездить в Москву обязательно, т. к. в Комитете до делам искусств, видимо, плохо понимают условия нашей работы. Сообщили, например, что перевели нам деньги, которые нам тут ни на что не нужны, а людей не шлют, и вообще довольно легкомысленно относятся к нашим письмам. От тебя у меня писем, естественно, нет — последнее было Машукушкино от 23 марта — месяц уже ничего о вас не знаю. Твою просьбу понемногу начал осуществлять, но совсем не так, как мне бы хотелось —

ничего, покуда что, не получается. Надеюсь, все же, что выполню, без этого не хотел бы даже приезжать раньше времени[32]. Очень хочется знать, что у вас делается, но узнаю не раньше 1 мая, должно быть, а может быть, и позже — очень возможно, что вернусь к своей «коренной» гостинице еще позже. Целую тебя и Машукушку крепко — крепко. Всем кланяюсь. А.

Машукушка, я живу в самом настоящем замке с башнями, подземельями, потайными ходами, которые вдруг открываются в каком-нибудь шкафу вместо книг, с огромным парком кругом замка, с озером, бесчисленными службами, оранжереями и пр. и пр. Тут есть почти все, что полагается по Вальтеру Скотту, только рыцарских доспехов нет, потому что хозяин — граф больше интересовался доходами от рудников и охотой, и еще, надо думать, нет и привидений, потому что готические галереи не настоящие, а поддельные — сделаны лет 75 назад. Книг тут уйма, а картины — плохие, вкуса у хозяина не имелось никакого.

Когда встаешь в 6 часов — по росе на густой зеленой траве со всех сторон прыгают зайцы, серые и черные, — должно быть, черные — это одичавшие кролики. Через луг от одного огромного дуба (еще без листьев) до другого мчатся белки. Птицы поют хором, самые разные, пока еще не разберу, какие. Я наслаждаюсь чудесным молоком, которого не пил чуть не с отъезда из Москвы. Будет и творог, и сметана. У меня команда красноармейцев, и с ними есть и девушки, которые замечательно стряпают — мне очень надоело жить на одних консервных супах. Вчера мы нашли в замке графские грамоты, пожалованные ему прусским королем, с сургучными печатями в оправах чуть не по пуду весом. Просто чудно, что все это не далекая история, а было совсем недавно, только что. К чести графа нужно сказать, что он, видимо, фашистов не больно жаловал — во всем замке не оказалось ни одной фашистской книги, и портреты только Вильгельма Второго да Гинденбурга, никаких Гитлеров.

В замке 250 или 300 комнат, не считая всяких переходов, коридоров, чердаков, башен и прочего. Если завернешь не в ту сторону — пиши пропало, час проплутаешь, пока выберешься. Прямо лабиринт какой-то. Сколько там народу зря кормилось, всяких прислуг и прихлебателей, должно быть! А граф, наверное, жил в Берлине и приезжал на неделю в год поохотиться. Оленьих, бараньих, козлиных рогов в замке ужас сколько. Есть даже голова зубра и слоновьи ноги, граф изволил охотиться и в Африке! Мне очень жалко, что я так далеко от своей полевой почты, когда-то я узнаю, что у вас! Последнее письмо было твое, от 23 марта. Ты не обижай маму ни в коем случае — я, правда, и не думаю, что ты это делаешь.

Кланяйся всем друзьям, в особенности Лазаревым. Скажи Виктору Никитичу, что я ему нашел и привезу несколько хороших книжек по итальянскому и даже по древнерусскому искусству.

Целую тебя крепко — крепко. А.

Отец приехал из Германии 6–го или 7 мая 1945 года. Радость от его благополучного возвращения слилась воедино с той ни с чем не сравнимой радостью и подъемом, который переживали мы все в эти победные дни. 9 мая, кажется, вся Москва выплеснулась на улицы. Папа был еще в военной форме — как приветствовали, как чествовали в тот день солдат и офицеров! Им пожимали руки, за ними ходили толпы мальчишек, их то и дело начинали подбрасывать в воздух. Помню, как на Манежной площади в слитой толпе мы столкнулись с Верой Степановной и Димой, нашими ближайшими друзьями и соседями, и восприняли это как нечто вполне естественное, только вернувшись вместе домой, посмеялись — надо же было найти друг друга в многотысячной массе народа! В тот день всё казалось возможным, достижимым и сказочно — прекрасным…

Как заметил, конечно, читатель, отец в этих письмах практически ничего не пишет о своей работе по «сбору трофеев», и я позволю себе приложить сюда его позднюю (1991 года) статью по этому вопросу.

О трофейных ценностях

В последнее время «Литературная газета», а за ней Министерство культуры РСФСР развернули шумную кампанию против наших двух крупнейших музеев мирового искусства — Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа — за то, что в этих музеях до сих пор хранятся художественные произведения, вывезенные в последний год Великой Отечественной войны из Германии. Обуза и беда этих музеев была сначала подана как эффектная сенсация, а потом эта сенсация обернулась дикой клеветой якобы умышленного удержания в своих запасниках чужого добра, давно подлежащего возвращению законному владельцу — нынешней ФРГ.

В конце войны и в первые послевоенные годы с середины 1944–го до конца 1949–го я работал в Музее изобразительных искусств имени А. С.Пушкина и волею судеб оказался близко причастен к нашим взаимоотношениям с тогдашней Германией. Потому могу рассказать о причинах и «истоках» сложившейся в наших музеях ситуации, в которых они нисколько не повинны.

Нужно помнить про тот огромный урон, который нанесла нашей стране вторгшаяся фашистская армия. Ею было разрушено множество драгоценных исторических и художественных памятников, в том числе такие, как новгородские церкви Спас Нередица и церковь на Волотовом поле, как собор Киево — Печерской лавры, как Новый Иерусалим около Волоколамска, как дворцы в пригородах Ленинграда, как чудесный дом Гагарина в Москве, где находилась Книжная палата, — дом сгорел от немецкой бомбежки вместе с множеством новых, только что вышедших книг. Из нашей страны без всяких церемоний была вывезена масса художественных произведений, вплоть до таких фундаментальных, как Янтарная комната из Большого Царскосельского дворца или знаменитый фонтан Козловского из Петергофа.

Когда в конце войны наши армии вступили на территорию Силезии и Восточной Пруссии, мы тоже стали вывозить в качестве трофеев разные вещи — от оборудования заводов до художественных ценностей, в очень малой доле компенсировавших наши потери. Такой сбор трофеев тогда считался естественным и законным, как со времен Адама считалось в случаях военных столкновений разных стран друг с другом. После того, что проделали фашистские войска у нас, трудно было воспринимать подобные ответные действия как что-то предосудительное.

В музее я ведал одним из отделов музея, фактически был помощником нового директора музея С. Д. Меркурова. Так что на меня взваливалась весьма основательная и сложная работа. Потому в 1945 году я дважды был послан в Германию. В первый раз на Первый Украинский фронт в Силезию и Бранденбург с января до мая — собирать трофеи, а второй, в конце 1945 года, — в составе комиссии, направленной для проверки деятельности наших трофейных комиссий во всей восточной половине Германии.

Второй раз я побывал во многих городах и обнаружил, что некоторые высокопоставленные партийные и министерские чиновники занялись непозволительным «самообслуживанием» — будучи членами государственных трофейных комиссий, собирали для собственных персон целые вагоны дорогой мебели, ковров, фарфоровых сервизов и т. п. Те, что были уличены в подобной деятельности, лишились своих теплых мест и вконец испортили свою карьеру.

Летом, между моими двумя поездками, в Москву пришло сообщение, что украинский писатель Волынский, бывший с нашей армией в Германии, нашел хорошо замаскированную

заброшенную совершенно сухую соляную шахту, где были спрятаны ящики с картинами Дрезденской галереи. Волынского почему-то оттеснили, а в Германию Комитетом по делам искусств была направлена комиссия из шести человек, которая извлекла ящики из шахты и отправила в Москву. Мне пришлось принимать и распаковывать эти ящики, картины были завернуты в прекрасное дорогое сукно и очень тщательно упакованы. Все они были в прекрасном состоянии. Мне было приказано во всем только что отремонтированном нижнем этаже музея развесить всю картинную галерею музея, перемешав наши картины с дрезденскими. Ни о каком «спасении» Дрезденской галереи тогда и речи не было, она считалась трофеем. Но когда развеска была закончена, какое-то высшее начальство открыть экспозицию для широкой публики не позволило, а распорядилось дрезденские картины поместить в двух отдельных залах и пускать туда только избранную публику с разрешения директора музея. Я был назначен Комитетом по делам искусств главным хранителем «Особого фонда», и в течение нескольких лет я ежедневно показывал дрезденские картины знатным посетителям: членам Политбюро, маршалам, генералам, именитым ученым, писателям, художникам, артистам, музыкантам и т. д. Конечно, в эти залы допускались и историки искусств, а я сумел показать Дрезденскую галерею своим студентам из Московского художественного института, где был доцентом.

Следует сказать, что Дрезденская галерея была привезена в Москву не полностью — какую-то ее часть спрятать не успели и она погибла во время чудовищной бомбардировки Дрездена, зачем-то устроенной незадолго до окончания войны английской авиацией (в одну ночь погибло триста тысяч человек).

Не помню, в 1947–м или 1948 году в судьбе Дрезденской галереи наступил перелом. Мне позвонил председатель Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко и сказал, что на другой день в музей приедет Поскребышев, личный секретарь Сталина, и надо его встретить. На другой день сам Храпченко загодя приехал в музей, и мы вдвоем долго дожидались в портике музея приезда сверхважного посетителя. Поскребышев, наконец, приехал, с ним В. В. Кузнецов, председатель ВЦСПС. Поскребышев был низок ростом, коренаст, голова у него сидела на плечах словно без шеи, он ни с кем не здоровался и не прощался, почти не произносил ни слова и был очень мрачен. Это был самый страшный человек, какого я видел за всю свою жизнь. Храпченко пошел с Поскребышевым вперед, я — позади с Кузнецовым. Раза два Храпченко позвал меня, чтобы я помог ему объяснить Поскребышеву что-то, чего тот не мог понять. Храпченко страшно

волновался. Кузнецов, интеллигентный человек, смотрел картины с интересом и восхищением, Поскребышев (за которым я все время наблюдал) — с тупой отчужденностью и даже гадливостью — он явно, по доносившимся до меня редким вопросам, решительно ничего не понимал — в том числе и того, куда это его занесло. Храпченко вздохнул с облегчением, когда Поскребышев уехал. Но на другой день от Сталина пришел приказ прекратить допуск к Дрезденской галерее кого бы то ни было. В залы Дрезденской галереи разрешалось входить только Меркурову, мне и реставраторам. Дрезденская галерея была переведена на положение «совершенно секретно», чтобы ни одна душа даже не догадывалась, что она все еще находится в музее.

О ней вспомнили только в 1956 году, когда Дрезденская галерея стала предметом дипломатической игры. Был сделан широкий жест: галерея была возвращена ГДР, очевидно чтобы похвастаться своим необыкновенным благородством: вот, немцы у нас натворили бог знает какие безобразия, а мы этого даже не помним.

Меня эта передача картин в новоявленную фальшивую ГДР, как и В. Н. Лазарева и других ученых, историков искусства, глубоко возмутила. Оставлять всю Дрезденскую галерею не было, конечно, никакой надобности, но руководство ГДР могло бы сообразить, что не мешает оставить нам хотя бы десяток хороших картин в компенсацию за великий ущерб, нанесенный нашей стране. Из Эрмитажа были возвращены в Берлин Пергамский алтарь и коллекция древнеегипетского искусства с дивным портретом царицы Нефертити, жены великого фараона — еретика Эхнатона. Но ряд отдельных картин и целых коллекций продолжал оставаться в Москве и Ленинграде, явно перейдя из ведения Министерства культуры СССР в ведение Министерства иностранных дел, как резерв для каких-то новых дипломатических пируэтов. Когда И. А. Антонова стала в начале шестидесятых годов директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина, она обращалась с одним и тем же вопросом к сменявшим друг друга министрам культуры СССР (начиная с Е. А. Фурцевой), но никакого ответа не получала. Видимо, сами министры не имели права самостоятельно решить вопрос о судьбе остававшихся у нас чужих коллекциях. А чиновники рангом ниже говорили запросто «извольте помалкивать». Было строго запрещено даже упоминать, что у нас еще что-то осталось со времен войны, и от сотрудников музеев, уезжавших в командировку за границу, бралась расписка о их неукоснительном молчании по поводу художественных произведений, еще оставшихся никуда не возвращенными. Да и

все ли подлежало возвращению? Я что-то не слышал, чтобы за прошедшие с окончания войны долгие годы к нам вернулось хоть что-нибудь из Германии. Знаю, что пытались отыскать хотя бы Янтарную комнату, но она словно в воду канула.

Вопрос о возврате немецкого имущества в ФРГ совсем не простой. Шум, критики и инсинуации дела решить не могут. Должна быть создана высокоавторитетная комиссия, которая должна решить, что нужно вернуть, а что оставить в возмещение урона, понесенного нашей страной и никак до сих пор не возмещенного даже в самой малой доле. Почему любезность должна быть односторонней? Никакими миллионами долларов нельзя оплатить разрушение Спас Нередицы или разорение пригородов Ленинграда — пусть компенсация будет не эквивалентна и далека от действительной ценности потерянных нами памятников, но, во всяком случае, благородство должно быть взаимным. Не требовалось, конечно, оставлять нам Сикстинскую Мадонну Рафаэля, всегдашний предмет гордости Дрезденской галереи. Но почему было бы не оставить «Спящую Венеру» Джорджоне, к которой в Дрездене не одно столетие относились с полным пренебрежением: я своими глазами видел в старом рукописном инвентаре галереи, как эта чудесная «Венера» была обозвана «eine schlechte Kopie nach Tizian»!

А. Чегодаев. 30/X-91.

Послесловие

Отец оборвал свои воспоминания 1945 годом — а ведь после того было у него еще почти полстолетия (он умер 89–ти лет 8 апреля 1994 года) яркой, очень насыщенной творческой жизни. Монографии — о Констебле, об Эдуарде Мане, об американском искусстве, о многих советских художниках — Дейнеке, Шмаринове, Пименове, Сарьяне, Сергее Герасимове; несколько сборников статей, последняя книга «Наследники мятежной вольности» — об искусстве начала XIX века; поездки в Италию, Англию, Францию, США, на Кубу, в Чехословакию; знакомства с людьми столь же интересными и значительными, как те, чьи образы промелькнули на этих страницах, — о некоторых отец успел упомянуть: Феллини, Гуттузо, Товстоногов. Многолетняя дружба связывала отца с известными американскими художниками Рокуэллом Кентом и Антоном Рефрежье, с поколением художников и искусствоведов послевоенной формации, многие из которых считали себя его учениками: с Виталием Горяевым, Леонидом Сойфертисом, Анатолием Никичем, Беньямином Басовым, Маем Митуричем, Валерием Прокофьевым, Александром Каменским, Евсеем Ротенбергом. С чудесным переводчиком Вильгельмом Левиком. С кинорежиссером Михаилом Швейцером…

Огромную роль сыграли в последние десятилетия жизни отца его внуки, мои сыновья, усыновленные и воспитанные им. Они были названы в честь своих прадедов — Михаилом и Дмитрием и носят отчество деда — Андреевичи. Дождался отец и правнуков и радовался, что в XXI веке будет жить Андрей Дмитриевич Чегодаев, младший сын Мити. Право же, совсем неплохой итог почти девяностолетней жизни!

Почему же все-таки не стал писать отец об этих десятилетиях? Мне кажется, что, несмотря на то, что его личная жизнь была богата событиями, сами эти десятилетия, куда более спокойные и благополучные, нежели встающие в его воспоминаниях 20–е, 30–е и 40–е, резко отличались от них какой-то болотной неподвижностью, полным концом всех иллюзий, надежд, ожиданий, которые, несмотря ни на что, пронизывали страшное сталинское безвременье, годы войны. «Застой» — это обычное определение периода, последовавшего за краткой эпохой «оттепели» начала 60–х, как нельзя лучше характеризует остановившееся, словно бы впавшее в летаргический сон время, очень напоминающее своим общественным бытием ту атмосферу сытого, самодовольного, ко всему безразличного тупого

мещанства, которую ощутил отец в Польше и Германии весной 1945 года и с такой страстью осудил. Ему не захотелось писать об этом «бытии».

Когда настали годы «перестройки», а по существу — полный слом и конец так многого из того, что составляло жизнь страны и общества на протяжении всей взрослой жизни отца, — годы вновь обретенных вспыхнувших надежд (до заката этих надежд отцу, слава Богу, дожить не пришлось), — он встретил эти перемены как редко кто из стариков: с величайшей радостью, воспринял всё глазами и сердцем своих молодых внуков.

Я беру на себя смелость завершить воспоминания Андрея Дмитриевича Чегодаева свидетельством его внука Михаила Андреевича Чегодаева — письмом к уехавшему в Израиль другу Геннадию Пинскому, хранящим живое дыхание трагических дней августа 1991–го.

Бывают события, глубинное значение которых выходит за пределы сиюминутной политической конъюнктуры и ближайших зримых последствий. В те три дня и три ночи после многих десятилетий Россия вновь обрела Христа, и Богородица осенила Своим Покровом многострадальный и безбожный народ, — это ощутили все защитники Белого дома, в том числе те, кто сейчас старается забыть об этом.

Решаюсь утверждать: не было в жизни моего отца (и в моей жизни) более страшной и более святой ночи, чем ночь с 20–го на 21 августа, когда Митя, сотрудник мэрии и руководства «Демократической России», с одним автоматом на пятнадцать человек оборонял здание Моссовета, окруженное бэтээрами, а Миша, безоружный, как все, стоял у стен Белого дома. Трагедии не произошло в том масштабе, в каком она могла бы произойти, но для трех матерей та ночь стала концом света. Для многих тысяч ***— могла стать.*** Великая ночь искупления и воскресения…

Письмо из августа 1991 Года

Генка, милый, здравствуй!

Ты, наверное, знаешь у себя в Израиле о перевороте — об этом так много сообщали, но ни один репортаж не способен передать холодный ползучий ужас, сковавший нас на рассвете 19 августа, и пьянящее чувство победы, которое овладело всеми вечером 21–го, когда стало известно, что все сволочи уже арестованы и Горбачев летит в Москву.

Наверное, так начинается война. Митька, брат, позвонил в семь утра. Звонок прозвучал необыкновенно резко. Я выскочил в

коридор — мама держала в руках трубку: «Все. Военный переворот. Горбачев снят». Я включил телевизор: гладкий диктор без всякого выражения читал текст; таких слов я давно не слышал. Митька сказал, что бежит в Моссовет, в мэрию, хотя ни у Ильи Заславского, ни у других «демроссов» телефоны не отвечают. Надо было что- то делать, что-то решать. Ужас — гнусный, липкий. Ужас оттого, что мы ведь все где-то в глубине души этого ждали, — и вот оно, любуйся.

По радио и телевидению крутили воззвания и постановления ГКЧП, по всем программам одно и то же: чрезвычайное положение, запрет митингов и демонстраций; потом закрытие всех газет кроме девяти самых гнусных и т. д. Самое ужасное — полное отсутствие информации. Митька позвонил из мэрии и сказал, что он там один и где находится российское правительство и что с ним, неизвестно.

Сидеть дома было невыносимо, я вышел на улицу и остолбенел: по Ленинскому проспекту сплошным потоком шли танки, пятнистые, с закрытыми люками и пушками, повернутыми на людей, стоящих на тротуарах. Я вернулся домой, поймал «Эхо Москвы». Эти замечательные ребята, сидящие на Никольской, в трехстах метрах от Кремля, вели себя просто геройски. В тот момент они передали самое главное для нас: Ельцин в Белом доме. Немного отлегло. Раз он на свободе, может быть, еще не все кончено.

Время тянулось невероятно медленно. Мы что-то делали, что-то говорили. Было похоже, что какая-то липкая трясина затягивает нас и нет никакой возможности ей противиться. За окном что-то хрюкнуло, и окна затряслись от раскатистого хриплого голоса: эти недоноски пригнали грузовик с мегафоном и стали транслировать обращения ГКЧП. А промежутки между словами заполнялись грохотом танков с Ленинского проспекта.

Я позвонил в мэрию и узнал, что Митька на Манежной ведет митинг, но площадь оцеплена бэтээрами. Я стал звонить в Белый дом. Отвечали, не спрашивая, кто звонит: у дома толпы людей, спешно строят баррикады, на некоторых танках появились трехцветные флажки…

День подошел к концу. В девять произошло невероятное: в чудовищно гнусной программе «Время», в которой рассказывалось, как народ с восторгом поддержал ГКЧП, неожиданно пошел репортаж Сергея Медведева с московских улиц. Он показал митинг на Манежной (был там и Митька), выступление Ельцина с танка у Белого дома и баррикады на улицах. Потом опять пошла какая-то муть о необходимости борьбы с предпринимательством… Заснуть я в ту ночь не мог.

Только после четырех отрубился под грохот танков: Язов начал менять войска, так как таманцы и кантемировцы стали слишком охотно поднимать трехцветки.

Двадцатое августа началось с ультиматума ГКЧП российскому правительству. В Москве ввели чрезвычайное положение, назначили военного коменданта. И все-таки было уже не так гнусно, что-то говорило о том, что раз переворот не удался в первые двенадцать часов, то шансы победить у него начинают падать. Люди вели себя демонстративно смело, по телефону говорили все своими словами. В 11 часов по телевизору передали пресс — конференцию ГКЧП. Это было настолько тошнотворное зрелище, что никаких иллюзий не могло остаться даже у самых твердолобых.

Непрерывно звонил телефон. Звонили из мэрии, из Моссовета, передавали информацию, спрашивали, просили что-то передать… Ельцин объявил о переводе армии под юрисдикцию России. Десять танков подняли трехцветки и встали на защиту Белого дома. Потом передали, что десантный полк генерала Лебедя занял оборону в Белом доме. Стало ясно: у путчистов остается только один путь — штурм.

В 12 часов я был на Тверской. Возле Телеграфа она была перегорожена стеной из бэтээров, здание занято солдатами. В ста метрах от них шел митинг у Моссовета. Выступал Шеварднадзе, его встретили как героя. Переулками я добрался до Белого дома. Вокруг было так много людей, что подойти к нему было просто невозможно. На глаз — тысяч триста. Время от времени народ начинал звать Ельцина. Наконец он появился в окружении телохранителей, так как на крышах домов обнаружили снайперов. Ельцин нашел какие-то очень нужные слова. Вообще он держался удивительно достойно и храбро.

Митинг кончился. Всех, кто только может, призывали прийти ночью к Белому дому, потому что ситуация очень мрачная: из Кремля сообщили, что решение о штурме уже принято, в Москву снова пошли войска. В этот момент пришло известие, что в Питере путч подавлен. Можешь себе представить, как это было воспринято. Люди скандировали: «Россия! Россия! Фашизм не пройдет!» В тот момент я увидел, как изменились лица людей. Все наше российское хамство мгновенно улетучилось. Все относились друг к другу необычайно бережно. Когда народ стал расходиться, я испугался — начнется давка — митинг фактически шел на баррикадах. Но ничего не случилось: мужики стали на руках переносить женщин и стариков через завалы. Генка, я не фантазирую, не утрирую, это была не толпа, это был народ, теперь я, кажется, стал понимать, что это такое.

Я пробрался к главной лестнице Белого дома, где шла запись в Народное ополчение. (Потом оно стало Национальной гвардией, спасшей Москву от анархии.) Записывались фактически все мужчины. Женщин не записывали, но это их мало заботило: уходить все равно никто не собирался. Порядок был образцовый. Никто не суетился, не кричал. Из записавшихся формировали отряды, которыми командовали отслужившие в армии. Было много «афганцев»… Картина была удивительная: тут были казаки в папахах, священники, работяги, много совсем молодых ребят и девчонок, кришнаиты со своими колокольчиками. Я встретил человек двадцать знакомых…

Я записался и побежал домой перекусить. На улицах были толпы, настроение стояло какое-то приподнятое, вчерашняя растерянность прошла, и появилась уверенность, что пассивного отступления перед путчем не будет. Я сказал маме, что ночью пойду к Белому дому. Она ничего не ответила: в тот момент все понимали, чем может кончиться штурм, но отговаривать идти было просто невозможно.

К вечеру ситуация резко ухудшилась. Отключилось «Эхо Москвы», по «Свободе» передали ультиматум ГКЧП. Началось движение военной техники, и у Белого дома впервые объявили тревогу. Я стал быстро собираться. Звонили ребята, говорили только одно: «Когда идешь?» Я тщательно побрился (зачем?). Мама собрала какую-то еду… Снова заработало «Эхо Москвы». На связи был Белый дом. Положение стало критическим. Из здания эвакуировали женщин, защитникам раздали противогазы. Потом сообщили, что вновь объявлена тревога, — похоже, что штурм начнется с минуты на минуту. К телефону в Белом доме стали поочередно подходить депутаты и прощаться… Слушать это было невыносимо. Ждать больше было нельзя. Я присел на диван и почувствовал, что меня бьет дрожь. Позвонил Митька, сказал, что дело действительно дрянь. Вокруг Моссовета бэтээры, обороняют его маленький отряд омоновцев внутри и они — пятнадцать человек. И тут прибежала Ольга: «Я с тобой!» Спорить с ней было бесполезно.

Появились ребята, и мы пошли. Поймали такси: «К Киевскому вокзалу!» Боялись, что к Белому дому таксист не поедет. Москва притихла. Людей на улицах не было. Возле вокзала таксист спросил: «Вы к Белому дому, ребята?» Мы молчали. Он так же молча подвез нас к Калининскому мосту — дальше были баррикады. Пожилой таксист пожелал нам счастья и как-то очень тяжело вздохнул, денег не взял.

Сквозь густую толпу и завалы мы пробрались к Белому дому. Его неуклюжая громада с ярко освещенными окнами серела на

фоне грозового ночного неба, а где-то высоко над ним метался на троссе аэростат с огромным трехцветным флагом. Вокруг здания колыхалась толпа. Со всех сторон здания, за баррикадами находились безоружные люди. Я огляделся по сторонам на людей, на наши смешные баррикады, конечно, не сумевшие бы задержать нападающих и на пять минут… Нас здесь много. Но мы безоружны, а против нас танки, спецназ. Я смотрел на лица людей и понимал: они чувствуют то же самое, что и я: «Они не посмеют. Но если все-таки они перейдут через кровь — наш последний рубеж обороны, то шансов выжить практически нет». Почему-то мне вдруг стало спокойно. Вдруг стало понятно, кто есть кто, для чего мы живем. Все люди разные, по- разному ведут себя: горздрав распорядился диспетчерам «Скорой помощи» не принимать вызовов с улиц — и ведь подчинились, гады. Но человек 400 врачей и целые бригады «скорых» приехали к Белому дому и развернули палатки…

Я стоял в цепи, держал за руки Ольгу и Сергея и чувствовал, правда, Генка, чувствовал, что огромная теплая волна чего-то удивительно светлого накрыла собой Белый дом и всех нас. Люди вели себя удивительно. Я никогда не думал, что наше замученное, злое «народонаселение» способно на такую нежность и доброту. Со всех сторон приходили люди, приносили горячую еду, хлеб. «Эхо Москвы» сказало, что у защитников Белого дома нет сигарет, — вот возьмите». И знаешь, ребята отказывались. Не потому что не хотели есть — многие стояли тут уже вторые сутки, — просто мы в тот миг не могли сразу набрасываться на приготовленную с такой любовью еду. Мы были как галантные гости — потом, конечно, брали…

Прошел еще час. Над нами с грохотом пропилил вертолет. Все притихли: десант сверху — это то, чего боялись больше всего. Стало точно известно, что штурм начнется в полночь. У нас еще было сорок минут. Мимо нашей шеренги медленно шла пожилая женщина, внимательно вглядываясь в лица ребят. Пройдя мимо меня, она остановилась возле Ольги и протянула ей иконку Владимирской Богоматери: «Возьми, тебе нужно сейчас…» — и исчезла.

Ольга дрожала от холода, я сказал: «Пойдем, позвоним домой», — хотел, чтобы она подвигалась, согрелась. У Белого дома телефонов нет, пришлось идти к Калининскому проспекту. У Садового, откуда-то от первого кольца баррикад, раздались крики, и толпа бросилась вперед: из-за домов со стороны площади Восстания раздался гул танковых моторов. Без десяти двенадцать раздались первые выстрелы. Я понял — началось, и мы побежали вместе со всеми. Выстрелы слились в один

сплошной грохот. Небо прочертила красная очередь трассирующих пуль. «Какие странные ракеты!» — удивлялась какая-то женщина, — она не понимала, что происходит. Толпа шарахнулась назад, кто-то помчался вперед. Мы с Ольгой оказались одни на пустой площади. От американского посольства, прорвав баррикаду, двигалась колонна танков, непрерывно стреляя из башенных пулеметов. Они уже входили в тоннель, и очередь резко скользнула вниз. Пули с комариным писком летели на уровне моей головы и рикошетом хлынули под ноги… Я схватил Ольгу за руку, заорал: «Пригнись!» — и изо всех сил потащил ее вперед через площадь. Нас подхватили чьи-то руки и повлекли подальше от перекрестка.

Рядом был автомат, я набрал номер и сказал маме, что, видимо, бой начался. Рядом кто-то отчаянно кричал по-французски: «Передаю с Калининского проспекта! Штурм начался!» Ольга, которая, кажется, не очень понимала, что творится, выбежала на Калининский едва не под колеса обезумевшей легковушки, спасавшейся от танков. Танки уже вошли в тоннель. На пересечении уже опять была толпа, раскачивающая «Икарус», подъехавший к самому краю тоннеля. Народа было так много, что через минуту автобус с чудовищным грохотом рухнул вниз, отрезав вошедшие под мост танки. Остальные остановились возле посольства и снова открыли огонь.

Надо было спешить к Белому дому. Через площадь было опасно, я решил обойти тоннель со стороны Смоленской. Выход из тоннеля был перегорожен троллейбусами. Вокруг них сгрудилась толпа. Мы стали пробираться сквозь нее, и тут в тоннеле раздался усиленный эхом рев двигателей, и два успевших войти в тоннель танка двинулись на баррикаду. Люди кинулись к ним навстречу, умоляя остановиться. Какой-то парень с мегафоном встал перед ними на колени и стал молить танкистов остановиться. Я опустился рядом с ним, раскинув руки. Танк остановился, потом сорвался с места и, едва не задев нас, врезался в ближайший троллейбус. Раздались крики, БМП дал задний ход и снова бросился на троллейбус. Подошел второй. С каким-то противоестественным упорством они снова и снова бросались на беззащитные троллейбусы. Грохот и лязг металла, непрерывные выстрелы, которых уже никто не замечал, и беспросветный крик слились во что-то неописуемо чудовищное. И все это под мирным ласковым желтым светом фонарей. Я никогда не думал, что он может быть таким страшным.

В момент очередной атаки на один из БМП вскочили несколько ребят с брезентовым тентом и накрыли его сверху. Ослепленное чудовище, ударяясь о стенки туннеля, попятилось,

увлекая с собой ребят. Люк открылся, раздались выстрелы, и тент стал быстро вползать в чрево танка. В последнюю секунду один парень вырвался из рук отчаянно державшей его девушки и успел вскочить в БМП. Люк захлопнулся. БМП рванулся с места. Несколько человек бросились ему наперерез. Но тут случилось нечто жуткое: задний десантный люк откинулся, и оттуда вывалился парень, минуту назад вскочивший в БМП. Он был мертв. Наполовину он застрял в люке, и его голова и руки волочились по асфальту. Это было в двух метрах от нас. Толпа застонала. В тот миг Рубикон был перейден. Наша надежда рухнула — кровь пролилась. Число жертв уже не будет иметь значения. БМП начал кататься взад — вперед, возя убитого по асфальту, чтобы он отцепился. Асфальтом ему свезло лицо, и чудовищные кровавые полосы расползлись по дороге.

Люди обезумели. Они били кулаками по броне, кидали палки и камни, и над всем этим стоял плач: «Убийцы! Убийцы!» — и почти мольба: «Неужели ни у кого нет бензина?» А эта бронированная гадина вертелась волчком в слитой толпе под непрерывные вспышки блицев фотокорреспондентов. В какой-то момент он зажал себя в угол между троллейбусами. Вырываясь, дернулся назад и сшиб женщину. Ее подхватили, но тут же гусеница танка затянула куртку молодого мужика, и рванувшийся вперед танк раздавил ему голову. Сделав крутой вираж, танк снова ринулся на людей, и в этот миг между ним и мной взметнулось пламя. Бутылка с бензином попала в цель, БМП вспыхнул как факел. На фоне огня показались черные фигуры танкистов. Стреляя на бегу, они бросились ко второму, очевидно, заглохшему танку. Люди устремились за ними. Танкисты скрылись во второй машине. Люди с бутылками бросились к ней, но наперерез уже бежали омоновцы, призывая через мегафон танкистов сдаться, а людей — не чинить самосуд. Поразительно, но и те, и другие подчинились. Видел бы ты несчастные лица этих ребят, когда их повели к Белому дому. Бой кончился. Я взглянул на Ольгу. Она стояла рядом и не мигая смотрела на раскатанные по асфальту человеческие мозги и лужи крови, в которых бесилось пламя…

А на следующий день наступил обвал. Вечером, когда уже работало телевидение, Горбачев вернулся в Москву, инаваждение кончилось. Потом было многое: и дежурство в Национальной гвардии, когда город был фактически неуправляем и начались погромы памятников, и сенсационные изменения в нашей стране. Кровь на ботинках уже почти не видна, но еще горят свечи на месте гибели ребят. Над Белым домом и Моссоветом развеваются трехцветные флаги, и КПСС фактически запрещена. Мы стали

другими. Лица людей еще не приняли привычного хмурого выражения. Надолго ли? Я тоже стал другим. Я вдруг понял, что удивительно люблю Россию, и окончательно утвердился в мысли, что мелькнула у меня в голове, когда танки пошли на нас: «Нет уж, сволочи! Хоть катками давите меня, но теперь уж я отсюда не двинусь ни на миллиметр!»

…А по ночам я все бегу и бегу под пулями через пустую площадь, тащу Ольгу за руку и не знаю во сне: добежим ли.

Посылаю тебе российский флажок. Храни. Коль беседер![33]

Миша.

…В ту ночь Андрей Дмитриевич Чегодаев повторял: «Если бы я был хоть чуть помоложе — я бы пошел к Белому дому».

Андрей Дмитриевич Чегодаев МОЯ ЖИЗНЬ И ЛЮДИ, КОТОРЫХ Я ЗНАЛ Воспоминания

Редактор Игорь Захаров

Художник Григорий Златогоров

Верстка Кирилл Лачугин

Корректор Ирина Корсакова

ISBN 5–8159–0623–9

9 785815 906235

Издатель Ирина Евг. Богат Свидетельство о регистрации 77 № 006722212 от 12.10.2004

121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9 *(Рядом с Никитскими Воротами, отдельный вход в арке)*

Тел.: 291–12–17, 258–69–10. Факс: 258–69–09 Подписано в печать 04.07.2006. Формат 84XIO8V32. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага писчая. Объем 11,5 п. л. Тираж 1500 экз. Изд. № 623. Заказ № 520. Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

notes

Примечания

1

Этот список поэмы А. Пушкина «Кавказский пленник» известен у пушкинистов как «Чегодаевский список».

2

Вылитый итальянец и правнук А. Д. Чегодаева, сын внука Дмитрия — Иван.

3

Ныне уничтожено.

Бабушка рассказывала моей матери, своей невестке, что Миша умер от воспаления легких.

4

Отец очень красочно передавал свое впечатление от этой сцены с погоней: Вампука и принц Лодыре сидели посередине пустыни на лавочке под пальмой и бесконечно долго, с руладами и завываниями, поочередно выбегая к рампе, пели одну фразу: «бежим, спешим», потом медленно удалялись, и начиналась погоня: пробегавшие по сцене и снова возвращавшиеся одни и те же три — четыре воина пели: «Мы э, мы фи, мы о, мы пы, мы опы, проти, проти, противники Европы».

5

Этот медведь по сей день сидит в отцовской комнате, в углу дивана, на котором отец умер.

6

Именно в это время шла омерзительная кампания против Пастернака в связи с появлением его книги «Доктор Живаго» и присуждением ему Нобелевской премии.

7

Мама ушла из музея после смерти в 1940 году моей бабушки Марии Борисовны Гершензон — я была в очень нервном, подавленном состоянии. В то время вышел правительственный указ, запрещающий служащим увольняться с работы, и А. Гольденвейзер, бывший в ту пору депутатом Моссовета, использовал все свое влияние, чтобы маме позволили уйти с работы.

8

Наталия Александровна Гурвич, подруга и однокурсница моих родителей, в то время жила в Ленинграде и работала в Эрмитаже. Александр Гаврилович — отец Н. А. Гурвич, известный ученый.

9

Юрий Владимирович — кто-то из музейного «начальства».

10

В нашей коллекции было два силуэта М. О. Гершензона (один подарен мною замечательному коллекционеру Сергею Павловичу Григорянцу) и силуэт Марии Борисовны.

11

Лепорская, по просьбе искусствоведа Харджиева, дала ему письма Малевича к Гершензону для работы, а их у него «украли». Спустя сорок лет, в 1990–е, когда Харджиев уже жил за границей, на таможне был задержан его ученик, везший ему какие-то оставленные вещи, и в чемодане с двойным дном были обнаружены письма Малевича к Гершензону!!! Ко мне, как внучке Гершензона, обратились из таможни, и с моего согласия письма были переданы в РГАЛИ.

12

Следует, мне кажется, отметить, что, при всем своем делячестве, Бродский все-таки не был полным ничтожеством — подобно Пьеру Грассу Бальзака, он собрал превосходную коллекцию картин настоящих художников.

13

Мама рассказывала, как они — студентки — искусствоведки — шутили, что «подрабатывают на Цветном бульваре»: до революции в окрестностях Цветного бульвара располагались публичные дома.

14

В. Н. Яковлев входил в общество «Союз советских художников», выделившийся в 1930 году из АХРа.

15

Татьяна Борисовна Софиано — сестра Марии Борисовны и А. Б. Гольденвейзера.

16

Вера Степановна Нечаева — литературовед, ученица М. О. Гершензо- на, наша соседка по квартире и близкий друг. Дима — ее сын. Лидия Степановна Нечаева — ее сестра.

17

Отец вспоминает книгу Э. Сетона — Томсона «Маленькие дикари».

18

Софья Александровна Зомбе — однокурсница и подруга моих родителей. Ася Давыдовна — ее мать.

19

У отца были очень натянутые отношения с некоторыми учениками Фаворского, с так называемой «школой Фаворского».

20

О. И. Андреева, одна из бывших «девочек» Е. Н.Орловой, соседка по дому и «общественница» при домоуправлении.

21

Насколько я помню, «злоключения» художника Гавриила Пустовийта были связаны с тем, что он оказался в оккупации, — оставался в занятом фашистами Киеве.

22

Н. М. Чегодаева читала лекции по истории искусств на постановочном факультете школы — студии МХАТ.

23

В последние месяцы войны буквально каждый вечер, а иногда и два- три раза за вечер по радио звучал голосом диктора Левитана «приказ Верховного Главнокомандующего», сообщающий о взятии какого-нибудь города и предписывающий произвести «в столице нашей родины Москве салют» из стольких-то орудий.

24

Евсей Осипович Ротенберг — известный искусствовед, в те годы аспирант Музея изобразительных искусств. Борис Робертович Виппер был ученым секретарем музея.

25

«Пир во время чумы» — опера А. Б. Гольденвейзера.

26

Лазарь Шоломович Гордонов — географ, ближайший друг нашей семьи — был необыкновенно общительным человеком, имевшим очень широкий круг знакомых

27

Отцовские студенты из Художественного института.

28

Читатели знают: я никогда не занимаюсь идеологической или моральной цензурой текстов издаваемых книг, но чудовищная несправедливость этого мнения о немцах вынуждает меня (читающего эту верстку в Берлине) заявить: Андрей Дмитриевич, вы не правы!

И, кстати, как это он не замечает, что предлагает сделать с немцами то же. что другие хотели сделать с евреями? — *Издатель.*

29

У Марии Зосимовны Холодовской в самом конце войны погиб на фронте сын.

30

Известный археолог и ученый — античник Павел Николаевич Шульц был приглашен в Художественный институт, читать вместо отца историю античного искусства.

31

Эммануил Филиппович Ципельзон заведовал букинистическим отделом книжного магазина Академии наук на ул. Горького.

32

Отец привез из Германии немного вещей: несколько хороших фарфоровых чашек, что-то из одежды для меня и мамы. И главным образом — книги по искусству.

33

Все в порядке *(иврит)*.